



Дария Беляева

Воображала

История матери Марциана, императрицы Октавии и ее сложного времени. История о том, как ничего не осталось от блистательной эпохи принцепсов, о другом народе, другой культуре и другом боге.

---

---



# Глава 1

Я не знаю, где начало у этой истории. Наверное, оно далеко за пределами того, что я могу рассказать. Но я начну с того момента, как я помню себя по-настоящему. С той минуты, с которой я уже существую не обрывками ощущений, восторгом или страхом, а чистой линией моей жизни, рассказом о том, кто я такая.

Ее голос сначала вплелся в мурлыканье фонтана, а потом порвал его, как рвут тонкую водяную пленку пальцы ног, когда залезаешь в ванную.

— Воображала! — сказала она. — Смотри, что у меня есть!

Глаза ее светились и блестели, как игрушки, которые дарят на день рожденья. А день рожденья у нас один на двоих, но мои глаза никогда не сияли так. Она сжала кулачок, а другой рукой заставила меня сложить руки так, словно мы в колечко играли, и я поняла, что она ничего не покажет, хотя сказала "смотри". Ее сложенные, как в молитвенном жесте, ладони прятали какое-то сокровище, и она передала его мне. Наши руки тесно прижались друг к другу, как корабли между которыми поставили трап, и что-то зашевелилось между моих ладоней, забилося, как маленькое сердечко.

Я запищала от страха, хотела разжать руки, но она удерживала мои запястья.

— Осторожно, Воображала!

— Отпусти, Жадина!

Но она только засмеялась, у нее были зубы-жемчужинки. Она подалась ко мне, слаще запахла, зашептала:

— Смотри осторожно.

А ее пальцы все еще крепко сжимали мои запястья. Это было вовсе не больно, только не получалось выбраться. Я наклонила голову, заглянула в узкую щель между моими пальцами, но ничего не увидела, только что-то метнулось мне в глаз, и я от испуга едва не упала в фонтан. Она сказала:

— А теперь, милая, ты мне ее отдай.

— Ее?

Но она только еще раз улыбнулась, отпустила меня, и ладони подставила так, чтобы мы снова поменялись ее сокровищем.

— Кто это? — спросила она. Но я не знала ответа, никого не успела рассмотреть.

— Бабочка? — спросила я и представила такую красивую, с лазурными крыльями и длинными усиками загнутыми на концах. Сестра только облизнула губы и головой покачала. Ее локоны дернулись, они были похожи на золотые пружинки. У меня волосы были прямые и черные, и вовсе не такие густые, как у нее. Мама говорила, что иногда девочки, которые рождаются в один день и выглядят одинаково. Мне хотелось бы быть, как она, но я была совершенно другой, как будто не только день рожденья у нас в разные дни, но и родители разные.

Она раскрыла ладонь и тут же придавила пальцем насекомое, оно хотело взвиться вверх, но не успело. Я не сразу смогла рассмотреть, кто замер у нее на ладони, а когда рассмотрела, то тут же засунула руки в фонтан, потому что я ненавидела ос.

Свет проходил сквозь ее крылья, ее ужасная морда с огромными челюстями и черной маской на злых глазах двигалась, а полосатое брюхо дергалось, будто оса хотела

потанцевать, но чувства ритма у нее не было.

— Смотри, милая, она не страшная.

— Она страшная! — ответила я. С трудом я отвела взгляд от осы и стала смотреть на свои руки под прозрачной водой, там они казались еще бледнее. По поверхности воды путешествовали лепестки роз. Я не любила цветы, потому что они приманивают ос, но я любила воду, потому что осы боятся воды.

— Воображала, — сказала она.

— Что, Жадина?

— Смотри сюда.

И я посмотрела. Палец ее упирался ровно туда, где сочленялись брюхо и грудь осы. В эту самую точку, которой почти не существует, поэтому и принято говорить — осиная талия. Я увидела молочную каплю, тянущуюся по ее ладони из места, где было осиное жало.

— Ты вырвала ей жало?

— Ты же и сама видишь. Возьми в руки. Она не страшная.

Сестра улыбнулась. Губы у нее были ягодные, такие красивые, что даже смотреть на них было странно. Мы были вместе даже до рожденья и, к тому моменту, еще семь лет. А я так и не привыкла к этой броской, болезненной красоте. Меня удивляло, что она вообще существует, моя сестра.

— Она умрет, — сказала я. — Жадина, ты убила ее.

— Они когда кусают, все равно умирают.

— Нет, это пчелы. Я читала. И ты читала. Просто хочешь мне соврать.

Я много читала и думала, что все могу прочитать. Я посмотрела на осу, ей было больно, и она извивалась, и я протянула руку, хотя отвращение было нестерпимым, потому что я не хотела, чтобы она причиняла кому-то боль. Я смотрела на это и чувствовала оторопь и еще что-то, скорее близкое к переживаниям, которые мы испытываем желая чего-либо, за что себя боимся.

Оса плюхнулась мне на ладонь, попыталась подняться, но не смогла, крылья ее трепетали так слабо, но тем красивее сквозь них лился свет. От этой красоты тошнило, потому что она была болезненной и злой, насильственной. Тогда я впервые поняла — и у сестры такая красота. Не потому, что она хрупкая или чем-то родственна смерти, а потому что точно так же — слишком запретна, чтобы на нее смотреть, и оттого вдвойне прекрасна. Конечно, тогда я подумала не такими ясными, чистыми словами, но ощущение мелькнуло у меня в сознании. Я, замороженная, смотрела на осу понимая, что она не укусит меня, а потом отбросила ее, потому что не хотела, чтобы на моей ладони умерло живое существо.

Мне это было противно, хотя и не до конца. Как и все противное, эта идея имела оттенок притяжения, который и заставил меня двинуться так резко. Оса оказалась в фонтане, почти в самом центре, и струя воды ударила ее, уволокла вниз своей силой.

Я хотела снова опустить руки в воду, но где-то там плавала оса, и вся вода была ей осквернена. Мне не стало ее жалко, но я испытала жгучую боль вины. А сестра сказала:

— Видишь. Совсе не страшно.

— Мерзко.

— Но не страшно, — повторила она, а потом поцеловала меня, и ее теплые губы коснулись моей щеки, и я опять ощутила запах сладких цветов, которые она всегда любила. Ее розовые туфельки с пряжками блестели на солнце, а у меня были голубые, и солнце таяло в них, потому что цвет был тусклый, и их не красил. Но я не завидовала цвету ее туфель и

платья, потому что я любила, как выглядят вещи на ней куда больше, чем сама их хотела.

У ее туфелек были золотые пряжки, похожие на крохотные головки цветов, такие схематичные, что у них не было рода. А потом мы услышали голос няни Антонии:

— Санктина! Октавия! Время чая!

Она в ее извечном, в жаркое лето и холодную зиму, наряде — длинной юбке, блузке, застегнутой под горло и пиджаке, сидела на скамейке. Глаза ее под стеклами очков путешествовали от слова к слову, написанным в большой книге, раскрытой на ее коленях. Ей было, наверное, около пятидесяти, но еще не пятьдесят, причем этот возраст продолжался у нее до странного много лет. Она даже приходилась нам какой-то родственницей, хотя никто уже и не помнил, кем именно. И хотя мы называли ее госпожой Антонией, я никогда не могла так о ней думать. Сестра говорила:

— Мы — дочери императора. Она должна говорить: госпожа Санктина и госпожа Октавия.

Но, конечно, сестра никогда не говорила этого громко, потому что Антония была строгой, она могла нас наказывать, как и любых других маленьких девочек наказывали их няни. Антония всегда носила в узкой, длинной сумочке линейку и часы. Она соблюдала порядок во времени и пространстве, но кроме того никогда не упускала случая использовать линейку для того, чтобы нас наказать. И никогда, несмотря на всю ее педантичность, не считала удары, а только секунды, в которые длилось наказание. Так что всякий раз нам везло или не везло получить за один и тот же проступок разное количество ударов линейкой по пальцам.

Антония не была злой. То есть, мы так о ней не думали. Она была строгой и, иногда, придирчивой. Но мы не думали, что она — плохая.

И все-таки мы наслаждались, когда раз в год она на неделю покидала нас и уезжала в свой родной город Эфес. Мы с сестрой фантазировали о том, как мама и папа вдруг запретят ей возвращаться, но у них никогда не было на это причин. И Антония возвращалась, а наша жизнь входила в прежнюю колею, но тем приятнее были ее ежегодные отъезды и слаще их ожидание.

Мы с сестрой одновременно ответили:

— Да, госпожа Антония, — и сразу же подбежали к ней. Она встала со скамейки, прямая, будто помимо линейки в сумочке, у нее была еще одна, которую она проглотила. Мы послушно пошли вслед за ней по узкой дорожке между стенами зеленого лабиринта. Мы удалялись от центра, куда вели все дороги и где мурлыкал фонтан. Я взяла сестру за руку, и она стиснула мою ладонь.

— Воображала, — сказала она.

— Что, Жадина?

— Папа сказал, что сегодня из школы приедет брат.

— Прекратите называть себя этими кошачьими кличками, — сказала Антония, и мы услышали ее короткий вздох, означавший злость и бессилие перед привычкой, так раздражавшей ее и совершенно ей неподвластной. Сколько бы Антония ни наказывала нас, как бы ее линейка ни путешествовала по нашим рукам, мы все равно не называли друг друга по именам.

Она бы этого никогда не поняла. У нее просто не было двойняшки. Нам с сестрой не нужны были другие имена, данные чужими людьми. Мы сами друг друга называли.

Мысль о том, что приедет брат вселяла в меня радость и волнение. Мы редко видели

его, но начиналось лето, и он должен был вернуться. Конечно, брату было шестнадцать, и мы его совсем не интересовали. Он не обращал на нас внимание так демонстративно, что я была уверена — ревнует к нам родителей. И хотя эта уверенность тоже не облекалась в слова, она позволяла мне не обижаться на него и любить. Я чувствовала, что у нас есть что-то, чего нет у него. В то же время однажды именно ему должна была достаться Империя. От брата у нас было странное ощущение, он был своим и чужим одновременно. Мы не чувствовали, что он наш родственник, как мама или папа, но и не чувствовали, что он чужой, как Антония. Он был кем-то между, неопределенным и из-за этого притягательным.

Воздух был напоен сочной зеленью лабиринта, и солнце высоко в небе все равно казалось не жарким, а разве что чуть пригревающим. С моря дул освежающий ветер, и его соленый и влажный запах казался здесь чуждым, прибывшим издалека и до странности контрастирующим с глубоким зеленым ароматом. Мы удалились от фонтана, и он исчез за очередным поворотом, его теперь и слышно не было.

Утром, когда я, еще босая, выходила на балкон, пока сестра нежилась в кровати, я смотрела на лабиринт, напоенный водой сверх той, что позволяет местная природа, и оттого, как и сад, он был глубже цветом, чем выжженные солнцем южные травы вокруг. Но, конечно, даже наш прекрасный, ни за что бы не выросший на этой земле без человеческой воли сад, уступал по яркости сапфиру Адриатического моря.

Иллирия была райским уголком, который не казался мне таким красивым в детстве, потому что мы отдыхали там каждое лето. Самым прекрасным в нашем особняке мне, конечно, виделся фонтан. Мраморные чаши принимающие воду, исторгаемую из самой земли, и удивительные каменные голуби, готовые взлететь вверх, в разные стороны, как разлученные навсегда любовники. Птицы были вытесаны с невероятной точностью, каждое перышко казалось настоящим, и кристальная вода омывала их расправленные крылья. Почему-то мое детское восприятие просеяло цветы, и зелень, и даже само море с удивительными переливами синевы, но зацепилось за простенький фонтан в центре лабиринта, нелепо-романтичный, с водой, усыпанной лепестками, и каменными пташками, но для меня удивительно прекрасный.

Утренний чай мы пили в одиннадцать тридцать, в самый разгар дня, когда все еще было впереди, но в то же время все уже проснулись. Мама, папа, мы, Антония, иногда брат, а иногда особенно близкие гости, собирались в саду в беседке, за безусловно накрытым столом и получали удовольствие от сладостей и милой, ни к чему не обязывающей беседы.

Впрочем, последнее к нам не относилось, нам за столом полагалось молчать. Я никогда не расстраивалась из-за этого, мне нравились сладости, и я больше любила слушать, чем говорить.

Наш дворец стоял не так далеко от Делминиона, как казалось, потому что на километры вокруг не было не единой постройки. Все это была наша земля, пустующая по нашей прихоти, и от этого осознания, к которому я только начала приходить, дух захватывало. Мы вели здесь размеренную жизнь, полную детских игр, чаепитий в беседке, чинных ужинов, расслабленных вечеров, когда мы с сестрой читали друг другу книжки и, конечно же, моря.

На море мы ходили во второй половине дня, когда вода уже прогревалась, а синева становилась гуще. Вымывая из наших волос соль, Антония ворчала, что в нынешние годы детям дают слишком много свободы, в ее время было не принято позволять детям заплывать так далеко.

Только так я понимала, что Антония волнуется за нас.

Она привела нас в беседку, где под широкой крышей, между вздернутых прозрачных шторок, нужных, чтобы вечерами закрывать вход навязчивым насекомым, стоял накрытый привычным образом стол. Доски проскрипели свою приветственную песнь под нашими ногами, и мы, вежливо поздоровавшись, сели на свои давно определенные места. Стул брата был свободен, но его чашка стояла, а значит, он действительно здесь.

Я улыбнулась сестре, а она поправила волосы и попросила Антонию налить ей чай. Чай всегда был мятный в жаркую погоду и пряный в прохладную, это правило словно бы отделилось от людей, когда-то его придумавших, стало самостоятельным законом, и никогда еще чай не ошибался. Сегодня он пах мятой, а значит погода ожидалась теплая, и море никто не отменит. Всякий раз, еще прежде, чем небо дало бы об этом знать, пряный чай предсказывал дождь и день дома.

Я любила и сидеть дома, но именно в тот день меня отчего-то тянуло на море.

В дни пряного чая от стола поднимался сонно-сахарный запах вафель с карамелью, глубокий — шоколада и нежно-домашний — яблочного пирога. В дни мятного чая на столе стояли миндальные печенья, ягодные джемы окружали тарелку с легкими булочками, такими тонкими и в то же время высокими, похожими на облака. Вазочка с клубникой со сливками всегда соседствовала с вазочкой, наполненной разноцветными фруктовыми и мятными леденцами. Ближе к папе стоял поднос с зефиром, а ближе к маме тарелка с шоколадными, затейливо украшенными конфетами, которые она любила в любую погоду.

Я больше всего на свете любила джемы и мед. Но мед появлялся в дни пряного чая, так что сегодня я выбирала себе ягодную сладость. Я опустила в свою тарелку пару ложек клубничного джема, еще пару — малинового, и только одну ложку лимонного. Казалось, будто я художник, и у меня на тарелке краски, которыми я собираюсь рисовать.

Вместе родителями сегодня сидел господин Тиберий, папин близкий друг и великий знаток путей нашего бога. Это был невысокий, скуластый человек с неприятным и в то же время благородным лицом. У него были жесткие, запоминающиеся черты, и увидев его впервые, я подумала, что он военный. Оказалось, что он богатый промышленник, но такой же жестокосердный, как я о нем и подумала. Господин Тиберий всегда был дорого и со вкусом одет, никогда не позволял себе вольностей или грубых фраз, и все равно оставался мне неприятным. Его лицо было юным, как и у всех людей нашего народа, но глаза выдавали в нем глубокого старика.

Я тайком слизнула с ложки джем, чувствуя себя очень плохой девочкой. Сестра увидела это, и ее улыбка из вежливой превратилась в заговорщическую. Она ела миндальное печенье, запивала его чаем и смотрела на маму.

Наша мама выглядела совсем юной девушкой, мне всегда казалось, что она прикоснулась к слезам, когда ей было не больше семнадцати. Возможно, это было и не так. Вот насколько мы с мамой были близки — я даже не знала, когда она обрела свою вечную юность. Мы о ее жизни не говорили. Наша мама была женщина холоднее, чем лед и красивее, чем снежинка. От нее досталась сестре ее бесконечная красота. Но если мамина красота была неограниченным алмазом, то красота сестры уже была бриллиантом. От мамы нам с сестрой обеим достались полные, нежные губы. Мне больше ничего не досталось, а у сестры были ее светлые локоны золотистого цвета, столь редко встречающегося у людей нашего народа.

Папе на вид, наверное, было лет двадцать, он был в том самом цветущем возрасте, когда красивыми кажутся практически все, хотя в нем не было ничего особенного, кроме разве что



того, что он был болезненно бледен. Я куда больше похожа на папу, чем маму, так нас с сестрой разделила природа, а вместе с тем и наши судьбы. Я хотела быть похожей на сестру не столько из зависти к ее красоте, сколько из желания той предельной близости, которую дают одинаковые возможности.

Когда разговор за столом возобновился после нашего прихода, я поняла, что обсуждают Парфию, восточное царство, известное своей жестокостью и великолепием.

— Там, — рассказывал господин Тиберий. — На золотом востоке смерти не существует, и живые и мертвые живут вместе. По крайней мере, он мне так говорил.

— Удивительно неправдоподобная история, — отвечал папа, а мама лишь взяла еще одну шоколадную конфетку, украшенную карамельной сеткой.

— Я и сам думаю, что это глупости, — согласился господин Тиберий. — Однако, в мире множество удивительных народов.

— Но если бы парфянские аристократы действительно умели побеждать смерть, мы бы об этом знали.

— Без сомнения, мой император.

Антония изредка отпивала чай. Хотя она была за столом самой старшей, а выглядела так, будто в матери годилась моим родителям, никто с ней не говорил. Антония была преторианкой, одной из потомков смешанных браков, которых я долгое время могла только жалеть, потому как они оказывались разлучены с одним из родителей. Я, несмотря на собственные весьма прохладные отношения с отцом и матерью, не могла представить, что после смерти не увижу одного из них во владениях моего бога.

Я любила своего бога, хотя и не всегда понимала. Нашим религиозным воспитанием не могла заниматься Антония, потому как у нее был иной бог, поэтому рассказы о нашем народе были единственной нитью, связывающей нас с папой.

Папа рассказывал о нашем двуликом боге, юноше с прекрасным лицом, боге власти, молодости и печали. Он был строг к себе и требовал от нас того же. Принцепсы проживали жизнь согласно с правилами, не отступали от них и тем уже служили своему богу. Он требовал от нас не пренебрегать разумом и достоинством, сохранять гордость и благородство, а так же проявлять сдержанность во всем от одежды до еды. Мои родители грешили против нашего бога, собирая утренний чай и имея столь роскошный дом, но никто из нас не мог отказаться от этих сладких грехов. И в этом была обратная сторона нашего бога — невоздержанность и голодная бездна, которую нес в себе каждый из нас. Звериное лицо нашего бога обладало властью над нашими тайными вожделениями, такими глубокими и первобытными, что в них нет места морали. Звериное лицо нашего бога с глазами, обращенными вовнутрь, символизировало те тайны, которые хранили в себе люди.

И хотя я была слишком мала, чтобы понимать всю сложную систему, выстроенную для нас нашим богом и олицетворяемую им, я знала, что когда я отпускаю лягушку, пойманную сестрой, я обращаюсь к одной части моего бога, а когда думаю о том, что могла бы забить эту лягушку палкой, я обращаюсь к другой его части. Когда я перехожу дорогу на зеленый свет, я обращаюсь к человеческому лицу моего бога, а когда мне приходит мысль броситься наперерез машине — к звериному. Все это происходит в один момент, и всякий раз я выбираю человеческую часть моего бога, как он и заповедовал.

Однажды господин Тиберий говорил, что у нашего бога есть два пути, Путь Зверя и Путь Человека, и папа, обычно очень спокойный, едва не выгнал его из дома. Так я узнала, что у нашего бога, как и у нас, тоже есть тайны.

По вечерам мы молились у его статуи, и я вытягивала кончик языка, представляя, как пробую его слезы раньше срока и лишаюсь шанса вырасти. Это было бы неправильно, но мне хотелось броситься к струям его слез, как жаждущее животное бросается к водопою. Я бы сделала это быстро.

Тогда, стоя на коленях, болевших от напряжения, я знала, что смотрю глубоко, даже слишком, и оттого велико искушение. Но я всегда выбирала правильные вещи. Я шла по Пути Человека, и больше всего, как и всякий, кто шел по нему, я боялась сбиться с него. И больше всего этого хотела.

Сестра, я понимала это инстинктивно, пойдет совсем по-другому пути. Я смотрела в глубину дикой пасти и видела ее улыбку. На статуях нашего бога он всегда изображался с маской в руках. Потому что большинство принцепсов, идущих по Пути Человека боялись признаться, что звериная часть бога то же самое, что и человеческая. Юный, печальный и строгий бог ровно настолько же голодная бездна, насколько и самый человечный из всех богов.

— Тем не менее, я слушал его с интересом. Хотя и безо всякого доверия к этому вздору, — продолжал господин Тиберий. Лимонный джем плясал у меня на языке, и я пила свой чай, освежающий и горячий одновременно. Фарфоровая чашечка была такая легкая, будто игрушечная.

— Он варвар, — сказала мама. Голос ее звучал лениво и нежно, будто она только что проснулась. — Он не в себе, как и все они. Бедные, бедные создания. Я бы на твоём месте, Тиберий, нанимала людей, способных отвечать за свои действия.

— Вырубка лесов не требует какой-то особой ответственности, а перевозить рабочих к Тревероруму было бы глупо, да и не поедут многие, сколько денег им ни дай. Варварам же можно платить ассами, и они все равно будут работать.

— Ах, это чудовищно. Не могу представить себе подобной жизни.

Только в этом узком кругу мама могла позволить себе расслабиться и говорить то, что она думает. И это не всегда были приятные вещи.

— И не стоит представлять, — ответил господин Тиберий. — Императрица не должна занимать себя столь тоскливыми мыслями. Лучше послушайте, Юлианна обещает открыть новый театральный сезон чем-то особенным.

Я была совсем юной, и мне было странно думать, что жизнь целого народа на окраине огромной страны можно перелистнуть, как скучные страницы в книге. Тем более тогда, как и сейчас, я никогда не перелистывала страниц. Мне хотелось понимать вещи, досконально узнавать их, и соблазн спросить господина Тиберия и маму, почему они говорят так о варварах был велик.

Но я противостояла ему, как велел мне мой бог. Я взяла мятный леденец, сунула его под язык и запила мятым чаем, во рту стало морозно, и солнце будто в мгновение вовсе перестало быть летним.

Я посмотрела на сестру. Она обмакнула печенье в карамельный соус и отложила его на край тарелки. Вязкая капля замерла, не готовая сорваться вниз, в фарфоровую белизну. Сестра шевелила губами, беззвучно повторяя мамины слова, и выражение лица у нее было такое же — скучающее, утомленное, и в то же время внимательное. Мама словно делала великое одолжение отвечая на реплики папы и господина Тиберия.

Они обсуждали театр, с удовольствием и уверенностью, которая так контрастировала с их недоумением по поводу варваров. Сама я тогда, и еще много лет после, никогда их не

видела. Может быть, мама тоже никогда их и не видела, оттого казалось, что она говорит о каких-то зверушках.

Губы сестры беззвучно, как молитву, шептали названия театральных постановок, на которых мы никогда не были из-за своего юного возраста. Сестра запоминала названия, а вечером мы частенько придумывали, в чем могла бы быть суть, скажем "Возвращения в Город" или "Падения". Таким образом мы создали множество альтернативных вариантов классической драматургии.

В беседку заглядывали любопытные головки пионов едва дотягивавшихся мне до коленок. Я протянула руку и погладила один, как гладят кошку. На ощупь он был прохладным и нежным. Во рту у меня бушевал буран, язык щипало от мяты. В этот момент я услышала шаги.

— Ваше высочество, прошу прощения за опоздание.

Голос еще нельзя было назвать мужским, но он был к тому ближе, чем в последний раз, когда я слышала брата.

— Где ты так задержался, Тит? — небрежно спросил папа. Он явно был доволен вежливостью брата, настолько, что спросил вполне буднично, будто бы пренебрег какими-то сложными правилами этикета.

Брат отодвинул стул, дождался, пока Антония нальет ему чай и взял себе клубники со сливками. Он был как все мальчики, выросшие слишком быстро, за одно лето — нелепый и очаровательный. В нем было поровну мамы и папы, но ему скорее суждено было стать красивым. По крайней мере, так казалось. Однако из-за юношеской нескладности фигуры и черт еще ничего точно нельзя было сказать. Его губы и глаза казались слишком большими для его лица, так случается с подростками.

Мы с сестрой с интересом наблюдали за братом, его движениями и словами. Брат в доме был праздником, противоречием с размеренной жизнью. Он вносил разнообразие даже несмотря на то, что наши разговоры можно было по пальцам пересчитать.

Честно говоря, мы обе восхищались братом и нам нравилось сидеть за столом с будущим императором.

— Я распаковывал вещи. В поезде мне спалось хуже, чем нужно было для того, чтобы заняться этим сразу по приезду. Хотя, разумеется, именно это и стоило бы сделать.

Он сыпал этими словечками вроде "благодарю" и "разумеется", как взрослый, и все же взрослым не был. Иногда мы ловили его взгляд, но он неизменно скользил по нам со скукой.

— Твои сестрички, к слову, делают успехи. В сентябре они отправятся в школу для девочек в Равенне.

— Это чудесно, мама. Если хочешь, я могу подтянуть их арифметику.

— Нет, дорогой, ты приехал сюда отдыхать. С их арифметикой вполне справится Антония.

Ничего не значащие, не интересные обоим разговоры, которые они вели, обставляли дело так, словно мы с сестрой просто симпатичные вещички в кукольных платьицах. Так и было. Я и сестра были безделушками, милейшими маленькими девочками, одетыми в атлас и бархат. Но никто не считал, будто мы имеем какое-то политическое значение. К брату, напротив, относились преувеличенно серьезно. Он словно и не был ребенком, а мы были обречены оставаться детьми навсегда.

— Как дела в школе, Тит? — спросил господин Тиберий. У него была эта удивительная манера общения с братом, словно он гордился, что может так запросто, как с любым другим

школьником, говорить с будущим императором. Он охотно демонстрировал эту гордость. Нас господин Тиберий так же оценивал как вещи, как мамино произведение, неизменно нахваливая наши манеры, кроткий нрав и крохотные туфельки.

Много лет спустя он узнает, что у моей сестры вовсе не кроткий нрав. Но пока она была для него лишь милой крошкой, которой надо было напомнить о ее миндальном печенье. Он кивнул на печенюшку в сиропе, лежавшую на тарелке, улыбнулся, и сестра улыбнулась ему в ответ, улыбка мамы на ее детском личике смотрелась смешно и странно.

— К счастью, триместр удалось закончить без единой четверки, — ответил Тит. Он с рождения усвоил эту манеру — гордиться мельчайшими достижениями, потому что все они обретают масштаб в деяниях будущего императора.

Он знал, что однажды о нем будут писать в учебниках по истории, поэтому старался не допускать никаких ошибок, начиная от тех, что располагались в его тетрадах. Тит готовился к этому, у него было призвание, и он казался очень счастливым. Тит был создан для трона — мамой и папой, и многими учителями, считавшими честью учить его. Тем обиднее было, когда все так вышло. И тем страшнее.

Сестра откусила кусок печенья, а я водила ложкой по пятнам джема на тарелке. Мы заскучали, и Антония это видела, а оттого еще пристальнее следила за нами.

— Я почти закончил проект для электива по антропологии. Говорят, с ним я смогу выступить на конференции в следующем году.

— Чему же он посвящен? — спросила мама, в голосе ее скользнуло свежее, как порыв ветерка, любопытство. Где-то рядом прожужжала оса, и я почувствовала, как бьется сердце. Я была совсем крохотной, и я никому не могла сказать, как страшно мне стало посреди утреннего чаепития от мысли, что родичи мертвой осы прилетели сюда, чтобы отомстить, и сейчас множество жал будут вонзаться в мои руки и лицо. Я просто прижала салфетку ко рту, чувствуя биение пульса на своих губах. Оса затаилась в пионе, который я гладила, как лезвие в сладости. Нежный, конфетно-розовый, он теперь скрывал в себе великий ужас.

Сестра нащупала мою руку под столом, ее острые ногти впились мне в ладонь, оставляя красные полумесяцы, и она отдернула руку.

— Пересотворению людей. Измененной природе и самому феномену изменения.

Тит всегда говорил как маленький взрослый, так рассказывал папа, и в детстве это всех умиляло. Теперь же, наверное, скорее забавляло.

— Боги добавили в наших прародителей частичку своей сущности, так что вопрос о том, могли бы мы сосуществовать с людьми эпохи до великой болезни остается открытым. Хорошо известно, что возможны браки между представителями разных народов, однако все полукровки...

Тит бросил взгляд из-под ресниц в сторону Антонии, извиняющийся, осторожный и выдававший в нем ребенка.

— Словом, каждый ребенок от подобного брака на самом деле чистокровен. Он наследует только одного бога, один дар. Наши народы на самом деле никогда не смешиваются.

— Это интересная теория, — сказал папа. — Тем не менее я всегда считал, что браки между принцепсами и преторианцами не только желательны, но и необходимы, потому как без них оба народа ждало бы вырождение.

— Да, — кивнул Тит. — Генетическое вырождение. Популяция становится здоровее из-за смешанных браков, но при этом границы народов не размываются. Это интересно,

правда?

Он подцепил самую большую, измазанную в сливках клубнику и отправил ее в рот.

— В чем же состоит твоя теория? — спросил господин Тиберий. Тогда Тит ответил:

— В том, что не только они нужны нам, но и мы нужны им.

На несколько секунд повисла тишина, в которой жужжание осы стало просто оглушительным. Уже подул прохладный ветерок с моря, принес влагу и соль, так мучившие цветы в нашем саду, приспособленные совсем для других земель и с трудом сохранявшие свою яркость здесь.

Господин Тиберий сказал:

— Прошу меня простить, я забыл портсигар в комнате. Скоро вернусь.

Папа кивнул Антонии, и она сказала нам:

— Пора, девочки.

Хотя мы знали, что еще не пора, в голос сказали:

— Спасибо за чай.

Я поняла, что папа сейчас будет Тита ругать. Что сказанное им вдруг, наверное впервые в жизни, показалось взрослым очень неловким, а может даже и оскорбительным. Я только не поняла, почему.

Лишь много лет спустя, вспоминая этот эпизод, я осознала, что именно вдруг всех смутило. От фразы "мы нужны им" оставалось полшага до "поэтому они создали великую болезнь".

Это опасные слова. Ты, мой дорогой, никогда не поймешь, насколько. Тебе никогда не запрещали думать. И хотя твои мысли могут быть не так ясны, как мысли многих принцепсов, они свободны.

В тот день мы с сестрой отправились на море раньше, чем обычно. Из густой и насыщенной зелени нашего привезенного издалека сада, такого чуждого здесь, мы вышли на дорогу из выбеленного солнцем камня, которой стройные кипарисы по бокам не давали никакой тени.

Мы были рады, и в то же время взволнованы. Наш день изменился, и это было захватывающе и пугающе одновременно. Неподалеку уже синело море, а песок был таким золотым, что я подумала, что песчинки столетие за столетием спускались вниз по солнечным лучам, и они кровь от крови — великолепное солнце. Я была в восторге от того, что сумею найти множество ракушек, искупаться, позагорать, и все это еще до обеда.

И хотя даже иллирийское солнце не могло украсть нашу с сестрой бледность, нам нравилось валяться под солнцем и подставлять ему нос.

У нас были абсолютно одинаковые купальные костюмы. С милыми полосатыми юбочками над красными шортиками. Почему-то во времена моего детства люди любили наряжать своих детей в морячков и морячек, хотя это и выглядело глуповато. У нас были одинаковые соломенные шляпки с широкими полями. Они были перехвачены алыми лентами, развевающимися вслед за нами по ветру. У сестры был сачок для насекомых на случай, если появится что-нибудь интересное, а у меня — корзинка для ракушек. Сестра пела песенку, а я мурлыкала ей мелодию, у нас получалось слажено и, наверное, очаровательно. Но Антония, как и большинство преторианцев, не умела умиляться.

Ветер трепал натянутый над четырьмя столбами тент, плетеные лежанки смиренно дожидались нас. Где-то вдалеке качало на волнах кораблик, казавшийся не больше игрушки. К тому времени, как мы пришли, ветер усилился. И хотя он был теплым, даже душноватым,

на море занимался штурм. Я поняла, что купания сегодня не будет.

Антония взошла на деревянный помост под тентом. Под ее шлепанцами закрипели доски. Она поставила корзину с обедом, сегодня больше похожим на второй завтрак, и сказала:

— Сейчас поиграете у моря.

— Хорошо, госпожа Антония, — ответили мы.

Она разложила на белом платке лепешки с ветчиной и индейкой, завернутые в коричневую бумагу, кипельно-белые вареные яйца, достала термос с горячим молоком.

— Госпожа Антония, можно нам пройтись и поискать ракушки? — спросила сестра, и я заискивающе улыбнулась.

Антония окинула нас тяжелым взглядом, потом кивнула.

— Нагуляете аппетит. Только в море не лезть.

У меня совершенно не было желания лезть в море, его насыщенный синий цвет и шумные удары волн о берег внушали мне беспокойство, и я не могла без волнения смотреть на кораблик, плывущий вдали.

Мы пообещали, что не будем лезть в море и отправились гулять вдоль пляжа. С обеих сторон пляж огораживали скалы, неравномерные, кривые, вылизанные морем и казавшиеся гладкими на вид. Одинокие скалы выглядывали и из самой глади моря, и сейчас их со страстью атаковали волны.

— Как ты думаешь, Жадина, почему нам сказали идти на море? Погода совсем не для купания.

Я поняла, что мне до слез обидно. Впервые мятный чай обманул меня. Погода испортилась мгновенно, точно так же, как разозлились родители. Небо темнело медленно, но неуклонно. Реальность разошлась с признаками, по которым я высчитывала ее, и мне стало от этого так тоскливо, словно я ничего-ничего, даже собственное тело контролировать не могу. Мне хотелось толкнуть сестру или бросить в море корзинку, но вместо этого я шла по холодному влажному песку и собирала ракушки. Иногда они ускользали прямо из-под пальцев. Их забирало море.

— Потому что он нагрубил богу, Воображала, — сказала сестра. Она пожала плечами, наклонилась, цепкими пальцами схватила ракушку, украв ее у набегавшей волны и опустила ее в корзинку. Широкая, с красивым блестящим нутром, возможно когда-то эта ракушка была домом для жемчужины.

Я собирала ракушки не только потому, что мне нравилось высматривать их в песке. Однажды я мечтала найти жемчужину. Я любила закрытые ракушки и открывала их дома, с трепетом и предвкушением, но они всегда разочаровывали меня. И все же я готова была искать их снова и снова, всякий раз надежда была чистой и яростной.

А все остальные ракушки шли у меня на поделки — шкатулки и альбомы. Сестра же любила сушить цветы и насекомых.

Море выносило на берег водоросли, и когда они касались моих босых ног, мне становилось противно, сестра же шла без страха.

— Ты думаешь, они больше его не любят?

— Не знаю, Воображала. Я думаю, что ему сейчас несладко. Может, он теперь не станет императором.

Она сказала это мечтательно, а я только пожала плечами.

— Станет. Он же все равно старший.

— А если сам откажется? И если умрет — не станет.

— В шестнадцать лет люди редко умирают.

Хотя я слышала о таких случаях, и всякий раз они вызывали у меня трепет, которые не имел точного эмоционального окраса. Я не могла понять, связан он со страхом или влечением.

Мы дошли до скалы, и я развернулась, но сестра вдруг потянула меня за руку.

— Пойдем!

— Куда?

— В море. За скалой она не увидит нас. Посмотри, какие чудесные волны, Воображала! Там будет очень хорошо!

Я знала, что там будет очень хорошо, хотя мне было страшно. Я подумала с полсекунды, а потом поняла, что никому не будет вреда, если мы немного поплаваем. Разве что Антония опять нас накажет. Я позволила сестре вести меня. Мы миновали рыжую скалу, над которой кружили уставшие от духоты перед дождем чайки, и бросились в море так быстро, будто Антония уже была здесь.

В море действительно оказалось хорошо, хотя и холодно. Волны качали нас, и мы прыгали на них, пытаясь их оседлать. Я чувствовала себя непобедимой, преодолевая очередную волну, а когда она накрывала меня с головой, я ощущала себя счастливой только вдыхая воздух. Мы кричали и прыгали, и я благодарилась сестру за это потрясающее решение — пойти в море.

Все произошло слишком быстро. Я оставалась там, где воды мне было по пояс, а сестра захотела большего. Она метнулась вперед, туда, где уже не стояла на ногах, и я увидела, как под волной исчезает ее макушка. Вынырнув, она то ли засмеялась, то ли закричала, а после того, как ее окатила еще одна волна, она уже точно кричала. Я поплыла к ней, попыталась ухватить за руку. Откуда-то во мне появилось столько силы и смелости.

Волны накатывали снова и снова, воздуха не хватало, но я умудрилась как-то вцепиться в руку сестры. Мы обе кричали, не понимая, кого зовем. Ладонь сестры была скользкой, и я чувствовала, как связь между нами разрывается. Верись мне, я чувствовала то же самое, когда ты пришел в мой дом.

То же самое, нота в ноту. Ее пальцы выскользывали из моей руки, и я чувствовала, что совершается нечто непоправимое. Волны относили меня назад, к берегу, а ее тянуло к самому дну, в огромную, раскрытую пасть моря. Она все удалялась и удалялась от меня, а я пыталась плыть за ней, но у меня уже не было сил.

И только чудо привело Антонию к нам в этот момент. Над морем рвался ее голос.

— Октавия! Санктина!

Она, в своей строгой одежде, влезла в море, как залихватский моряк из книжки, схватила меня, легко подняв над водой.

— Сестра! Сестра! Жадина! — кричала я. А она ускользала от меня в открытое море, как много лет спустя, когда в моей жизни появился ты.

В тот день я впервые увидела оружие Антонии — это был золотистый кнут. Она размахнулась им с такой ловкостью, которой вовсе не ожидаешь от женщины ее возраста и характера. Хлыст ошпарил море, и обвился вокруг руки сестры. Парой рывков Антония вытянула ее к нам и схватила, как меня. Мы обе плакали от страха перед морем. Хлыст Антонии исчез, и она сразу стала выглядеть усталой, какой-то осунувшейся и бледной.

Мы думали, сейчас она заговорит о наказании, но Антония только молча несла нас. Моя

корзиночка с ракушками осталась за ее спиной. И хотя это было одно из моих самых больших сокровищ, сейчас оно совершенно потеряло свое значение.

Хотя Антония не хотела навредить сестре, вокруг запястья у нее навсегда остался тонкий шрам от преторианского оружия.

Шторм становился все сильнее и сильнее, с неба падали первые капли дождя с благодарностью принимаемые этой жаждущей природой. Мы с сестрой были совсем рядом, и в то же время меня охватывал дикий ужас, который я не могла проговорить и осмыслить.

Ужас от того, что могло произойти не имел названия и конца.

Видишь, мой милый, ты был еще маленьким мальчиком, моим ровесником, а эта история уже началась. Я теряла ее все эти годы, пока не пришел ты, и не оказался хуже неукротимого моря, и не довершил начатое им.

А господин Тиберий, что ж, он был одним из убитых тобой. Но ты, наверное, не помнишь его.



Постоянно было страшно, и сегодняшний день был вовсе не особенным, точно таким же, как и все другие дни. Волна разрушений, прокатившаяся от Бедлама к Вечному Городу сметала все на своем пути. Вчера Аэций, чье прежнее имя, варварское, я даже не отваживалась произносить вслух, стоял вместе со своим Безумным Легионом у Вечного Города. Сегодня или завтра Город будет взят.

Мой дом исчезнет.

Ожидание было, наверняка, страшнее самого события. По крайней мере, я так думала. Они шли с окраин Империи, те, о ком мы ничего не хотели знать. Третью их армии составляли безумцы, и я боялась зла, которое они могут учинить здесь.

Армия, состоящая из нормальных людей к концу войны превращается в армию, состоящую из опасных сумасшедших. Во что же превратится армия, которая изначально состояла из слабоумных людей? Ответа на этот вопрос у меня не было. Страх накатывал на меня волнами. Иногда я была абсолютно уверена в непобедимости преторианской гвардии, в том, что мы с сестрой под надежной защитой.

Иногда я была в ужасе от силы армии, способной разбить нашу, состоящую, в основном, из преторианцев. Впрочем, в этом случае ответ я знала. Он был очень простым: отчаяние. Отчаяние толкало этих людей вперед. Папа частенько говорил, что голодные и злые воюют лучше сытых и довольных. Преторианцы и принцепсы мечтали вернуться домой, в свои теплые постели, к своим комфортным жизням в уютных домах.

Безумному Легиону было некуда возвращаться. Поэтому их было не победить. У них отсутствовала опция поражения.

Мне и самой хотелось, чтобы все закончилось, как угодно. В минуты слабости я даже мечтала о его победе. Бесконечная агония моей страны пугала меня, и я хотела, чтобы люди перестали лить кровь.

В то же время той части меня, которая скрывалась в глубине, в самом моем сердце, война казалась прекрасной, насыщенной жизнью и хаосом, и мне нравилось слушать о победах и поражениях, о первобытной ярости, скрывавшейся за ними.

Существовала одна легенда, которая с детства пленяла меня. Прежде эпохи великой болезни и даже прежде эпохи людей, наш бог был самой жестокой тварью всей пустоты за пределами мироздания, и не было во всем бесконечном пространстве существа более жестокого, чем он. Наш бог пожирал собственных детей и уничтожал планеты ради секундного удовлетворения всех своих темных желаний.

Затем он уснул, и появились мы, люди. Когда мы призвали его, он увидел нас, и мы пробудили что-то в его сердце. Он нашел в глубине своей души желание быть чище и лучше. И нашел в наших душах вечную тягу к безумным страстям, которые он воплощал.

Наш бог принял облик прекрасного юноши, а его прежнее, невысказанное зверское воплощение, суть самого насилия, скрылось от наших глаз. С тех пор наш бог старается быть похожим на нас. И мы поддерживаем тот образ человека, который когда-то заставил его спасти наш народ.

Это всегда нелегко. Быть хорошим человеком — работа, постоянная работа по преодолению всего темного, что есть внутри. Я ездила в полевые госпитали, преодолевая

страх, злорадство и отвращение. Я перевязывала раны, привозила продукты и медикаменты, но чистота моих намерений оставалась недостижимой.

Хорошие поступки облегчали страсть к войне, томившую меня. В последние месяцы я не могла сделать и этого. Мы даже не успели уехать в Иллирию, хотя принять смерть там, безусловно, было бы лучшим подарком. Я знала, что скорее всего мне уже не успеется взглянуть еще раз на Адриатику и часто перебирала открытки, вспоминая безупречный оттенок моря по утрам.

Мы были заперты во дворце, как в клетке. Само время таяло. Затемнение, которому подвергся Город, чтобы избежать бомбежек и короткие зимние дни не позволяли мне прочувствовать время суток.

Конечно, нам было страшно. Более того, никогда прежде я не испытывала ничего подобного. Я словно физически ощущала конечность всего происходящего. Мы были уверены в том, что Аэций казнит императорскую семью, чем низвергнет Империю. Мы не знали, что сделает наш бог. Возможно, лишившись завета с нами, он позволит своей дикости разгуляться здесь, в Империи. Но никто не думал, что Аэция это остановит. Несмотря на то, что все народы Империи были связаны нашим обещанием хранить династию, Аэций пошел против воли императрицы. Против воли моей сестры.

Пути назад не было ни для кого из них.

Мы сидели за столом в непривычно маленькой компании. Только сестра, Домициан, ее муж, и я сама. Сестра пила вино, вид у нее был цветущий.

— Ах, милая, мне не терпится, чтобы все это закончилось. Я устрою на площади казни, и пусть каждый видит, как умирают мятежники.

Она отпила вина и долила себе еще, сама, ведь прислугу мы отпустили. Ее тонкие пальцы обхватили графин, и вот бокал снова наполнился рубиновым вином. Из-за того, что сестра постоянно подливала себе вина, было совершенно непонятно, сколько она уже выпила. И хотя содержимого графина становилось все меньше, она еще ни разу за вечер не осушила бокал.

Окна были задернуты плотной черной тканью, и это придавало нашей роскошной столовой бедный, какой-то отчаянно убогий вид.

— Дорогая, я бы на твоем месте не был так уверен, — начал было Домициан, но сестра посмотрела на него, взгляд ее казался темнее обычного.

— В чем? — спросила она.

— В том, что мы победим, — сказал Домициан спокойно. Он умел принимать невзгоды с честью, а это, наверное, самое большое достоинство для суженного императрицы, которое только можно себе представить.

За дверью я слышала звуки, настолько неразличимые, что казались только тенями голосов. Преторианцы переговаривались о чем-то. Может быть, обсуждали вести с фронта. Или слушали новости. Впрочем, теперь не было смысла в радиосводках. Достаточно было выйти на улицу — война была у нашего порога.

— Я в этом не сомневаюсь. Я плачу преторианской гвардии не для того, чтобы они разносили сплетни и пили кофе. Я плачу им за то, чтобы они умирали за меня.

Сегодня сестра казалась еще более заносчивой, чем обычно, и я отчаянно любила ее такой. Даже ее невероятная красота вдруг стала еще более броской, лихорадочной. На щеках выступил пьяный румянец, равнявшийся по цвету розам в вазе.

— Их не остановила армия, почему ты думаешь, что остановит гвардия?

— Они лучшие из лучших. Их оружие способно гореть дольше, они идеально подготовлены. Знаете, что? Нужно попросить их не убивать Аэция, или как его там. Я хочу на него посмотреть.

Я отрезала кусок мяса, но аппетита не было. Пришлось заставить себя съесть его, кроме того, я совершенно не почувствовала вкуса. Домициан даже не постарался притронуться к еде. Сестра отпила еще вина, она сказала:

— Если ты считаешь, что все кончено, я бы на твоём месте вышла на улицу. Сдайся, мой дорогой.

В её голосе не было настоящей злости. Нет, она не была испугана. Мне казалось, что она чувствует лихорадочную радость, азарт. Её уверенность обжигала.

— Восстание захлебнется здесь.

Я молчала. Мне не хотелось говорить ей, что Город уже некому защитить. Сестра протянула руку и сжала мои пальцы. Её идеальные ногти, покрытые блестящим алым вонзились в мою кожу. Не больно, но на самой границе с тем, что уже будет неприятным ощущением. Сестра любила боль, оттого ей казалось, что боль любят все.

— Мы победим, — сказала она.

Я кивнула. Мне не хотелось её расстраивать. Мы не победим, но умирать без надежды я не пожелала бы никому.

— Все думаешь, Воображала? Тебе нужно поменьше думать, милая. Мысли сводят с ума. Ты ведь не хочешь закончить, как они?

Сестра кивнула в сторону окна. За ним пока не бушевала толпа. И это даже было странно, тревога от тишины нарастала, как метель. Неужели их что-то остановило? Что могло их остановить?

— Не хочу, — ответила я. — Просто думаю, что сейчас нам лучше не терять надежды, но и не хвастаться победами, которых ещё не случилось. Мы просто должны принять жизнь такой, какая она есть. Давай я принесу десерт.

— Принять жизнь такой, какая она есть, — повторила сестра. Её нежный, звонкий смех вдруг разнесся по столовой. Она казалась непобедимой. Глядя на её прекрасное лицо взбалмошной девушки, я охотно верила, что ни Аэций со всем его Легионом, ни сами боги не смогут её низложить.

— Принеси десерт, — она махнула рукой. Сестра казалась избалованной королевой из сказки, той самой, которая прикажет снять голову с чьих угодно плеч, если ей что-нибудь не понравится. Она безупречно играла свою роль, но именно сестра, а не Домициан, управляла страной. Именно она обсуждала с генералами план обороны городов Империи, раздираемой гражданской войной. Она отдавала приказы, иногда нечеловечески жестокие. Она требовала отчетов о поражениях и училась на ошибках. И она проиграла войну. Вовсе не из-за отсутствия мастерства. Её противник оказался хитрее, но война была мучительной для обеих сторон.

Но все, конечно, будут думать, что решения принимал Домициан. В поражении тоже будут винить его, и это он войдет в историю, как император, сдавший город.

Она вошла бы, как победительница.

Я отправилась на кухню. Холодный шоколадный пирог стоял на столе, одинокий и лишенный заботы прислуги. Я разогрела его, безусловно он слегка подгорел, ведь я не изменяла своему непревзойденному умению обращаться с пищей даже в осаде. Я выложила пирог на тарелку. Мне вдруг, будто маленькой девочке, захотелось порадовать сестру. Я

взяла из холодильника взбитые сливки и написала на гладкой глазури "Жадина". В центре первой буквы "а" я посадила коктейльную вишенку, казавшуюся почти прозрачной.

Взяв тарелку, я хотела было выйти в столовую, но в этот момент я услышала крики. Улица по прежнему была тихой, и крики доносились изнутри дворца, за стенами. В зале и коридоре.

Чума здесь.

Пирог полетел на пол, превратившись в месиво из взбитых сливок и шоколада.

— Сестра! — крикнула я. — Домициан!

Хотя, конечно, они слышали и без меня. Все вдруг началось и сразу совсем близко. Так быстро. Еще десять минут назад я мечтала о том, чтобы война поскорее закончилась, но теперь, когда она вошла в мои двери, я испытала мучительный страх. Мне захотелось вернуть спокойные, пусть терзаемые ожиданием, минуты за столом.

Но вернуть ничего уже было нельзя.

Я распахнула дверь столовой, отчего-то я ожидала, что все закончится прямо сейчас, и я увижу их мертвыми, а в следующий момент пуля прошьет и мое сердце. Но в столовой все еще были только сестра и Домициан. Лицо Домициана было перепуганным, но в то же время страх придавал ему особую, навсегда ускользающую красоту. Я знала, таким я его больше не увижу. Сестра казалась раздраженной скорее, чем перепуганной. Ее пухлые губы скривились от досады.

— Десерт отменяется, — сказала она.

— Я не понимаю, что происходит. Как они прорвались сквозь охрану? Почему на улице тихо?

— Не суетись, Домициан.

Сестра очень спокойно допила бокал вина, отставила его. Она была похожа на человека, который садится в пришедший по расписанию поезд. Без энтузиазма и без удивления, с легкой досадой расставания. Теперь казалось, что это Домициану стоило бы поучиться смирению и достоинству. Сестра готова была взойти на эшафот, как на трон. Себя саму я не могла представить. Наверное, я была бледная и растерянная. Я не знала, что делать и даже не понимала, что я чувствую. Мне просто хотелось, чтобы это закончилось, как в те ужасные дни, когда мы уезжали куда-то, куда приходилось брать с собой множество вещей, и я понимала, что нам предстоит ожидание на вокзале или в аэропорте, утомительное и скучное, и сделать нужно было столько, или, по крайней мере, проверить, ничего ли я не забыла, но сил ни на что не хватало, словно я уже просыпалась усталой.

Во всем этом было хоть что-то хорошее. Эти дни заканчивались. Сегодня заканчивались все дни.

— Соберись, — сказала сестра. Она больше не говорила, что мы победим, но, казалось, она не засомневалась в своих словах. Я бросилась к ней, когда она пошла к двери.

— Куда ты?

— У меня есть дело!

— Там Безумный Легион!

Сюда прорвался отряд, состоящий из народа воровства, вдруг подумала я. Невидимые солдаты, козырь Аэция в войне.

— Санктина! Ты не можешь просто выйти туда!

Я держала ее за руку, и вдруг меня пронзило воспоминание о тех страшных секундах, когда я боялась, что сестру унесет в открытое море.

Крики больше не пугали меня. Их звучание казалось привычным. Стоны раненых и умирающих я слышала и прежде, в госпиталях. Случалось мне слышать и шипение преторианского оружия, входящего в плоть. Сейчас оно давало мне надежду.

В сущности, победить преторианца можно, когда его оружие погаснет. Но для этого нужно продержаться с ним один на один. Я не представляла, как сделать это в замкнутом помещении.

Но я не была воином, прошедшим путь от Треверорума до Вечного Города.

За секунду перед тем, как сестра распахнула бы дверь, мы услышали стук, быстрый и яростный.

— Видите? Враги не стучат в двери.

— Может, это их уловка, — вдруг засмеялась я. На секунду мне стало все равно. Наверное, так чувствуют себя персонажи пьес абсурда. Этой секунды сестре хватило, чтобы распахнуть дверь. Людской поток не хлынул в столовую. Ничего особенного не произошло, никто не спешил нас хватать. Я даже подумала, может нам просто выбраться на улицу? Выбраться, поймать машину и уехать из Города. Неважно, что потом.

В столовую ввалился мальчишка, он был бледный, и глаза у него горели. Я даже знала его имя — Кассий. Запомнила его потому, что он был намного младше остальных преторианцев здесь. Совсем молодой паренек, сын начальника гвардии. Я видела его еще ребенком, а теперь он почти мужчина. У него были острые черты из-за которых он почему-то ассоциировался с волком или псом, и серьезные, недетские глаза. Он непременно попал бы в официальный состав гвардии, но пока ему оставалось только болтать с солдатами и дерзить отцу. Его терпели из-за обаяния и исполнительности, он многим нравился и многих злил. И мне странно было видеть его совсем другим — смертельно бледным, настолько, что даже губы его были лишены всякой краски.

На его майке красовались три красных пятна. Я подумала, может за очередное прегрешение отец отправил его прислуживать на кухне, а потом вспомнила, что сестра отпустила прислугу. Эти пятна вовсе не от томатной пасты и не от вина. Эта краснота, переходящая в коричневатый цвет — запекшаяся кровь, она пришла из госпиталей и с полей битв. От Кассия пахло по-особенному, чем-то сладким, больничным и чужим. Отчасти этот запах напоминал царивший в госпиталях, но не был полностью равен ему. Губы Кассия расплылись в улыбке. Он казался изумленным, взвинченным.

— Моя императрица! Мой император! Там...

Он замолчал, будто забыл человеческие слова, затем его лицо исказила комичная гримаса недовольства, но одно из свойственных ему выражений совершенно не вязалось с тем, что он говорил.

— Они убивают друг друга!

Домициан закрыл за Кассием дверь, развернул его за плечи к себе.

— Кто убивает? Что значит друг друга?

Кассий вдруг засмеялся, голос его разнесся по столовой. Я увидела, что руки у него дрожат. И все же перепуганным он не выглядел.

— Идиот, — вдруг выплюнул Кассий. И тогда я поняла, что кто бы кого не убивал за дверью, мы уже погибли. Кассий не смел бы говорить такое своему императору, если бы оставался хоть малейший шанс.

Кассий продолжал, он говорил очень быстро, и слова его казались жутковато раскоординированными между собой, словно он был пьян или сходил с ума.

— Не понимаешь? Вдруг не поймешь. Я так и думал. Брошу их, чтобы спасти. Зачем? Взбесились. У отца сердца нет. Нет сердца. Нет сердца, потому что оно на полу. Вот почему? Убивают друг друга. Ведь они друзья. У меня были, были друзья. Отец мертв.

И тогда я понимаю, чья это кровь. И что Кассий совершенно свихнулся.

Он снова засмеялся, словно над какой-то своей шуткой, которую и мы должны оценить.

— Безумный Легион здесь? — спросил Домициан. Мы с сестрой сделали пару шагов назад. Кассий пугал нас, хотя перед нами был совсем еще молодой парень, которого и солдатом назвать было нельзя, в экзальтированном бреду, который он нес сквозила опасная, первобытная воинственность.

Сестра смотрела на него с брезгливостью. Он все касался пальцами пятна на майке, затем отводил руку. Снова и снова, одним и тем же движением, словно зацикленный кадр из фильма вновь и вновь повторялся на экране.

Губы его шептали что-то, потом он выкрикнул.

— Я хочу предупредить! Дворец скоро будет захвачен! Они вырежут друг друга. Безумный Легион еще там, но безумие здесь! Здесь! Там!

— Преторианцы дерутся друг с другом? — спросил Домициан. — Солдат еще нет?

— О, ты маленький герой, — сказала сестра.

Он пришел предупредить нас. Он справился с безумием, с ужасом перед смертью собственного отца, и он пришел к нам. Я подумала, что человека вернее сложно представить.

— Спасибо тебе, — сказала я. — Пойдем с нами. Мы попробуем выбраться отсюда.

Мне захотелось помочь ему, позаботиться. Я знала, что матери у мальчика нет, и я все не могла перестать смотреть на путешествие его руки от кровавого пятна по воздуху вверх. Кассий посмотрел на меня, глаза у него были пустые, словно кто-то выключил свет и прервал связь.

Домициан, наконец, отпустил плечи Кассия. И в этот момент его движение от кровавого пятна в воздух, вдруг запыхало, и я поняла, что у Кассия в руке сияет преторианский клинок. Тогда стало ясно, что за движение совершал Кассий все это время. Сияющий божественным алым клинок пронзил Домициану горло. Это случилось так неожиданно, что я не поверила в произошедшее. Шестнадцатилетний мальчишка-преторианец убил императора. Он пытался сдержать себя и не смог.

Вот как все закончилось. Ни эшафота, ни даже достойной смерти от пули. Кровь в распоротом горле Домициана шипела. Я не закричала, и сестра не закричала. Мы смотрели в пустые глаза Кассия и увидели, как клинок прожигает плоть Домициана. А когда его голова слетела с плеч, я увидела обугленную кость. Я и представить себе не могла, что увижу, из чего состоит муж моей сестры.

Я схватила сестру за руку, и мы побежали. Никогда еще я не испытывала такого ужаса от смерти, которая предстала передо мной в самом физиологическом виде. Я все еще не верила, что больше не увижу Домициана, что муж моей сестры, император, мертв, но вид его расходящейся под клинком плоти придавал мне телесное, инстинктивное стремление бежать и не останавливаться.

Я поняла, что не готова к смерти, не готова принять ее с достоинством.

Крики становились все ближе, и я увидела то, о чем говорил Кассий. Мельком, только мельком. Мы бежали слишком быстро, я не могла никого рассмотреть. Наши собственные солдаты убивали друг друга. Преторианцы уязвимы для божественного оружия, и сейчас они

дрались друг с другом, мечи и стрелы, ножи и кинжалы, все это с шипением вбивалось в человеческую плоть, и всюду брызгала кровь. Ее было так много, что казалось она не настоящая.

Я так боялась, что поскользнусь на ней, и это ощущение, я знала, запомнится мне очень надолго. На всю жизнь.

Мы бежали по коридору не разбирая дороги. Мы находились в центре чудовищной битвы, где те, кто должен был защищать нас, резали друг друга. Крики теперь казались мне невероятно громкими, я чувствовала себя сбившейся с пути птицей. Но останавливаться было все равно, что умереть. Так я думала. Впрочем, это было не совсем так.

Все оказалось вовсе не так опасно, как мы думали. Люди вокруг были так заняты друг другом, что даже, наверное, не видели нас. Нет, то, что произошло с Домицианом было случайностью. Преторианцы не должны были убить нас. Они должны были убить друг друга, и Безумный Легион войдет во дворец. Мы попытались бежать к выходу, но там было больше всего людей. Они бросались друг на друга, как дикие звери, совершенно лишенные разума. В них не было ничего, кроме ярости, казалось, что они слепы и ориентируются благодаря совсем другим, нечеловеческим чувствам.

— Наверх! — шепнула сестра, и я едва услышала ее голос. Мы не могли выйти. Если бы мы оказались рядом, на нас бы бросился кто-нибудь. Они не интересовались теми, кто далеко, но и не разбирали, кто перед ними, это были машины для убийства. Кассий сохранил больше разума, чем они. Я даже не слышала слов, только крики боли и злобы, мычание и рык.

Мы взбежали по лестнице. Нужно было остаться в столовой, подумала я, выбраться через окно. Но теперь поздно. Мне было стыдно. Я и моя сестра, наследницы величайшей семьи Империи, бежали, как маленькие девочки, перепуганные воровки из неблагополучного района.

Мы ворвались в первую же комнату, я спиной прижалась к двери, будто это могло бы нас защитить. Я плакала, сама того не замечая. Мы попали в комнату сестры и Домициана. Домициан сюда больше не придет. Сестра оставляла на мраморном белом полу красные следы. Я посмотрела на свои туфли. Они были испачканы кровью, точно так же, как иногда пачкаешься грязью, вступая в лужу. Пятнышки рассыпались по носкам туфель, а подошвы были полностью красными.

— Не плачь, Воображала, — сказала сестра.

— Я люблю тебя, Жадина.

Я шмыгнула носом, и сестра одарила меня презрительным взглядом.

— Успокойся.

— Давай попробуем вылезти через окно?

Она мотнула головой.

Я кинулась к окну, сорвала с него траурную, черную ткань. Свет хлынул в комнату, обнажив широкую кровать, потолок, украшенный узорами из слоновой кости, и всю тусклую в вечернем свете белизну комнаты. Прежде здесь жили наши родители, но эти времена с трудом приходили мне на ум. Все здесь пахло сестрой — ее розами.

На улице царил безнадёжная тишина. Теперь, если прислушаться, я легко могла услышать выстрелы. Где-то там, за домиками с красными крышами, райскими средиземноморскими особнячками, увитыми плющом, продвигался вперед Безумный Легион. Они были близко.

Сестра не спеша подошла к двери, вставила ключ в замок, защелкнула. У ключа было основание в виде розы. Сестра коснулась его губами и уложила в карман.

— Если мы выберемся сейчас, то еще успеем...

Но сестра снова сказала:

— Нет. Я никуда не собираюсь.

Она прошла к гардеробу, дерево которого было выкрашено так хорошо, что казалось, будто снежного оттенка белый — его естественный цвет.

— Жадина, мы погибнем, если не поспешим!

— Не печалься, Воображала.

Сестра легко расстегнула молнию на платье, выскользнула из него, едва-едва помогая себе руками, переступила через ткань дорогой одежды, будто это был мусор, оставленный кем-то. Я увидела ее прекрасное тело, состоящее из бледного золота и теней в изумительных изгибах. У меня перехватило дыхание от мысли, что это потрясающее существо умрет.

— Розовый или красный?

— Жадина!

— Розовый или красный? — повторила она с нажимом.

— Белый, — сказала я. Сестра вытащила из шкафа удивительной красоты белое платье. Атласное платье, длинное, с лямками, перехватывающими сестру под горло, очень ей шло. Она словно собиралась на праздник. Никто не поднимался вверх, но мы не могли задерживаться. Каждая минута была значимой, а сестра села перед туалетным столиком. Она открыла пудреницу, и сладковатый, нежный запах ее косметики достиг меня. Я кинулась к ней, опустилась на колени.

— Умоляю тебя, пойдем! Ты сошла с ума, милая, если думаешь, что сейчас время для того, чтобы пудрить нос!

— Для этого всегда найдется время, — сказала она холодно. — Я хочу выглядеть потрясающе.

Ее глаза в зеркале были холодны. Тонкие флакончики и коробочки ручной работы, золотые тюбики с губной помадой, похожие на ювелирные украшения, сверкали самым праздничным образом. Сестра прошла пальцами над тюбиками, как пианист, который готовится играть. Она выбрала алую помаду.

— Хочешь? — спросила она, как в детстве. — Впрочем, ладно, ты у нас скромница.

Помада с распушенной грацией прошла по ее губам, оставляя рубиновый цвет.

— Я люблю тебя, — сказала сестра. Я потянула ее за руку, но она, вывернувшись, снова прошла к гардеробу, открыла шляпную коробку и, постояв над ней, достала шляпку, украшенную лебединым пухом, легкомысленную и чудесную.

— Подходит, правда?

— Тебе сейчас нужно будет лезть через окно!

— Мне не придется никуда лезть. Я умру здесь.

— Ты собираешься ждать?

И она засмеялась, ее нежный, тихий смех полз по комнате, как туман. Она легла на кровать, где простыни пахли розовым маслом.

— Иди сюда.

И я подошла, как зачарованная. Сестра сказала:

— Я люблю тебя, Воображала. И всегда буду, слышишь?

— А я люблю тебя, Жадина.



— Ударь меня.

— Что?

— Ты слышала.

— Сейчас на время!

Но я знала, что ей это нужно. Я размахнулась и залепила ей пощечину. Нездоровый румянец на одной стороне ее щеки придал ей лихорадочный вид.

— Еще раз.

И я сделала это снова. Я делала это столько раз. Удары заменяли ей поцелуи, и она любила их намного больше.

— Мы больше не встретимся.

— Я не уйду без тебя.

— Я умру здесь. И сейчас.

Сердце у меня стало совершать один лишний удар за одним.

— Садись, — сказала она.

— Я не позволю тебе!

— Позволишь, Воображала. Потому что это правильно. Правильно уйти с достоинством. Я не хочу быть трофеем.

— Я тоже, поэтому мы должны бежать.

— Но нам некуда. Империя пала. Старой Империи больше нет.

Она говорила нежно, ласково, словно объясняла мне очевидные вещи. И я верила ей. Мне было страшно оттого, что она говорит правду.

— Пойдем, я умоляю тебя.

— Ударь меня, — приказала она. И я ударила ее, на этот раз сильнее. Я вложила в этот удар свою злость на нее, на ее желание сдаться, такое же взбалмошное, как слова о победе. И, может быть, такое же лживое.

— Сильнее! — крикнула она. — Я ничего не чувствую!

И я ударила ее снова.

— Еще!

— Ты хочешь, чтобы я убила тебя?! — спросила я с ужасом и каким-то противоестественным желанием.

— Нет, — сказала сестра искренне. — Просто мне страшно.

И тогда я ударила ее снова. А потом еще раз. Губы у нее были влажные, румянец на щеках расцвел сильнее. И я совершенно не заметила ее движения, когда она схватила с тумбочки у кровати пепельницу Домициана. У него была раздражающая привычка курить в постели.

Больше ее нет. Эта мысль последней пронеслась в моей голове перед тем, как удар по голове окунул меня в темноту.

Я очнулась рядом с ней, в луже теплой крови, и первые мои мысли, спросонья странные, скользили по тайным воспоминаниям о первой менструации, стыде и боли. Я лежала рядом с сестрой, уткнувшись носом в ее шею. Кровью пахло совершенно одуряюще. Мои губы касались ее шеи, и я поняла, что не чувствую губами пульса, к которому привыкла еще до рождения.

Это и заставило меня открыть глаза и вспомнить, где мы.

Она лежала рядом со мной. Простынь пропиталась ее кровью. Она была бледной, но ее тело еще сохранило тепло.

И я закричала.

Сестра порезала себе вены. Аккуратные надрезы изуродовали ее прекрасные руки. Ее покинуло столько крови, что я не думала, будто она жива. И все же я пыталась остановить и без того увядшее кровотечение. Я вбежала в ванную, упала, разбив коленку, схватила бинты из ящика под раковиной.

Я знала, где хранятся ее бинты — я часто перевязывала ее раны. И ее последние раны перевязывала тоже я.

Я плакала, и почти ничего не видела. Злость и горе были так сильны, что я хотела сделать то же самое, что и она. Я перевязывала ее безвольные руки и целовала их.

Я больше не хотела сбегать. Мне некуда было. Меня не существовало без нее.

Мою сестру уносило, как тогда в детстве, бушующее море. Только совсем другое — море крови. Я сидела на полу и целовала ее холодеющие пальцы. Нож, которым она сделала это, лежал на тумбочке.

Меня тошнило от боли в голове, такой невероятной, что казалось, я слепну.

Но мне было все равно.

Там, за дверью, слышался шум. И это не было важным. Больше не было ничего важного.

Румянец оставленный моими ударами покинул ее.

Я едва заметила, что кто-то дернул ручку двери. В следующую секунду раздался выстрел. Наверное, кто-то отстрелил замок. Я не обернулась. У меня была только она, вернее, как раз только ее у меня не было, но вместе с ней уходил весь мир.

Я слышала шаги, но не голос. Я захлебывалась рыданиями, и мне было все равно, кто меня видит.

— Ей нельзя помочь, — сказал он. У него был варварский акцент, и так я поняла, как все закончилось. Как мы и ожидали. Сестра была права.

Я посмотрела на него и увидела того, чьи фотографии в газетах вызывали у меня страх и тоску. Он стоял передо мной, усталый и бледный, с прозрачными, как вода, глазами.

Человек, разрушивший весь мой мир. И это он был штормом, который унес от меня сестру.

Мне казалось, что он уйдет и оставит меня наедине с моим горем. Я была уверена в том, что и моря расступятся перед болью, которую я испытывала. Время должно было остановиться, потому что ее больше не было. Вся история шла только к этому моменту, без нее не было смысла ни в чем, все стало пустым и тусклым, как будто и моя кровь вытекала сквозь раны, которых я не видела.

— Милая, — шептала я. — Моя милая, моя милая, я так люблю тебя. Я всегда буду.

Ее губы были алыми от помады, оттого казалось, что в них все еще была жизнь. Я закрыла глаза и слушала биение собственного сердца, теперь оно одно было на земле, и это было так неправильно. Нас было двое с самого начала, когда наши сердца совершили первые удары рядом.

Теперь я осталась совсем одна, словно на земле больше не было не единого человека. Я не знала, сколько я просидела так. Наверное, не так уж долго, потому что он все это время стоял в комнате. В конце концов, я подумала, что сестра не хотела бы, чтобы я позорила наш род. Эта мысль придала мне сил, и я утерла слезы, встала и развернулась к нему.

— Прощу прощения, — сказала я. — Значит, ты победил?

Я говорила с ним на "ты", потому что я и представить себе не могла, что значит обращаться на "вы" к безумному варвару. И хотя он вошел во дворец и выиграл войну, он

оставался варваром. За некоторые границы выйти не получится, что бы ты ни сделал.

— Значит, — сказал он. Он был моим ровесником, но выглядел лет на десять старше, как ему и полагалось. У него были внимательные глаза, а рука покоилась на прикладе винтовки. Но он не целился в меня. Это значило, что меня казнят. Что ж, стоило встретить смерть с достоинством.

— Ты позволишь мне похоронить ее по нашему обряду?

— Да. Позволю.

Все оказалось даже забавно. Вот он, мятежник, стоял передо мной, сестрой его императрицы, он шел ко мне через войну, через боль, кровь и смерть, а я была сражена страхом и отчаянием. И вот все закончилось, в эту минуту, а нам совершенно нечего было друг другу сказать. Мне было интересно, в чем его безумие. Он не был похож на сумасшедших, какими я их себе представляла. Аккуратен, насколько позволяла война, спокоен и с виду вполне разумен. У него была совершенно неяркая мимика, казалось, будто выражение его лица никогда не меняется.

— Ты рассматриваешь меня, как животное.

Я и вправду словно была в зоосаду. Смотрела на него, как на диковинку. И это, пожалуй, было единственное, чем я могла отомстить ему за смерть моей сестры и падение моего рода.

— Не говори со мной на "ты", — сказала я.

— Твой род будет править до разрушения Империи.

— Значит, ты решил уничтожить здесь все. Ожидаемо.

— Ожидаемо от варвара? — он спросил скорее с интересом, чем с обидой. Мне казалось, будто он смотрит на меня со стороны, словно разговаривает со мной и одновременно находится где-то в другом месте. Эта странная деталь, словно отсутствие чего-то, наконец, позволила мне понять — он все-таки безумен.

— Ожидаемо от человека, который вместо того, чтобы понять существующий порядок вещей, разрушает его до основания.

Язык словно сам по себе шевелился. Мне не хотелось заниматься софистикой, мне хотелось лечь на пол и рыдать от мысли, что моей сестры больше нет. Для него она была императрицей, фигурой на карте, которую нужно было скинуть на пол. Для меня же она была единственным существом, которое я когда-либо любила на свете.

— Ожидаемый аргумент от того, кому выгодно существующее положение дел.

Только его больше не существовало. Я видела, что и Аэцию не хочется говорить. Он прошел войну и устал лить кровь. Что ж, у него было еще много работы. Оставались чиновники, сенаторы, военные. Все те, кого я знала совсем по-другому, как хороших знакомых, любящих родственников или друзей. Впрочем, были среди принцепсов и преторианцев близких к нам и мерзавцы, но не больше, чем в любой другой среде.

— Тогда, я думаю, тебе нужно завершить, — мой взгляд скользнул по сестре. — Свое дело. Ты казнишь меня при всех?

Он сделал несколько шагов ко мне, и выражение его лица впервые изменилось. Обнаженные в кривой улыбке зубы придали ему дикости, заставившей меня отшатнуться. Впервые в этом спокойном человеке я по-настоящему узнала генерала, пришедшего из края лесов и безумцев.

— Ты станешь моей женой, — сказал он. — Я думал, это будет твоя сестра. Я слышал, что у вас были доверительные отношения и планировал шантажировать ее твоей смертью. Но раз получилось по-другому, тебе придется выйти за меня замуж.

Я даже не сразу поняла, что он говорит. Он, варвар и преступник, не имел права даже думать о таком. Мой род продолжался с самого пересотворения человечества и длился сквозь века в огромнейшей Империи мира. Мой бог благословил нас, чтобы мы властвовали над такими, как он. Он мог убить меня, по праву победителя, но быть его женой означало бы втоптать в грязь все, во что верили поколения моих предков.

И это противоречило Пути Человека, потому как лишало меня достоинства и гордости перед моим богом.

— Ты не имеешь права даже смотреть на меня, — сказала я. Эти слова вырвались у меня сами по себе, словно и не я их говорила, а весь мой род сквозь меня. Я осталась одна, и я была их голосом.

Он вскинул винтовку, и ее дуло уперлось мне в грудь.

— Тогда я застрелю тебя сейчас.

Аэций повторил:

— Я хочу, чтобы ты стала моей женой.

Голос его ничего не выражал, и я бы не удивилась, если бы он тут же нажал на курок. Страх заставил закрыть глаза, но я преодолела его. Не потому, что во мне было много внутренней силы. Нет, просто я знала, что окажусь рядом с сестрой. И, наверное, это заставило меня улыбнуться.

— Стреляй, — сказала я. — Умереть достойно — это дар лучший, чем жизнь в разрушенной тобой стране.

— Твоя готовность к смерти вызывает уважение, — сказал он. — И я слышал, что ты — хороший человек. Ты помогала пострадавшим в войне, так?

— А разве ты не убивал хороших людей?

Я закрыла глаза, приготовилась к звуку выстрела, который я услышу последним в своей жизни. Винтовка больно упиралась мне в грудь.

Но вместо боли от выстрела я почувствовала другую боль. Нож прошелся по ткани моего платья, и она пронзительно затрещала. Лезвие надавило мне на кожу, и эта боль была слабой, но ощутимой. Платье упало к моим ногам, и прежде чем я поняла, что стою перед ним в нижнем белье, он надавил мне на затылок, привлекая к себе. Я увидела, что его винтовка валяется на полу, дернулась в ее сторону, но он схватил меня за волосы.

Я хотела закричать, но не могла. Мне было мучительно стыдно за то, что это происходит со мной, и я не хотела, чтобы кто-нибудь знал, что мне больно или страшно, или что он срезал с меня платье.

Умирать легко, потому что ты знаешь, что на этом все кончается. А вот унижение, это тяжело, от него перестаешь быть собой. И я никогда прежде не чувствовала ничего подобного, со мной никогда так не обращались, и на глаза навернулись детские слезы стыда и страха. Я наступила ему на ногу, но он даже не поморщился. Аэций толкнул меня на пол, и я снова попыталась добраться до винтовки, но в этот момент он навалился на меня сверху. Я чувствовала себя слабой и маленькой. Он был намного сильнее и выше, чем я, и мне казалось, что он может сломать мне шею одним движением. Но я этого не боялась. Наоборот, я боялась, что он не убьет меня. Мне хотелось кричать, проклинать его или просить остановиться, но нельзя было показать, как мне страшно. Когда он развернул меня к себе, я с ожесточением вцепилась зубами в его руку, почувствовав вкус крови на губах. Он не ударил меня, но разжал мне челюсти, как собаке. Винтовка из которой я могла бы пристрелить его была совсем рядом, а я не могла добраться до нее.

Он сдернул с меня лифчик, и застёжки проехали по моей коже, оставляя на спине царапины. Он не целовал меня, даже не пытался. Это было бы глупо, ведь мы не знакомы. Я едва не засмеялась, такой дурацкой показалась мне эта мысль.

Он изучал мое тело, смотрел с жадностью. И я подумала, может у него не было женщин на войне, оттого он трогает меня с таким вожделением. У меня прежде не было мужчин, я не любила никого, в моей жизни была только сестра, и мне не хотелось прикасаться к чужим людям. Мне было отвратительно от его прикосновений, обидно, и я чувствовала себя незащищенной и грязной.

Он трогал меня грубо, как будто ощупывал вещь перед покупкой, и я не верила, что так обращаются со мной. Я не верила, что этот чудовищный день кончится тем, что варварский вождь изнасилует меня в луже крови моей мертвой сестры. Мы ведь только что обедали, и она пила вино, а я волновалась — все было как всегда.

Теперь мир рухнул, сузился до его жадных рук. И я поняла, это не я и он, мужчина и женщина, это Бедлам говорит с Империей. Это унижение совсем другого масштаба, оттого оно так заводит его. Взять власть и взять женщину в его голове приведены к одному знаменателю. Он так и не ударил меня, хотя я продолжала вырываться, кусаться и царапаться. Я бы что угодно сейчас сделала, лишь бы он убил меня. Лишь бы не чувствовать, что он может сжимать мою грудь, будто я его собственность, девочка с улицы, с которой можно делать все что угодно за сестерций и даже больше — за два.

— Я убью тебя, — зашептала я. — А если не я, то мой бог тебя поразит, и еще больше сделает — поразит весь род твой.

Как ты поразил мой.

Его прозрачные глаза с расширенными от возбуждения зрачками снова смотрели будто сквозь меня, хотя рука стягивала с меня белье. И этот контраст — нездешний взгляд человека, только наблюдающего за всем и страсть его рук, испугал меня еще сильнее.

— Тогда ты проклинаешь собственных детей.

И это было худшим оскорблением, которое он мог мне нанести. Я укусила его в шею, надеясь перегрызть ему глотку, мне казалось, что я способна на это. Он надавил мне на горло, прижал к полу так, что воздух вышибло из легких. Кровь стекала с моих губ, его мерзкая кровь, которую он хотел смешать с моей.

Я не могла представить себе, что он человек, что у него есть хоть какие-то чувства, воспоминания, стремления. Он был создан, чтобы причинять мне боль, и только этот предельный эгоцентризм спасал меня от полного отчаяния.

Я отвела взгляд, чтобы не смотреть на него, и хотя так царапать его лицо и руки стало сложнее, но и часть страха ушла. Я изо всех сил сжимала колени, хватала его за руки, извивалась, и мне казалось, я могу сопротивляться вечно, и осознание этой силы даже приносило мне удовольствие. До тех пор, пока я не увидела руку моей сестры с пастью раны под грязным бинтом. Бледная рука, синеватые ногти, мертвая сестра.

Тогда я заплакала, понимая, что это не закончится никогда, сестры больше не будет, что бы ни случилось. Не будет никогда.

Мне показалось, будто я больше не контролирую свое тело, всего на минуту, но и этого было достаточно. Он раздвинул мне ноги, огладил по бедру, будто хвалил меня, движение было скорее неосознанное им самим, инстинктивное. Его пальцы вошли в меня, и я подумала, что от отвращения меня сейчас стошнит.

— У тебя раньше не было мужчин, — сказал он. В голосе его я услышала что-то,

похожее на удивление. Удивление казалось единственной эмоцией, которую он мог выражать похожим на нормальных людей образом. Я снова вцепилась в него зубами, но мне казалось, что он не испытывает боли.

Я плюнула ему в лицо. Его крови в моем рту было больше, чем собственной слюны. Он явно не считал унижительность этого поступка. Собрал пальцами кровь, смешанную со слюной, смазал свой член и одним резким движением вошел в меня. Я сама зажала себе рот, чтобы не закричать. Ему было все равно, сколько шума я издаю, это был только мой позор.

От его резкого толчка, я проехала спиной по луже крови моей сестры. Прежде я никогда не думала, что смогу пережить унижение и боль такой силы, но мир не остановился и не остановилось мое сердце. Я не умерла тут же, и мне оставалось только лежать под ним, ощущая его в себе. От него пахло кровью и землей, но еще чем-то густым и сладким, тем же, чем пах обезумевший Кассий, и от этого запаха мне становилось дурно.

Его отверженный народ был в Вечном Городе, а он, отвратительный мне до смерти, был здесь, со мной. Никогда прежде ко мне даже не прикасался никто из людей бездны, как мы называли их. Где-то глубоко внутри я считала, что мы принадлежим к совершенно разным биологическим видам. Я никогда не слышала о том, чтобы хоть кто-то из принцепсов жил с людьми бездны, а тем более, имел с ними детей. Я была уверена, что само мое тело отторгает все, что связано с ним. Пусть найдет себе женщину, которая будет ему равной и смотрит, как все здесь горит. Я испытывала злобную радость при мысли о том унижении, которое он испытает, когда поймет, что не сможет стать частью императорской династии через меня, что у нас не может быть детей.

Странно было испытывать хоть что-то приятное, но злорадство не давало мне заплакать снова. Я должна была с достоинством принимать даже унижения, но меня никогда этому не учили. Он был большой, и мне было больно, и я чувствовала собственную кровь на бедре, теплую, в отличие от холодной крови моей сестры по которой я скользила спиной. Он двигался быстро и жадно, будто я вообще не была живой и не способна была чувствовать боль.

И я поняла, что для него я тоже не человек. Холодный и бесчувственный враг, унижавший его народ. Он воевал для того, чтобы меня здесь не было. Ему было абсолютно все равно, что я испытываю. Мы были друг для друга военными агитками, дегуманизированными и плоскими.

Его нос утыкался мне в шею, но он не целовал и не кусал меня. В том, что происходило между нами не было ничего от близости. Он выражал злость и отчаяние, которые и привели его сюда, а я капитулировала перед ним. Я больше не царапалась и не кусалась, все не имело смысла. Я знала, что я слишком труслива, чтобы покончить с собой, как сестра.

Но мне могло достать смелости убить его.

Я отвернулась, чтобы не видеть его, взгляд мой уперся в пятно крови, смочившее пыль под кроватью. Не нужно было отпускать горничную, подумала я, но посмеяться над этой невероятно своевременной мыслью не смогла, потому что стоило мне издать любой звук, и я залилась бы слезами.

Ему было со мной хорошо, я слышала его прерывистое дыхание, чувствовала, как его зубы касаются моей шеи — он улыбался. Но так хорошо ему было бы, что бы я ни делала, ничто не касалось меня. Я была просто вещью, доставшимся ему трофеем. С таким же воровским удовольствием его солдаты сейчас, наверняка, разграбляли наши семейные ценности, на которые и смотреть прежде не имели права.

Я не была злой, не считала, что люди бездны должны умереть, в мирные времена я даже занималась благотворительностью. Но никто из них не должен был прикасаться к чему-либо в этом доме.

Особенно этот, такой же варвар, как и все остальные, только еще хуже, потому что никогда не был покорен Империи.

Оттого вдвойне отвратительно было быть покорной ему. Я снова принялась вырывать, эта мысль придала мне сил. Я не какая-нибудь самка его вида, не женщина для него, и я не должна была просто лежать под ним. Он больно, как будто в наказание, сжал мою грудь, и в этот момент я почувствовала, как все его тело почти болезненно напряглось.

Он закрыл глаза, и я была рада, что он больше меня не видел. От ощущения его семени внутри я почувствовала спазм в горле, но меня все-таки не стошнило. Только вот я все-таки заплакала, уже не громко, как когда оплакивала сестру. Я плакала тихо, но слезы нельзя было скрыть. Я снова показывала ему слабость.

Мне казалось ужасно обидным и несправедливым, что он испачкал меня своим проклятым семенем, и мое тело не могло от него освободиться. Мне казалось, я никогда не смогу это смыть.

Я закусила кожу на руке, чтобы боль отрезвила меня, но этого не случилось. Он, наконец, отстранился, и этот навязчивый запах больницы и грязной крови перестал меня донимать.

Он встал, застегнул ширинку и теперь стоял надо мной абсолютно одетым. На нем была старая шинель, серая и протершаяся в нескольких местах, скорее, гражданская, чем военная. Непростительная нищета для генерала.

Он с пару секунд смотрел на меня, глаза его ничего не выражали, даже отвращения и брезгливости, которых я ожидала. Затем он подошел к гардеробу, открыл его и, почти не глядя, вытащил из него платье, принадлежавшее моей сестре.

— Одевайся. Ты идешь со мной.

— Или что? — выдавила из себя я.

— Или ты пойдешь со мной обнаженной.

— Мне нужно принять душ.

— Нет времени.

Мой взгляд скользнул по полу, наткнулся на винтовку.

— Хорошо, — сказала я. Для этого рывка я использовала все силы, что у меня оставались, и была вознаграждена. Я почувствовала под пальцами холодный и твердый приклад винтовки, но в этот момент он наступил мне на руку. Казалось, сейчас кости в пальцах захрустят, было так больно, что я заскулила, но руку не убирала. Я вцепилась в винтовку так, словно она была моим единственным шансом выжить.

На самом деле, конечно, она была моим единственным шансом умереть. Я должна была застрелить его, а потом, может быть, у меня хватило бы сил застрелиться самой и уничтожить страну, захваченную этими животными.

— Ты упрямая, — сказал он с тем же удивлением, которое, казалось, сопровождало каждый новый факт, который он узнавал. В следующий момент он освободил мои пальцы, но они, распухшие и красные, не хотели сгибаться. Он легко вырвал у меня винтовку.

— Одевайся, — повторил он.

— Убей меня.

— Я должен защитить моих людей. Это значит, что ты станешь императрицей. Я не

убью тебя. И не позволю тебе умереть, пока ты не родишь мне наследника.

Он объяснял мне так, как учитель математики объясняет решение задачи ребенку. Я понимала, что это просто цифры, а условия нужны лишь для наглядности. Я сидела на полу не шевелясь, и он поднял меня на ноги, натянул на меня платье, пахнущее сестрой, и этот запах на минуту меня успокоил.

— Белье я на тебя надевать не буду. Ты можешь попробовать ударить меня по голове. Меня это раздражает.

Мне стало абсолютно все равно. Пусть бы мы пошли куда угодно. Я смотрела только на сестру, на ее прекрасное мертвое лицо, которое я так любила. Папино сердце исчезло из храма нашего бога пару месяцев назад, а это значило, что сестра умрет. Я знала это, и я не могла этому поверить.

Сейчас я увидела ее мертвой, и я все равно не могла понять, как могло произойти так, что она оставила меня. Я ненавидела себя за то, что допустила это.

Два горя, которые я пережила сегодня, как будто разделялись, они не могли смешаться, потому что если бы они впали друг в друга, тесно сплелись, я не пережила бы этого. Я будто ныряла из одной горькой реки в другую, но понять, что и то, и другое, вправду произошло не могла.

Он потянул меня за руку, я почти не шла сама, так что он волок меня. Коридор был полон солдат. Они заходили в комнаты, и в мою тоже, я слышала, что кто-то роется в моих вещах.

— Генерал, — сказала одна из женщин, стоявших у двери. У нее были длинные, чудовищные когти, а вуаль закрывала ее лицо. Она не была солдатом, и одета была не по-военному роскошно. Но были и другие женщины, как она — ведьмы. Они не скрывали свои длинные когти, не отличались от других солдат, и автоматы держали довольно ловко.

Формы у них не было. Они были одеты в удобную черную и серую одежду, не носили отличительных знаков, в отличие от солдат Империи. Невидимые воины.

Невидимые войны.

— Императрица мертва, — сказал Аэций. — Осталось сделать еще кое-что, и все кончено.

Женщина в вуали кивнула. Она смотрелась здесь так же нелепо, как и я.

А я закрыла глаза, только чтобы не смотреть на то, как чужие люди ходят в нашем доме, своими грязными ботинками пачкают наши полы, трогают наши вещи.

— Держите ее, — сказал Аэций. Чьи-то руки тут же схватили меня, но я не собиралась сопротивляться. Двое солдат, у одного взгляд подолгу не задерживался ни на чем, он был явно из варваров, второй с виду был нормальным, может быть, вор. И у обоих, мне казалось, были одинаковые лица. Наверняка это было не так, но в моей голове солдаты смешались в одно единственное, но разделенное на множество, существо.

Многорукое, многоликое, грязное.

Они смотрели на меня с любопытством, а кое-кто заглядывал в комнату сестры, чтобы увидеть ее тело.

Аэций распахнул дверь. Он провозгласил:

— Я здесь не для того, чтобы разрушать. Я здесь для того, чтобы построить нечто новое.

Он шел к телу моей сестры, на ходу достал грубый охотничий нож, и я поняла, что он хочет сделать. Я завизжала, что есть сил, и солдатам стало трудно меня удерживать, так что один из них ударил меня по лицу прикладом, я почувствовала жар крови во рту, но



вырваться не прекратила.

— Богохульник, будь ты проклят! Ты не имеешь права этого делать! Ты даже прикасаться к ней не можешь! Пусть твой собственный бог поразит тебя, ты позор своего народа! Мерзость! Грязь!

— Сколько в тебе злобы, — сказала женщина в вуали. — Злоба — это хорошо. Это витальная сила. Теперь ты знаешь, благодаря чему мы победили.

Аэций срезал с нее платье, воткнул нож ей в грудь. Под его сильными руками ломались ее кости. Он втыкал и втыкал в нее нож, как будто она была пойманным на охоте оленем. Казалось, он ничего не испытывает. Я не понимала, как он может засовывать холодный металл в мою милую сестру, копошиться у нее внутри и не испытывать ничего.

Он не знал, как она облизывала губы, как чудесно пела, как прекрасны были ее руки, и как она любила насекомых. Он не знал, что она была Жадиной, и могла быть очень грубой. Он не знал, как тепло она умела обнимать. Он не знал, какое она любила вино. Не знал, какие розы она выращивала. Не знал, что она без страха посылала армии на смерть. Не знал, что ее любимая цифра — семнадцать.

Он ничего о ней не знал. Я знала все. И я могла только смотреть. Мне хотелось кричать о том, какая она, моя девочка, и как я любила ее, и как она морщила нос, когда смеялась, и какие мягкие у нее были руки, и как мы вместе читали книжки.

Но у меня не получались слова, словно их вообще не осталось на свете. Я бессловесно кричала, выла, как животное, как скотина, когда он доставал из моей сестры ее чудесное, красное сердце.

В конце концов, мой милосердный бог лишил меня чувств. Я вынырнула из темноты, когда он взял меня за подбородок. Его руки были испачканы в крови моей сестры.

— За мной, — скомандовал он. — И она тоже должна там быть.

— Ты не мог, не мог, не имел права!

— Правда? Тогда посмотрим, поразит ли меня твой бог.

Он нес ее сердце, и это ошеломило меня, как совершенно обычную вещь. Это же ее сердце, сердце моей чудесной сестры.

Солдаты пошли за ним, потащили меня. Сбоку шла женщина с вуалью. Я слышала смех, всюду этот мерзкий смех. И как же они смеялись, разрушая мой мир.

Мы спускались по лестнице. Я едва шевелила ногами, они словно стали ватными. На первом этаже всюду разносился запах паленой плоти, сладковато-кулинарный, вызывающий аппетит. Я видела изуродованные тела преторианцев, ожоги и раны делали их едва узнаваемыми.

И я не хотела понимать, кому принадлежат эти изуродованные лица. С кем-то из них я могла доверительно поговорить, чьих-то детей знала, а кому-то просто вежливо улыбалась.

Теперь эти люди были мертвы. Больше никогда я не услышу их голоса. Они не сделали ничего плохого, они защищали наши жизни. Что мне сказать их женам и детям?

У меня не было ответа и на этот вопрос. Я только надеялась не узнать никого. Лишь с одним мне не повезло. Лицо отца Кассия оказалось нетронутым. Он слепо смотрел в потолок, будто задумался о чем-то тревожащем.

Мы вышли в наш сад, на полумертвых зимой растениях тут и там блестели капли крови, как чудовищная роса. Запах паленой плоти отсюда уносил ветер.

Он вошел в храм, не зажигая огней. Оскорбил моего бога, грязными ногами ступив на его землю. Аэций сжимал сердце его избранницы.

Мой бог плакал, и я впервые понимала, почему. Мой бог вечной печали знал о человеческой боли все, и он сочувствовал нам, людям, которых так полюбил и которыми восхитился.

Мы были обречены испытывать боль потерь. Я потеряла свою сестру и свою страну. Он плакал надо мной, и надо всеми такими, как я.

— Пусть то и это сделает тебе мой бог, и еще больше сделает! — выкрикнула я, надеясь, что прокляв его в храме, я смогу умолить моего бога поразить его.

Он был не скор на наказания, а я отступала от Пути Человека, желая Аэцию зла.

Но он уничтожил все, что я когда-либо любила и помнила.

Аэций подошел к статуе моего бога, он с интересом рассматривал ее, словно диковинку в магазине. Слезы текли из прекрасных глаз моего бога и падали в чашу. Звериная маска, которую он сжимал в тонких пальцах, казалось, оскалилась угрожающе.

Аэций вставил сердце в дыру в груди бога. Символ нашего завета с ним. Мы отдавали ему свои, человеческие, сердца, а он давал нам власть над этими чудесными землями.

— Убирайся! — кричала я. — Убирайся! Это дом моего бога!

— Успокойся, — сказала женщина в вуали. — Видишь, ничего не произошло. Может быть, твой бог не так уж против?

Аэций постоял у статуи, наблюдая, как каменные нити сами по себе опутывают сердце, как живые, как насекомые, запустившие в него хоботки. Солдаты с восторгом наблюдали за тем, как бог принимает сердце императрицы.

— Видимо, твой бог считает, что я достоин престола, — сказал он. — Если нет, пусть остановит меня.

Он осмотрел солдат так, будто мой бог мог скрываться среди них. Затем он развернулся к статуе, и я в ужасе поняла, что он сделает сейчас.

Аэций не взял чашу. Он подался вперед и коснулся губами щеки моего бога, принимая его величайший дар. Шепот, полный страха, пронесся по рядам. Даже его солдаты не ожидали такого святотатства. Аэций забрал дар, предназначенный принцепсам, нашу вечную молодость. Теперь он никогда не постареет и проживет дольше. Теперь он окончательно нарушил все запреты, установленные моим богом.

— Он уничтожит тебя! — снова крикнула я.

Солдаты отпустили меня, и я в бессилии рухнула на мраморный пол. Я подняла взгляд и увидела сердце моей сестры, а потом Аэция.

— Это возможно. Что ж, я буду ждать.

Дорогой мой, наша первая встреча была горькой до тошноты, поэтому я предпочитаю думать, что жизнь Марциана началась не тогда, не в тот страшный час, а много-много раньше. И хотя тот день тоже был горьким, со мной была моя сестра. Нам было по девять, и лето все еще казалось бесконечным, особенно в дождливые дни.

Теперь мы тоже уезжали в школу и по полгода не видели дом. Но я не тосковала по родителям, со мной всегда была моя сестра, а больше мне ничего не было нужно. В дождливые дни мы сидели в своей комнате, и сестра укладывала под стекло насекомых с такой заботой и нежностью, словно это были ее куклы.

Комната у нас была чудесная, девичья-девичья, с нежно-розовыми обоями и путешествующими по ним белыми, острокрылыми птицами неизвестной породы. У нас были чудесные кровати, совершенно одинаковые, только балдахины были разных цветов. У сестры — розовый, а у меня белый. И на изголовье кровати у сестры была вырезана роза, а у меня — лилия.

Все у нас было общим, книжки в шкафу, длинный стеллаж с самыми красивыми на свете игрушками — златокудрыми куколками в расшитых крошечными бусинками и тонкими кружевами платьях, плюшевыми зверушками с глазками из агатов, крохотной кукольной мебелью. Дети, как ты знаешь, играют совершенно не так, как ожидают от них взрослые. Они выбирают для этого странные предметы и создают с ними странные истории.

Мы думали, что куклы существуют для красоты. Главными действующими лицами и жителями наших кукольных домиков всегда были засушенные и покрытые лаком насекомые сестры, а главными злодеями — две крохотные кожаные туфельки.

Пожалуй, кроме мебели для домика мы использовали по назначению еще лошадку на колесиках, на которой мы, по одной и с трудом, но все еще помещались. Сестра залезала на нее, и я возила ее по комнате или наоборот. Лошадка была безглазая, покрытая бежевой краской на которой распустились лилии и розы, знак того, что лошадка принадлежит нам обеим.

Все в этой комнате было общим, и мы никогда не дрались из-за игрушек, не спорили, как многие другие дети. Нам не приходило в голову спорить из-за того, что не могло поместиться в наши шкапулки.

В них и заключалось в то время все наше личное пространство. Шкапулки были небольшие, размером, наверное, со школьный учебник, зато глубокие. Туда помещалось множество мелочей.

Мы знали, что эти шкапулки особенные, там хранится что-то, что принадлежит каждой из нас в отдельности, что делает нас двумя разными девочками, а не одной, но разделенной. Ты, любимый, никогда этого не поймешь, это опыт, находящийся за пределами твоей досягаемости, но, может быть, ты попробуешь представить, как это, когда ты ощущаешь себя половиной, а не целым, как будто часть твоей души существует совершенно отдельно, и ты не в силах как-нибудь присоединить ее к себе. Представь, мой дорогой, как кто-то разрубил тебя напополам, и ты больше не можешь себя собрать, но продолжаешь существовать по отдельности, и о вас говорят "вы оба".

Это ощущение было особенно страшным в детстве. И оно утихало, когда я открывала

свою шкатулку. Я смотрела на свои колечки, серебряные и золотые. Мне нравились морские цвета, нравились халцедоны, аквамарины, танзаниты, и родители украшали меня кольцами и сережками с этими камнями. Сестра любила розовый кварц и турмалин. А обе мы невозможно любили опалы, и часами могли любоваться на их переливы.

У меня было много сокровищ. Некоторые из них были сокровищами в совершенно взрослом смысле — ювелирные украшения и камни. Другие же казались таковыми только мне, но насколько же я любила их. Лучшие из моих ракушек, книжные закладки с зайчиками, камушек с дыркой посередине, в которую я дунула, загадав желание, а потом сама его забыла, смятые записки от школьных подружек, фантики от конфет такие красивые и блестящие, что жалко было их выбросить.

Но самое главное, там был мой альбом. Суть меня, эссенция. Я записывала туда свои мысли, рассказывала альбому о прочитанных книгах, клеивала туда рисунки, которые мне нравились и сама рисовала там.

В дождливые дни я даже не скучала по морю, потому что я могла провести день наедине с моим альбомом, а главное с самой собой. Альбом был вещественным отражением моей отдельной, уникальной и индивидуальной души, и за это я была ему невероятно благодарна.

Что это за чувство я поняла много позже. Моя забота о нем, ежевечерние ритуалы, когда я доставала его и гладила страницы, все это было преисполнено желанием отблагодарить альбом за все, что он сделал для меня.

В шкатулке сестры были мертвые цветы и мертвые насекомые, ее собственные, не похожие на мои, украшения, ее бальзам для губ, пахнувший ванилью, малиной и персиком, фотографии красивых мужчин и женщин, которые она часто просила у мамы.

Так я понимала, что мы с сестрой очень разные. Содержимое шкатулок было как наши внутренности — самое личное, какая-то квинтэссенция жизни, только не спрятанная глубоко внутри, а хранимая снаружи.

Я лежала на полу, источавшем почти незаметный запах лака и сильный — древесины. Дождь бил по стеклу, убаюкивая меня. У нас из окна было видно море, и я любила смотреть на него в дождь. Оно бушевало, но капли на стекле скрадывали его дикость, и оно становилось расплывчатым, пастельным. Я видела, как волны бьют камни, но их удары казались мне почти нежными из-за пелены дождя.

А если открыть окно или выйти на балкон, то можно услышать запах влажных цветов и бушующую воду.

Я никогда не открывала окно, но мне нравилось быть поблизости, и я часто представляла, как распахну его, впуская в комнату ветер и сырость, которые так не любила Антония.

Отголоски бога-зверя в моей душе становились все более жуткими с возрастом, но тогда я считала, что распахнуть окно в дождь, это вершина злодейства.

Сестра пинцетом укладывала стрекозу в маленькую стеклянную коробочку, язык она высунула, а глаза прищурила, и выглядела в этот момент комично. Пинцет зажал яркосинюю, с фиолетовым отливом стрекозу, которую сестра ловила очень долго.

Я отодвинула свою шкатулку, красивую, любимую, с фарфоровой бляшкой на крышке, на которой были изображены цветы и ягоды. На красном дереве было серебром написано мое имя — Октавия. Вот почему шкатулка была моей абсолютно.

Я листала свой альбом, любясь на то, как изменяется мой почерк, остановилась на

последней странице, где еще ничего не было написано. Я вклеила туда красивые марки с ласточками, которые Антония после долгих уговоров купила мне на почте.

Чего-то не хватало. Марки были рассеяны по обеим страницам, но здесь нужно было что-то еще. Иногда я удовлетворялась одной единственной картинкой, а иногда исписывала страницу целиком и полностью. Здесь нужно было что-то среднее. Я задумалась. Может быть, сбрызнуть бумагу мамиными духами? Ласточки запахнут свежестью, и это, наконец, сделает их полноценными. Я протянула руку и взяла стакан с клубничной водой. Она почти не имела вкуса, но цвет у нее был нежно-розовый, а клубничный запах казался очень приятным. В стакане плавал листик мяты, который я всегда вылавливала, когда воды оставалось совсем чуть-чуть, и ела. На подоконнике стояли тарелки с молочным пудингом. Он был белый, дрожал от любого движения, был не слишком сладким и имел насыщенный сливочный вкус. На нем дрожали три зернышка граната, и я его любила. Но я дала себе зарок — не притрагиваться к пудингу, пока я не закончу страницу.

Мне нравилось ограничивать себя, как это делает наш бог.

— Ты хочешь пудинг? — спросила я у сестры. Она ответила:

— Я хочу насадить ее на иглу, поэтому я не могу думать о пудинге.

Я сказала:

— Хорошо. Я тоже могу не думать о пудинге.

Но пудинг не шел у меня из головы. Чтобы приблизить нашу встречу, я решила, что на странице между марками не хватает узора в горошек. Наверное, синего, потому что чайки летают по синему небу.

И я начала рисовать одинаковые кружочки, один за другим, и мои действия казались мне неотделимыми от шума дождя. И вот, посреди этого обычного дня, приятного и полного спокойствия, меня поразила мысль: я хочу сына. Я впервые задумалась об этом и, как и многих маленьких девочек, эта мысль поразила меня.

Я думала: хочу, чтобы у меня был сын, маленький мальчик, светленький, как моя сестра, и очень красивый. Чтобы он был добрым, и чтобы тоже меня любил. Чтобы я могла играть с ним и петь ему колыбельные.

Чтобы я могла заботиться о новом существе, которое придет в этот мир с моей кровью в жилах. Чтобы я могла рассказать ему, как красиво море, и как замечательно небо, как вкусен молочный пудинг, и как чудесен воздух ночью. У меня тут же появилось столько всего, что я могла бы ему показать. Мир был чудесен, и я почувствовала жгучее желание привести в него нового человека.

Я не мечтала о замужестве или любви, но мой маленький сын представился мне очень точно. Ты будешь смеяться, а я, наверное, выдумала себе это, но мой мальчик из фантазий и вправду был похож на сына, который у меня родился.

Я представила, как держу его на руках, и как он нуждается во мне, а я могу дарить ему все на свете игрушки и петь колыбельные, чтобы ночь его не пугала.

Незаметно для себя я стала думать, как я назову его. Рука сама подсказала имя: Марциан. Оно звучало красиво, и я раз за разом выводила его на той странице, и у меня было ощущение, будто у меня уже есть сын по имени Марциан. Я писала печатными буквами, затем прописными, по-всякому закручивала хвостики букв, а потом спросила сестру:

— Ты хочешь сына или дочку?

— Я хочу изумрудную осу. Папа обещал заказать.

— А я назову своего сына Марциан.

— Это если у брата быстро будут дети. Нам же нельзя заводить детей, пока у него их не будет.

Это важная для традиция — привилегия произвести наследника престола давалась императору. Последующие же дети, как императора, так и его братьев и сестер, наследовали престол по старшинству вне зависимости от того, кто их родители. С одной стороны это, конечно, было не очень справедливо, но так была устроена жизнь в нашей семье, и я не воспринимала этот запрет, как что-то неприятное. В любом случае, мы оставались молодыми и жили дольше прочих людей, обычно в том, чтобы завести ребенка даже в семьдесят или восемьдесят лет не было проблемы.

— Тебе бы только придраться.

— А тебе бы только мечтать, — сказала сестра. Наконец, у нее все получилось, она надела крышку на стеклянную коробочку, будто ее короновала, и нежно уложила в шкатулку.

— Справедливо, — сказала я и вывела еще раз имя моего будущего сына. Я смотрела на эти буквы, складывающиеся в слово, и видела моего мальчика, и видела себя саму, уже взрослую женщину, с ним. Затем я почувствовала запах малины и персика, и еще один, осторожный — ванили. Сестра стояла надо мной, и бальзам для губ, которым она всякий раз так густо мазалась, источал этот девичий, приторно-сладкий аромат. Сестра смотрела на страницу моего альбома, будто там было написано не одно единственное имя, а целый огромный текст.

— Звучит красиво, — сказала она. — Мне нравится. Я вот не хочу детей. Изумрудные осы лучше детей. Они жалят тараканов и подчиняют их волю, так что изумрудные осы ведут их к своему логову, как бычков.

— Страшно, — сказала я.

— Ты не переживай, чтобы с тобой так случилось, должно быть много изумрудных ос. Очень много.

Она засмеялась с тем оттенком очаровательной жестокости, который так не нравился Антонии. Ее нежные, пахнущие фруктами губы коснулись моей щеки.

— Я люблю тебя, милая, — сказала она.

— И я люблю тебя, Жадина. Просто понимаешь, я вдруг подумала...

Я закрыла альбом, уложила его в шкатулку и отодвинула ее, чтобы сестра могла лечь рядом. Она некоторое время повозилась, устраиваясь поудобнее на жестком полу, а потом, подперев голову ладонью, уставилась в окно, там капли гоняли друг друга по прозрачному стеклу.

— Что я хочу дать жизнь человеку, чтобы показать ему, как все чудесно. Ты когда-нибудь думала, как здорово рисовать? Смотреть на небо? Есть пудинг?

— Только что об этом подумала, — сказала сестра. Она поднялась, взяла наши тарелки и снова опустилась рядом со мной. Антония не велела нам есть на полу, как люди бездны, но мы ее не слушали.

Сестра протянула мне тарелку, и я взяла серебряную ложку с замысловатым орнаментом на ручке и почерпнула зернышки граната вместе с пудингом. Он был потрясающе нежным на вкус, и я уверилась в своем желании завести ребенка хотя бы для того, чтобы показать ему, какие чудеса можно творить со сливками.

— А ты не думала, что в мире есть не только хорошие вещи? — спросила сестра. — Ну, то есть, ты, конечно, будешь стараться показывать хорошие. Но нельзя оградить человека от всего плохого. Однажды он узнает, что в море не всегда можно купаться или что такое

ангина.

— Ангина, это ужасно, — сказала я, но так как я не испытывала в тот момент совершенно никакой боли, вкус пудинга в этой битве выигрывал.

— Но в мире больше хорошего, — сказала я. — Больше добрых людей и хороших вещей, чем плохих. Поэтому наш бог и выбрал Землю.

Сестра отправила в рот ложку пудинга, закрыла глаза, выражая удовольствие, и только через минуту сказала:

— Наш бог запретил нам быть плохими. Он заставляет нас жить так, как нравится ему, чтобы любоваться на нас. А как ты думаешь, куда девается все худшее? Он сделал нас вечно молодыми, велел нам быть хорошими и теперь смотрит на нас, потому что мы его личный зоосад. Мы с тобой живем в Элизиуме, правда? Мы богаты, у нас есть лучшая одежда и лучшая еда. Но мир намного больше, чем Иллирия и Город.

Я смотрела на нее нахмурившись. Это были слова не подходящие маленькой девочке, слова, мудрые и в то же время опасные. Я слушала ее заворуженно, даже забыв о пудинге. С Титом папа не разговаривал два месяца и за меньшую дерзость, поэтому у меня было невероятное ощущение тайны, самых запретных слов. Сестра подтянула к себе свою шкатулку, взяла бальзам для губ и щедро намазалась им. Мне казалось, она тянет время перед тем, чтобы сказать нечто важное, очень важное. И очень страшное.

— Он сделал нас такими, какими хочет видеть. Выдрессировал. Потому что мы для него диковинки. Помнишь, что нам о нем говорили? Он царь всех богов, и был самым чудовищным из них. Он пожирал планеты на завтрак. Он — страшный. Мы просто его новое увлечение, и если мы ему не понравимся, он раздавит нас. Он просто хочет, чтобы мы вели себя хорошо, потому что ему хочется на нас любоваться. Но если люди надоедят ему однажды...

Сестра взяла ложку и зачерпнула пудинг, с аппетитом проглотила его, и я мгновенно поняла, что будет с нами. Эта мысль напугала меня больше, чем все на свете осы, я почувствовала дрожь внутри.

Я совсем другим представляла нашего бога. Древнее чудовище, да, но так впечатленное человеческое существо, что само практически стало человеком. Наш бог не только принял облик прекрасного юноши, но и старался быть подобным людям. В этом было его величие, в умалении божественной гордости и самоотречении ради наших вечных идеалов. Я никогда не представляла его страшным.

А теперь представила.

— Мир — опасное место, Воображала, — прошептала сестра. И я не понимала, пугает она меня или же напугана сама. Может быть, и то, и другое?

— Но папа говорил, что наш бог никогда не бросит нас, потому что мы научили его всем добродетелям.

— Если только ему не надоест в них играть. Что ты делаешь, когда тебе надоест?

— Ухожу.

— А я бросаю игрушки.

Взгляд ее синих глаз был на редкость пронзительным. А я все думала: то есть, наш бог только снаружи прекрасен? Он лжет о том, что он — хороший? Как я лгу о том, что я хорошая, когда не делаю чего-то плохого?

Я принялась есть пудинг, чтобы напомнить себе о том, что мир прекрасен. Впервые меня охватил жгучий страх перед нашим богом и впервые я почувствовала его реальность и

близость. Мне представлялось, как он, безумно красивый златокудрый юноша, протягивает ко мне руку, на которой в секунду отрастают длинные-длинные когти, и вот уже его прекрасное лицо искажено зубастым оскалом.

Я едва не заплакала, но считала себя слишком большой девочкой, чтобы проявлять такие слабости. Когти и зубы все вспыхивали у меня перед глазами. В девять лет я считала, что страшный, это вот такой. Много лет спустя я поняла, что наш бог, как и все другие боги, может принимать абсолютно любую форму, потому как не стеснен материей и является намного больше, чем наш мир. А тогда я, конечно, представляла чудовище из-под кровати.

Только от чудовищ всегда мог защитить мой бог. А от моего бога ни единое существо во всей Вселенной, даже Антония, защитить не могло.

— Мне не хочется быть зверушкой в зоосаду, — сказала сестра. — Я хочу узнать, откуда они пришли и чего хотят. Как относятся друг к другу. Как существуют.

Такие уверенные и опасные слова могла произнести только девятилетняя девочка. Больше никогда сестра не говорила таких жутких слов. Но я этого разговора так и не забыла. Не забыла и она. Я была уверена, что ее сознательный интерес к старым богам произошел из этого разговора в дождливый день.

И я волновалась за нее, потому как думала, что все, что случилось в тот день было вызвано нашей дерзостью. И хотя у меня никогда не было доказательств того, что нас наказал наш бог, я не могла отделаться от этой мысли.

Никто не мог быть так своенравен, как он. И никто не мог быть так милосерден. Ответов у меня не было, было лишь смутное чувство виновности.

Скажи мне, мой дорогой, почему он не казнил на месте тебя, богохульника, осквернившего его алтарь? Почему ты живешь и здравствуешь, и страна твоя процветает?

И у тебя нет ответа. Он карает и дарует свое милосердие как пожелает.

Я только сказала:

— Как жутко, не говори так.

Сестра хотела добавить что-то еще, но в этот момент в комнату зашла Антония. Она увидела стоящие на полу тарелки, и ее недовольный взгляд скользнул по нам, только она ничего не сказала.

Вот тогда мы и поняли — что-то не так. Антония сказала:

— Вас просят в гостиную.

— Спасибо, госпожа Антония, — ответили мы. Она выглядела серьезнее обычного, а глаза у нее были такие, что я забыла, как мечтаю попрощаться с ней через пару лет, когда мы станем достаточно взрослыми, чтобы обходиться без ее надзора. В ее вечно холодном взгляде было что-то настоящее и грустное. И я подумала, наверное, у нее что-нибудь случилось.

— Давайте быстрее, девочки, — сказала она каким-то особым голосом, показавшимся мне очень человечным. А когда мы выходили, она легонько погладила нас по головам. Я еще не понимала, что это значит, но сердце мое уже забилося быстро-быстро, в такт стуку дождя.

В гостиной пахло, кофе, миндалем и сахаром. Папа был в Городе, так что мама скучала одна, целыми днями пила кофе и читала, а по вечерам ездила смотреть театральные представления в Делминионе.

Обычно, когда мы заходили, она приветствовала нас и задавала парочку неинтересных ей вопросов, но сегодня мама сидела очень тихо. Она держала небесно-синее блюдо и мерно, как машина, поднимала и опускала чашечку, едва поднося ее к губам.



— Санктина, — сказала она через некоторое время. — Октавия. Садитесь, пожалуйста.

— Да, мама, — ответили мы. Для взрослых у нас был один на двоих голос. Я не уверена, что они различали бы нас, если бы мы выглядели одинаково.

Был и еще какой-то запах, непривычный и горький, но я не могла определить его источник. Мы сели на диван, и мама, сделав крохотный глоток кофе, снова посмотрела на нас. Это был совсем другой взгляд, чем обычно. Оценивающий. Она смотрела на нас и видела не просто украшения для дворца. Она была бледной, но глаза у нее были сухие.

Моя мама никогда не пила. Наш бог порицал пьянство, хотя моя сестра, когда выросла, часто ему придавалась. Маме больше подходило чревоугодие, и она легко отказывалась от спиртного в угоду конфетам и сиропам. Что, впрочем, наш бог тоже не одобрял. Но Путь Человека долг и труден, нужно держать себя в строгости и лишениях, если хочешь добиться его благосклонности. Говорили, он наказывает невоздержанных после смерти, но это мало кого останавливало. Непознанное — место, куда мы попадаем после смерти, всегда было для нас загадкой, никто не знал, что происходит там, и будем ли мы действительно наказаны или вознаграждены.

— Мне нужно серьезно с вами поговорить, дорогие, — сказала она. Голос у нее, в отличие от голоса Антонии, не получался ласковым. Она была чем-то очень взволнована. Мама взяла с серебряного подноса флакон с узкой крышечкой, открыла его, и я почувствовала, как усилился запах миндаля и сахара. Она добавила в кофе еще миндального ликера и сказала:

— Тит погиб.

Первой моей реакцией была вспышка радости. Я не понимала, откуда эта радость — я никогда не хотела занять престол, да и не я теперь была претендентом. Я хорошо относилась к Титу, и он меня не обижал. Я просто испытала беспричинную, злую радость.

Конечно, мы уже знали, что такое смерть. Но я не могла понять ее непоправимости. Мне казалось, что Тит однажды вернется, у меня не было понимания, что он ушел навсегда.

Уже в ту секунду я знала, что Тита не будет этим летом, но у меня в голове не укладывалось, что Тита не будет никогда.

Мама смотрела на нас, ожидая какой-то реакции, и я спросила, едва ворочая языком:

— Как это случилось, мама?

— Он утонул. Несчастный случай.

Я знала, что Тит отдыхал на Комо вместе с друзьями, но я не могла представить, что в этом солнечном краю с ним могло случиться что-нибудь плохое. Вдруг я вспомнила, может быть из-за разговоров, которые мы вели с сестрой, то, что почти два года назад говорил Тит.

Я испуганно посмотрела на сестру. Если за слова Тита он заслужил смерти, то с моей сестрой все случится еще быстрее. Я почувствовала, как глаза у меня становятся влажными. Мама наверняка подумала, что я грущу о брате.

Но я боялась за сестру. А истинное значение слова "смерть" ускользало от меня. Оно было страшнее и в то же время проще, чем когда-либо после. Я знала, что с Титом произошло что-то ужасное, но была не в силах понять, что ничего изменить нельзя, и что больше Тита с нами не будет.

Мама поставила чашку и блюдце на стол.

— Мне так жаль говорить вам это, мои дорогие.

— И нам жаль, мама, — сказала сестра. — Мы можем что-нибудь для тебя сделать?

Взрослые слова и формулы, значения которых мы не понимали.

— Нет-нет, девочки, — ее цепкий взгляд снова путешествовал от одной из нас к другой и вдруг остановился на сестре.

— Санктина, моя дорогая, ты ведь понимаешь, что это значит?

Сестра молчала, и мама продолжила за нее.

— Теперь ты — старшая дочь императора.

Мое сердце рухнуло вниз, из глаз полились слезы. Нет, я вовсе не завидовала сестре, которая в момент из младшей дочери стала будущей императрицей. Я никогда не хотела власти, одна мысль о ней приводила меня в замешательство.

Дело было совсем в другом. Между рождением сестры и моим рождением разница была ровно десять минут. И эта разница разделила нас навсегда.

У сестры теперь была совсем другая судьба, и мы перестали быть единым целым.

И это причинило мне намного больше боли, чем весть о гибели моего брата.

А мама достала из кармана платя металлическую коробочку, похожую на маленький портсигар, вытряхнула оттуда две оставшиеся таблетки и запила их чистой водой из стакана, стоявшего на подносе.

Следом в руке ее оказался веер, и она бессильно откинулась в кресле, будто ей стало дурно.

— Иди, Октавия, — сказала она. И впервые мама не добавила имя сестры. Она хотела поговорить с ней наедине.

Я вежливо попрощалась и ушла, боясь за все, что теперь будет. Я стыдилась своих чувств и своего безразличия к брату, пыталась подумать о том, как плохо умереть молодым.

Но из головы у меня не шла сестра и мои бесконечные страхи за нее и за нас.

Я сидела у ее туалетного столика в ее комнате и втирала в свою кожу ее крем. У крема был пудровый, едва уловимый аромат, напоминавший мне о ней. Я поднесла запястье к носу, вдохнула ее запах, оставшийся мне.

На столике стояли ее духи, ее косметика, и я использовала их, чтобы напомнить себе о сестре.

В конце концов, ни в каком другом виде ее больше со мной не было. Я снова расплакалась и со стыдом отвела взгляд от зеркала. Ты совсем расклеилась, Воображала, подумала я, и мысль эта зазвучала ее голосом, заставив меня плакать еще горше.

Я не была уверена, что когда-нибудь станет легче. Но, подумав хорошо, я решила, что покончить с собой — не выход. Сестры больше нет, и теперь я даже не старшая дочь императора, я — императрица.

И если я не хочу обрушить гнев нашего своенравного бога на мой народ, мне нужно оставаться живой. Конечно, часть меня считала, что таким образом я оправдываю собственную слабость и нежелание последовать за сестрой. Как и всегда, оба этих фактора и составили решение: я боялась, и я хотела быть ответственной. Конечно, если бы я умерла, мои скорбь и позор завершились бы мгновенно, но вместе с жизнью всей Империи. Я этого не хотела, и Аэций понимал, что я этого не хочу.

Я сидела во дворце, будто пленница. Прошлой роскоши и комфорта больше не было. Жизнь здесь изменилась, но, по крайней мере, я была дома.

Облачко пудрового аромата вилось вокруг меня, и я закрыла глаза, представляя, что сестра здесь, со мной, обнимает меня своими теплыми руками с острыми ногтями.

Наш народ всегда очень ценил близнецов и двойняшек. Как у нашего бога два лика, так и нас было двое. И если сестра шла Путем Зверя, то я — Путем Человека, и все, чего не было у меня — было у нее.

Теперь я осталась одна.

Цикл не сменялся третьей неделю, но я была уверена, что мое тело не хочет работать правильно от всего пережитого, все прочие мысли я сразу же давила и загоняла как можно глубже.

Аэций, слава моему богу, во дворце почти не бывал. Он вел себя так, будто без его личного надзора и помощи ни одна система функционировать не будет. Я не знала, пытается он завоевать популярность среди народа или просто слишком неотесан и глуп, чтобы понимать, что вокзал отстроят заново и без него, а ему стоило бы заняться более важными вещами.

Я услышала стук и крикнула:

— Войдите.

— Моя императрица, — сказала Сильвия, девушка из народа воровства, приставленная ко мне в качестве камердинерши. — Ужин подан.

Она не знала формул, которым следовали испокон веков наши слуги, но мне Сильвия все равно нравилась. Конечно, это не было ее настоящим именем, но она назвалась так. Она была вежливая, скромная и совсем юная. Ее привел Аэций. Ее родителей убили солдаты, и ей и ее младшей сестре нечего было есть и некуда пойти. Аэций взял Сильвию работать во

дворец, а ее сестра Ретика поселилась вместе с ней. Мне было странно видеть, с какой заботливой мягкостью Аэций общается с ними, и я со смесью зависти и боли вспоминала, как бесцеремонно и жестоко он обратился со мной.

С тех пор мы с ним ни разу не говорили, и я надеялась, хотя и тщетно, что необходимости в разговорах никогда не возникнет.

Мне самой было жаль этих девочек, но из какого-то чувства противоречия я насмеялась над Аэцием, полагающим, что помощь этим несчастным хоть что-то изменит.

Я переоделась к ужину, планируя провести его в одиночестве. Я всегда просила накрывать стол и для сестры, так мне становилось чуть легче, чуть спокойнее. Иногда эта капля значила разницу между жизнью и смертью.

И я почти привыкла есть там, где умер Домициан.

Еще не войдя в столовую, я поняла — что-то не так. Я услышала звон столовых приборов, остановилась только на секунду. Нужно было войти. Недостойно трусливо уйти, отказавшись от ужина.

Он сидел за столом, на нем был строгий костюм, аккуратный, но совершенно не представительный. Он держал вилку не в той руке и неправильно.

— Добрый вечер, — сказал он. У него был рычащий варварский акцент. Как можно было так исковеркать латынь? Они действительно животные. Страх и боль, связанные с ним, заставили меня возненавидеть весь его народ. Прежде я относилась к ним с предубеждением, но теперь все они казались мне не лучше стаи дворовых собак.

— Добрый вечер, — сказала я. — И приятного аппетита.

Я села за стол, и секунду мы смотрели друг на друга, затем он снова принялся резать мясо. Он делал это с каким-то хищным голодом, а лицо его казалось усталым, вот только взгляд, нездешний взгляд, блуждал по столовой, словно он задался целью все здесь запомнить и воспроизвести.

Я налила себе воды из графина, аппетит пропал.

— Как твое самочувствие? — спросил он. — Сильвия говорит, ты почти не выходишь из комнаты.

— Спасибо, все хорошо, — ответила я. Хотя, конечно, мне хотелось указать ему на его место. Он, грязное животное, не имеет права напоминать мне обо всем, что произошло, за столом.

С трудом я заставила себя взять по крайней мере патирум. Мудрость из моего детства: если нет аппетита, стоит попробовать хотя бы десерт. Взбитые с медом яйца представляли собой совсем легкую, сладкую пенку, которую можно было есть без особенного труда.

Аппетит у него был варварский. Он отставил опустошенную тарелку и налил себе вина. Я чувствовала, что он смотрит на меня, поэтому спросила:

— Что-то не так?

— Мне нужно, чтобы ты выступила перед народом.

— Нет. Я не собираюсь помогать тебе. Я здесь только для того, чтобы Империя стояла. Все остальное сделай сам.

— Если ты хочешь, чтобы она стояла — обратись к народу. Кроме божественной кары, есть и другие проблемы. Твой народ волнуется. Я не могу их успокоить.

— Разумеется, ведь ты убивал их.

В его глазах не было никакого удовольствия от сделанного. Он казался спокойным, незлобивым и странноватым человеком. Я не могла представить его воином, хотя он пришел

ко мне победителем.

— Ты не маленькая девочка, Октавия. Ты прекрасно знаешь, в чем состоит твой долг.

Он отодвинул тарелку. Движения у него были звериные, резкие, совсем иные, чем его спокойные, нездешние глаза. Аэций достал старый, исцарапанный портсигар и дешевую зажигалку, закурил, а пепел скинул прямо в тарелку. Я поморщилась. Но я знала, в чем состоит мой долг. Я вправду знала — мой народ осиротел без сестры. И я должна была заменить им императрицу. Должна была ей стать.

Сигаретный дым плыл по столовой, и этот запах был мне особенно отвратительным. Аэций смотрел на меня, его прозрачные, мучительно-светлые глаза казались блестящими в полумраке столовой, куда из-за тяжелых занавесок не долетал свет фонарей снаружи, будто за окнами была абсолютная темнота.

В моей стране теперь всегда было темно, вечная ночь опустилась на мой любимый Город с приходом этого внимательного и жуткого человека.

Он был красивым. В нем была болезненность, свойственная многим варварам, и его глаза все время казались воспаленными, но он был крепкий, поджарый, и черты его сообщали бы о грубовато-царственной красоте, если бы он не вел себя с нарочитым безразличием по отношению к себе. И даже его движения всегда стремились вовне, никак его не характеризовали, словно у него вовсе не было тела.

Его будто и не существовало, такой незаметный человек. Я не могла понять, как он мог стать генералом, как мог привести к победе свой Безумный Легион. Несмотря на всю его бледную красоту, я никогда не запомнила бы его лица, он был словно призрак.

Мы никак не могли сказать что-нибудь друг другу, и от этого мне становилось некомфортно, а он, казалось, привык молчать. Он с удовольствием выдыхал дым, и я видела, что ему свойственно то, что в Пути Человека, оставленном нам нашим богом, считалось уделом низших существ — грубое физическое удовлетворение.

Впрочем, Путь Зверя предписывал улаживать себя всеми доступными способами и кормить свои желания. Сестра частенько придавалась плотским удовольствиям с каким-то отчаянным восторгом, до которого Аэцию было далеко. Но я ни с чем в нем, ни с единой чертой не могла смириться.

Он сказал:

— На ужин приедет Дигна.

— Ты уже закончил ужин. Гостей нельзя приглашать на ужин, а самому сидеть рядом, пока они едят. Это невежливо.

Он снова посмотрел на меня, и мне показалось, что сейчас он засмеется.

— Лучше бы тебе думать о важных вещах, — сказал он. — Приготовься, пожалуйста. Я не хочу, чтобы кровь продолжала литься.

— Ты хочешь мира, правда? — не выдержала я. — После всего, что ты сделал, ты хочешь мира?

— Только после всего, что я сделал возможен мир.

Он не собирался со мной спорить. Он был совершенно убежден в том, что поступает правильно, и я не знала, что творится у него в голове. Его мир был совершенен, и он в угоду ему жертвовал реальностью таковой, какая она есть. Так я поняла, насколько он сумасшедший. Он мог быть хорошим тактиком и стратегом, но он строил свой собственный мир, совершенно не понимая, почему народы, которые он сюда привел, не способны жить с принципсами и преторианцами.

Он не понимал опасности, которую закладывает в самый фундамент Империи. Его мысли были предельно конкретны и болезненно утопичны.

Я презирала его за лучшее, что есть в людях, за желание сделать мир лучше. Потому что оно было психотическим.

— Завтра ты говоришь перед ними, — сказал он. — Говоришь то, что считаешь нужным. Но успокой их. Дай им надежду.

— А если я призову к восстанию?

Его взгляд скользил поверх моей головы, а потом вдруг впился со всей ужасной силой этих прозрачных глаз прямо в меня.

— Но ты не будешь этого делать, — сказал он спокойно, безо всякого нажима и без какой-либо интонации вообще. — Потому что ты не хочешь смертей. Твой бог призывает тебя к достоинству и доброте к живущим.

— И к гордости.

— Смирение гордости во благо — это достоинство принцепса, — сказал он. — Потому что он был безграничным голодом, принцем сладостной боли, и не сдерживал себя ни в чем прежде, чем увидел вас. Он смирил себя ради вас, и вы будьте смиренными.

Он цитировал Книгу Человека, наше писание. Я положила вилку, чтобы не отбросить ее со звоном, чтобы вести себя подобающе, как и учил наш бог.

— Ты, животное, поклоняйся своему грязному богу умалишенных. Не смей произносить его слов.

Он склонил голову набок, выдержал мой взгляд.

— Я могу прочитать его слова, купив его книгу в любой книжной лавке или в киоске в аэропорту. Это потому, что принцепсы настолько не хотят понимать, что в мире обитает еще кто-то, кроме них?

Он вглядывался в меня с этим откровением абсолютного безумия, которое вызвало у меня дрожь. Однажды, по дороге в Иллирию, я видела на одном из вокзалов, которые мы проезжали, старушку. У нее была палка, на которой болтались цветные перья, и она вглядывалась в окна стоящего поезда в отчаянном поиске чего-то, чего не было на свете. Это была маленькая, осунувшаяся бабушка, она открывала и закрывала беззубый рот, что-то говорила сама себе. Я долгое время после боялась увидеть ее лицо в окне своей комнаты, увидеть ее неряшливую, увешанную перьями палку и эти голодные глаза.

И еще — увидеть то, что видела она, вглядываясь в уходящие поезда. У сумасшедших страшные до слез глаза.

Его слова казались абсолютно нормальными, но у него были те же глаза. Я с отвращением вспомнила ощущение его семени в себе, почувствовала в нем скверну, которая в глубине души равнялась для меня инфекции. Мне снова показалось, что от него тянуло не дымом, а сладким карболовым запахом, смертельной для разума заразой, которой он испачкал меня.

Ужас перед грязью поглотил меня, и я почувствовала тошноту. Мне стало дурно, я поднялась.

— Остайся, — сказал он. — Дигна придет не ко мне. Она поговорит с тобой о речи. Мне нужно ехать в больницу, а завтра утром я буду говорить с Сенатом о застройке восточной части Города.

Он словно бы никогда не отдыхал. У него всегда находились силы, и я не понимала, откуда он брал их. Он издавал законопроекты, следил за восстановлением города,

контролировал поставки медикаментов в больницы, распределял всех пребывавших в Империю людей по временным баракам и вместе с рабочими рыл котлованы под застройку их домов.

Казалось, что он один может восстановить страну. Я никогда не видела, чтобы он спал. У него было бесконечное количество сил для того, чтобы не быть безразличным.

Я смотрела на него с презрением, но он только закурил следующую сигарету.

В этот момент Сильвия постучалась.

— Госпожа Дигна прибыла, мой император.

Она называла его императором, и это всякий раз злило меня. Нам не нужно было церемоний бракосочетания, да и документы были пустой формальностью. Все уже знали, что Аэций — император, и что он — мой муж. Я была приложением к Империи, вот и все.

— Пожалуйста, скажи ей, чтобы проходила.

Лицо Сильвии просветлело. Всякий раз, когда Аэций обращался к ней, словно был ее дальним и доброжелательным родственником, в ней словно что-то загоралось. Я не понимала этой магии, я не могла увидеть источника его странного обаяния и почувствовать его.

Через минуту вошла Дигна. Аэций поблагодарил Сильвию, и она вышла, в ее походке появилось что-то девчачье и озорное, будто ей улыбнулась удача, или она шла порадовать себя чем-то.

Я не понимала. Он ведь всегда благодарил ее и всегда общался с ней доброжелательно, почему его слова всякий раз были праздником для нее? В ее тоненькой, всегда чуть сгорбленной фигурке, казалось, появлялась несвойственная ей грация.

Дигна вошла в столовую, как всегда, в одном из своих летящих полупрозрачных платьев, под которыми, тем не менее, из-за наслоения ткани было не понять, какая у нее фигура, и в своей вечной вуали, за которой не видно было ее лица. Мне казалось, что у Дигны и нет лица, она была женщиной в черном, страшилкой из прошлого века, настоящей ведьмой, какими их описывают в книжках. Она не скрывала только руки, только то, что ведьмы старались не показывать чужим.

Она носила свои когти, как украшение, как предмет гордости.

Аэций частенько собирал вокруг себя брошенных и несчастных, старался помочь им и заново устроить их жизнь, но Дигна казалась совсем другой. Она не была похожа на тех, кого я видела рядом с ним. Не казалась обездоленной или отчаявшейся. Она держалась так, как могла бы, разве что, будь она представительницей моего народа. В ней было достоинство и спокойствие за свое будущее.

Она протянула Аэцию руку, и он пожал ее, не опасаясь когтей.

— Хочешь есть? — спросил он просто, словно мы были в крохотной квартирке на окраине Города. — Я схожу на кухню, там должно было что-то остаться.

— Твоя молодая жена, наверное, хочет напомнить тебе, что у тебя есть слуги. Но я не голодна, Аэций, не стоит.

— Тогда не буду настаивать, мне все равно нужно спешить, — сказал он. — Я оставлю вас.

— Я не против, Аэций.

Я никогда не понимала, любовники ли они. Аэций относился к ней с теплотой и почтением, заботился о ней, хотя она явно в этом не нуждалась. И сама Дигна вела себя с ним теплее, чем с кем-либо. Все те разы, когда я видела их вместе, они держались, как

близкие люди.

Дигна помолчала, потом добавила:

— Ты уверен, что тебе стоит ехать к Атхильду? В конце концов, я не думаю, что ему можно помочь. Это причинит тебе боль.

И тогда он сказал совершенно неожиданную вещь:

— Какая разница, что чувствую я. Главное, что чувствует он.

Самозабвенность, с которой он говорил это, поразила меня. Мне захотелось, чтобы он ушел, исчез из моей жизни. Еще большее было вспоминать все, что он причинил мне, зная, какой он с теми, кто ему ровня.

Нет, добрым я его не считала. Он был самоотверженным, заботливым и ответственным, но доброта не была ему свойственна, потому как невозможно быть злым по отношению к одним существам и добрым — к другим.

Мы с Дигной остались одни.

— Что ж, — сказала я. — Если вы не голодны, я предложила бы вам пройтись. Здесь есть чудесный розарий, разговор там будет приятнее.

— Ты можешь говорить со мной так же, как и я с тобой.

Я постаралась вложить в свой взгляд столько безразличия, сколько возможно. У сестры это всегда получалось лучше.

— Мы недостаточно знакомы, — сказала я.

Вуаль Дигны скрывала выражение ее лица, и потому я чувствовала себя уязвимой перед ней. Я не могла понять, о чем она думает и как реагирует на мои слова.

— Розарий, — сказала Дигна. — Это небезынтересно — посмотреть на императорский розарий, так что я приму твое приглашение.

Мы прошли через ночной, загрубевший зимой, сад и оказались под стеклянным куполом розария. Сестра любила это место. Здесь были розы самых редких и удивительных сортов, а воздух всегда был напоен жаркой, парниковой влагой в сочетании с удушливой нежностью аромата цветов.

Розы увивали арки, протянутые над дорожками, и вечером этот сказочный сад был хорошо освещен. Я очень боялась, что цветы погибнут без сестры, оттого ухаживала за ними так же самоотверженно, как Аэций за своим обездоленным народом.

Иногда я думала, розы — вот народ моей сестры, прекрасные цветы и болезненно-острые шипы, кровь от крови — она. Розы были разделены по цвету, и я предложила Дигне выбрать дорожку, по которой мы пойдем. Она задумалась над этим вопросом очень серьезно, и мы долго стояли в молчании. Наконец, Дигна пошла по дорожке, с обеих сторон которой росли чайные розы. Их нежный цвет и ласковый запах успокаивали меня, и я была рада ее выбору.

— Он подумал, что я смогу поговорить с тобой продуктивнее, — сказала Дигна. Она махнула рукой, словно отгоняя дым сигарет, которые курил Аэций. На ее руке звякнул браслет с двумя разнонаправленными серебряными полумесяцами и полной луной.

— Вы в этом не уверены?

— Я думаю, ты избалованная маленькая девочка, говорить с которой в определенной степени бесполезно. Кроме того, ты понимаешь скорее эмоциональные, чем логические доводы, и здесь я тоже не помощник. Но я попытаюсь объяснить тебе, чего от тебя хотят.

— Я думаю, вам не стоит говорить обо мне в таком тоне в моем собственном доме.

Она вдруг остановилась. Ее рука коснулась головки одной из роз с затаенной



жестокостью. Мне показалось, что сейчас Дигна ее оторвет. Но она только провела когтями по розе, прошептала что-то.

— Я далека от того, чтобы обвинять тебя в том, кто ты есть, — продолжила она, как ни в чем не бывало. — Мы все воспитаны определенным образом и не можем перейти через границы собственного опыта. Я даже рада, что именно ты стала его женой. Из того, что знаю о вас обеих, ты лучшее нее.

— Не смейте говорить так о ней!

— Или что? — спросила Дигна. Все, что я говорила не имело для нее никакого значения. Она жила по другим законам, она была недосыгаема для меня.

— Может быть, попросишь меня покинуть твой дом? Я покину его. Но я хочу спросить: ты понимаешь, почему я говорю все это? Почему я веду себя таким образом, а не другим.

— Потому что я — ваш враг.

— Да. И ты смотрела, как мы умираем. Ты смотрела на страдания целых народов. И ты не сделала ничего. Конечно, твой взгляд был застит безразличие твоих родителей, и их родителей. Но ты не прервала этого порочного круга. Ты не хорошая. Ты даже не трусливая. Ты живешь в своем мире, и тебе все равно, что происходит снаружи.

Я молчала. Мне не хотелось ничего говорить Дигне. Я еще не владела ее языком. Я училась быть безупречно вежливой и спокойной, я не знала, что я могу сказать тому, кто страдал по моей вине.

— Но ты не плохой человек, — сказала, наконец, Дигна.

— Большое спасибо.

Мне впервые стало душно в розарии, прежде я будто не замечала, как мало здесь воздуха. Розы казались мне армией, вошедшей в мой Город тем страшным днем, я подумала, что они обступают меня.

— И поэтому я обращаюсь к тебе, как к хорошему человеку, хотя ты не вполне этого заслуживаешь, — сказала Дигна. Мы дошли до конца дорожки, и она села на скамейку, витая спинка которой была украшена железными, неприятными, хотя и не острыми, шипами. Сестра любила такие шутки. И любила, когда красота причиняет боль.

Я, помедлив, села рядом, почувствовала, как шипы упираются мне в спину, совсем легонько, словно только намекая на боль.

— Ты не видела его на войне. Я видела. Он — варвар, и он готов воевать дальше. Аэций может лить кровь, как воду. Он будет продолжать. Но ты не готова к тому, что люди продолжают погибать, и теперь — у тебя на глазах. Помоги ему. Не ради него, не ради его народа и других, что пришли с ним. Помоги ради тех, кому тебя учили помогать.

— Я уже думала об этом.

— Я знаю. В большинстве случаев бессмысленно говорить о том, что человек не пускает в свою голову. Скажи, что ты приняла поражение с достоинством. Пусть примут и твои люди. Это принесет им мир. Непокорность означает смерть. Иногда достоинство можно сохранить, и проигрывая. Дай своему народу и своей стране возможность существовать в истории, сбереги свой народ. Скажи, что ты и Аэций будете вместе решать судьбу Империи.

— Не надо учить меня тому, как говорить с народом.

— К этому тебя, насколько я знаю, не готовили.

— Значит, вы ничего не знаете.

Мне казалось, она улыбается, но под вуалью этого не было видно.

— Ты сможешь жить с этим. Принцепсы и преторианцы смогут жить с нами. Для тебя

мир закончился, но это не так, Октавия. Жизнь продолжается. Она всегда продолжается.

В ее голосе не было ничего теплого, но, кажется, она и не была так зла, как в начале разговора. Дигна сказала:

— Я, надеюсь, что твой ребенок будет принадлежать богу его отца. Может быть, это научит тебя милосердию.

Мои руки похолодели, и я сцепила пальцы.

— Мой ребенок?

Наверное, она смотрела на меня, но я не могла сказать точно, ведь я не видела ее глаз.

— Царица Луна знает о женщинах и их тайнах куда больше, чем они сами.

Дигна поднялась.

— Спасибо, что выслушала меня. Прими правильное решение, Октавия. От слов сейчас зависит больше, чем когда-либо.

Мы шли по дорожке назад, и я достала из кармана кружевной платок, теребила его по давно забытой подростковой привычке и чувствовала, как все сильнее холодеют пальцы.

Среди прекрасных роз, нежно-бежевых с каким-то смутным розовым отливом, я без труда узнала ту, к которой прикоснулась Дигна. Она почернела, словно была заражена какой-то болезнью. Я сорвала ее, с радостью уколов пальцы о шипы. Это отрезвило меня.

— Я думаю, ты справишься без меня, — сказала Дигна. — Просто скажи о том, что тревожит и тебя. Это будет верный путь.

— Спасибо за беседу, — сказала я. — Все это было бесполезно.

Холодный ночной воздух отрезвил меня, успокоил. Дигна лишь хотела испугать и уязвить меня. Точно так же она уничтожила одну из роз. Мелочная месть за то, какую жизнь прожила я, и какую — она.

Мне не стоило впускать волнение в свое сердце.

— Завтра в девять за тобой заедут. Ты и Аэций выступите на Форуме. Хорошей ночи, Октавия, — сказала Дигна. Она говорила спокойно и дружелюбно, словно мы больше не были врагами.

Значит, рано утром мне нужно будет выступить перед народом. Аэций сказал, что утром он будет говорить с Сенатом, но, наверное, день варваров начинался куда раньше, чем наш. Я почти готова была засмеяться, представив реакцию почтенных сенаторов на столь ранний подъем.

Может быть, сегодня Аэций даже не планировал приезжать домой. От этой мысли я вздохнула с облегчением. Когда он был во дворце, я чувствовала его словно занозу. И хотя мы редко сталкивались, его присутствие ощущалось как нечто давящее, удушающее, как летний италийский ветер, приносящий пыль и способный превратить в болото даже море.

Когда он уходил, я дышала свободнее. И я была рада, что в день, когда мне важно сосредоточиться его не будет рядом.

Расставшись с Дигной, я вернулась во дворец. На лестнице я встретила Ретику, сестру Сильвии.

— Распорядись, чтобы мне принесли кофе, — сказала я. Ретика остановилась, всматриваясь в меня. Я редко видела ее вовсе не потому, что она не работала. Просто обычно она использовала дар своей богини. Сильвия почему-то считала это проблемой. Я не понимала причины, ведь каждый использует свои дары так, как считает нужным.

Ретика казалась мне очень стеснительной, и мне часто было жаль ее. У нее были большие-большие глаза и хрупкое, девичье тело, которое, казалось, должно было остаться

таким навсегда. Ретика не должна была расти. В ней было нечто замершее, остановившееся. Каким-то бессознательным чувством билась в голове мысль о том, что именно этим ощущением замирания и обеспокоена Сильвия. Больше всего Ретика напоминала замерзший цветок. Я не знала, сколько ей было лет. Пятнадцать? Семнадцать? Тринадцать? В равной степени было вероятно и то, и другое, и третье.

— Да, моя госпожа, — ответила Ретика. В ее голосе не было почтительности, она повторяла заученную фразу с некоторой наглостью и издевкой, довольно, впрочем, хорошо скрытыми в ее тихом, спокойном голосе.

Я поднялась к себе. Вернее, я поднялась в комнату сестры, которая отныне принадлежала мне. Я хотела не занять ее место в государстве, я хотела спать на ее кровати, ощущать ее запах, быть окруженной ее вещами.

Я села за ее стол, достала листы чистой бумаги из ящика и взяла ручку, которой так часто касались пальцы сестры.

Некоторое время я сидела над белоснежными листами, рисовала закорючки, как на полях черновика, когда писала сочинения в школе. Это всегда помогало мне сосредоточиться. Сильвия принесла кофе и пряные печенье с гвоздикой.

— Спасибо, Сильвия, — сказала я. Я отдала ей распоряжения насчет завтрака и того, когда будить меня утром. Сильвия поклонилась и закрыла за собой дверь. Работу в императорском доме она представляла себе по фильмам и книгам, здесь давным-давно не обязательно было кланяться.

Как только Сильвия ушла, я закрыла дверь на ключ. Аэций еще ни разу сюда не приходил, а сегодня и вовсе не должен был явиться, но мне было намного спокойнее, когда дверь была заперта.

Я прислонилась спиной к двери, закрыла глаза. Нужно было сосредоточиться. Что я могла сказать моему народу? Мы все преданы позору и отданы на поругание нищим животным? Остается лишь принять унижительную подачку из их рук и стараться сохранить то, что у нас осталось.

Нет, я должна была говорить по-другому. Я должна была быть кем-то другим. Не опозоренной сестрой императрицы, вынужденной жить в четырех стенах. Я должна была быть императрицей.

Я подошла к туалетному столику сестры, взяла флакон ее любимых духов, открыла крышечку и вдохнула запах ванильной соли, розы, амбры и меда. Я нанесла духи на кончики пальцев и запястья.

Я должна была делать то, что делала и сестра. Внушить им что то, что они хотят услышать — правда. Нужно было лгать им, но лгать из любви. Принцепсы ценят достоинство и гордость превыше всего. Но даже в падении можно сохранить их, если само падение сделать испытанием для чести.

Я почувствовала прилив вдохновения, и ручка в моих руках ни на секунду не останавливалась. Я знала, что говорить им. Моя страна, мой народ, моя Империя нуждались не в оправдании своей слабости, а в новой цели, которая могла бы вернуть им гордость. Нужно было сказать им, как именно сохранить свою честь в момент, когда бесчестье кажется неизбежным.

И я знала, как. Я шла Путем, которым шло большинство принцепсов, и я знала, чего они ждут. Были и другие, но тех, кто шел Путем Зверя, ни в чем не нужно было убеждать. Они не имели принципов, но вместе с ними и слабостей, присущих гордости.

Я не заметила, как за окном начало просветляться небо.

Нужно было хоть ненадолго прилечь. Хотя меня колотило от волнения, и я не ожидала, что усну, как только я добралась до кровати и закрыла глаза, мир моментально почернел. Я проснулась еще до прихода Сильвии. Меня мутило от раннего пробуждения, а, может быть, кофе, выпитый ночью был лишним. Приняв душ и умывшись, я оделась самым официальным и скромным образом. Мне впервые предстояло говорить с Империей от лица императорской семьи. Я почувствовала радостное предвкушение и тут же устыдилась его, моей сестре пришлось умереть, чтобы я испытывала эти чувства. Сильвия постучалась, и я открыла ей. На завтрак было тяжело даже смотреть, но я заставила себя съесть пару тостов с маслом.

— Волнуетесь? — спросила Сильвия. И даже ее панибратство не смутило меня. Я кивнула.

— Все будет хорошо, — сказала она. — Я уверена, что вы справитесь.

Я вдруг испытала к ней благодарную теплоту. Эта девочка не держала на меня зла, хотя ее родители погибли на войне.

— Спасибо, Сильвия, — сказала я. — Мне очень пригодятся твои пожелания.

Она улыбнулась, и улыбка сделала ее лицо светлее и чище, она, наконец, стала похожа на молодую девушку, какой и должна была быть. Я чувствовала, что в комнате есть и Ретика. Я далеко не сразу научилась определять ее присутствие. Она вела себя очень тихо, но в то же время легкие дуновения воздуха, случайные шевеления штор, все это позволяло понять, что в комнате есть невидимый гость.

— Хорошо вам дня, девочки, — сказала я.

— Вы очень бледная. Вы не заболели? — спросила Сильвия. Я увидела, что один из апельсинов пропал с подноса, и это заставило меня засмеяться.

— Я просто несколько взволнована.

— Удачи вам, — сказала Сильвия, и Ретика повторила за ней, в кажущейся пустоте места, где она стояла, это прозвучало очень жутко.

Охрана уже ждала меня у выхода. Они вежливо поприветствовали меня, и я позволила им поцеловать мою руку. Их было четверо, но я никого не знала. Мне казалось, что один из них тоже из народа воровства. Варвары и воры были одинаково светловолосы и светлоглазы, и прежде я не отличала их, но теперь я запомнила некоторые нюансы.

Я ощутила радость от того, что покидаю дворец. И в то же время меня захватила печаль, потому что мне предстояло увидеть мой Город совсем иным, чем он был прежде.

Я шла в центре, и моя процессия, непривычно маленькая, двигалась по Палантину. Тут и там я видела пятна копоти на стенах домов и храмов, выбитые пулями окна, разбитую брусчатку — шрамы войны, оставленные на теле моего Города. Я попала в жуткое состояние между войной и миром. Люди уже сложили оружие, их раны лечили в больницах, а павшие были погребены, и теперь те, кто собрались на Палантине выглядели со всем возможным приличием, но Город все еще нес на себе отпечаток их дикости.

Я видела новые, незнакомые лица. Теперь здесь были те, кому прежде в Городе появляться было запрещено. Они пришли из своих далеких провинций, проделав долгий путь, и теперь вели себя так, словно здесь они дома.

Но собрались и представители моего народа, и независимые преторианцы, которые, казалось, быстрее сжились с новыми порядками. Аэций уже стоял за императорской рострой. Люди смотрели только на него, они готовились внимать.

На широкой мраморной ростре изображалось сошествие нашего бога в Вечный Город,

тогда еще Рим. Он уже принял свой прекрасный облик и собрал вокруг себя самых достойных и знатных из людей. Люди в богатых традиционных одеждах, наши прародители, стояли вокруг этого юноши в плаще. Его золотые волосы кольцами завивались у ушей, а рот был чуть приоткрыт в блаженной улыбке. Ему невозможно было противостоять.

Аэций был первым, кто взошел на роstrу, не будучи принцепсом. Я поднялась к нему, вежливо улыбнулась и протянула ему руку, преодолев отвращение. Он, вместо того, чтобы церемонно коснуться пальцев, как было принято, взял мою руку и сжал. Он не делал мне больно, но само его прикосновение вызывало у меня отвращение. Я снова почувствовала сладковато-лекарственный запах безумия, но теперь он распространялся по всей площади, словно она была заражена. Пахло бедой и смертью.

Я сохранила на лице улыбку и повернулась к гражданам Империи.

Я видела, что инстинктивно они разделились. Люди бездны стояли левее, со стороны Аэция, а принцепсы и преторианцы смотрели на меня. Они казались изможденными и усталыми от волнений и лишений войны, но не отказали себе в богатой одежде, словно пришли на праздник. Люди бездны же, наоборот, были радостны, улыбались, хотя большинство из них было одето слишком легко и холодно для этой погоды.

Я смотрела на мой народ. Я узнавала их среди преторианцев безошибочно, они и их чуть сторонились. Принцепсы были похожи на юношей и девушек из университета, собравшихся на концерт, однако же большинство из них были взрослыми, сложившимися людьми, которым придавали легкомысленность лишь молодость и красота, свойственная ей.

Я заметила господина Веспасиана в парадном кителе. Он был глубоким стариком, посвятившим всю жизнь Пути Человека, и его строгие нравы не позволили ему проигнорировать войну. Он воевал до самого конца, и ему лишь чудом удалось уцелеть. Он стоял прямой и скорбный, выглядящий не старше двадцати пяти, молодой и прекрасный юноша с глазами, видевшими мир уже сто девять лет.

Передо мной и Аэцием были установлены микрофоны, отовсюду смотрели камеры, жадно желавшие запечатлеть этот примечательный момент истории Империи.

— Граждане Империи! — провозгласил Аэций. Люди Бездны закричали, приветствуя его в экстазе, которого я прежде не видела. Я видела слезы радости в их глазах, видела покрасневшие щеки. Так девушки приветствуют горячо любимых, а не народы — правителей. Я не верила, что у этого спокойного, почти несуществующего человека с блуждающим взглядом может быть сила вызывать у людей состояние подобное этому.

Преторианцы смотрели на него с интересом, но безо всякого почтения. Мой же народ смотрел только на меня, и я смотрела на них, и мы вместе слушали Аэция. Я не подозревала, что в его голосе может скрываться такая сила. Он вдруг совершенно изменился, и его власть над народами в момент перестала казаться мне неестественной. В нем была уверенность, которой я прежде ни у кого не слышала, словно это у него было священное право вещать от имени народов. Люди все прибывали, словно его голос манил их, и вот Палантин уже был заполнен так, что стал напоминать разворошенный муравейник. Люди стояли друг к другу так тесно, что между ними не видно было разбитой брусчатки.

Аэций говорил:

— Я пришел в этот город как враг, но я останусь здесь, как правитель, которому важны все народы Империи. Когда я начал восстание, я пообещал себе не превращаться в тех, кто привел нас к этой кровавой драме. Я пообещал себе, что не буду разделять тех, кто эксплуатировал мой народ и другие народы Империи и тех, кто боролся за свою свободу. Мы

все — люди, и это важнейшая вещь, которую не понимали правители от древности и до наших дней. Я хочу это понять. И я хочу, чтобы вы тоже поняли, что хоть мы и пересотворены по-разному, хоть нас кроили разные боги, во всех лежит одинаковое ядро, делающее нас людьми. Мы стремимся к тому же, к чему и вы. Мы хотим жить счастливо и в безопасности. И мы устали лить кровь, мы больше ее не хотим.

Он сказал "мы больше ее не хотим", словно он был сыт. Посреди искреннего гуманизма его речи, это показалось жутковатым.

— Давайте не забывать о том, что было. Потому что забывший платит повторением, и только помня об истории, можно сберечь будущее. Но каждый человек в Империи должен учиться жить дальше, в новой стране, где все мы равны. Это тяжело, и мы будем испытывать трудности, но если мы не преодолеем их вместе, наша страна будет уничтожена. Я хочу, чтобы сегодня каждый из вас задумался о том, почему мир лучше войны. Я хочу, чтобы вы понимали, что только мир стоит того, чтобы воевать. Принцепсы и преторианцы вели скрытую войну против моего народа и других народов Империи, и мы остановили ее. Теперь в нашей стране может, наконец, наступить долгожданный мир. Я хочу объявить о том, что мои стремления не в том, чтобы сделать ирских народ новыми принцепсами. Мы все будем равны, все будем жить так, как велят нам законы наших богов. И пусть наши боги рассудят нас в конце всех времен.

Он замолчал, и люди еще секунду словно ловили его голос, который разнесся по площади, прекрасный и сильный. А потом они стали выкрикивать его имена. Аэций и Бертольд, оба имени, которые он носил, сливались в одно.

Аэций. Он сменил имя зная, что победит в войне и будет править. Когда голоса стихли, я знала, что пришло мое время говорить.

И, конечно, у меня бы никогда не получилось воздействовать на людей так, как мог Аэций. Я смотрела на мой народ со страхом и волнением, ведь я была единственной, кто мог говорить для них. Преторианцы смотрели на меня с большим уважением, но, по сути, им было не так важно говорить я или Аэций. Императоры, которых признавали преторианцы, должны были завоевать их доверие делом, а не кровью.

Речь была в кармане моего платья, и хотя я не собиралась читать с листа, наличие текста заставляло меня волноваться чуть меньше.

Я знала, как вести себя перед микрофоном и удержалась от вздоха, который разнесся бы на всю площадь. Я закрыла глаза, и все кануло во тьму, а потом открыла, и взгляды моих людей показались мне еще более отчаянными.

Я сказала:

— Мой любимый народ и мои прекрасные преторианцы. Мы воевали бок о бок и не покинем друг друга в горе, которое постигло нас. Война проиграна, и сильный с достоинством принимает условия победителя. Мы сделали все, что могли сделать. Мы сделали даже больше. Однажды колесо истории может повернуться иначе, но не сейчас. Давайте проявим смелость — смелость в том, чтобы посмотреть в глаза правде. Давайте проявим достоинство — достоинство с которым проигрывают сильные люди. И, мой народ, давайте проявим смирение — смирение перед тем, что уготовил для нас наш бог. Мы можем служить ему своим милосердием к сердцам наших павших, которые не хотели бы, чтобы Империя лишилась последних капель своей благородной крови. Мы можем служить ему достойным отношением к нашим победителям, показавшим себя достойными воинами и гуманными людьми. Мы можем служить ему гордостью, которую сохраним, если сбережем

наш народ. Моя сестра сберегла достоинство Империи и императорской семьи, а я хочу сберечь Империю, и если для этого нам с вами нужно признать иные народы, я сделаю это. Помогите мне сохранить нашу гордость и наше достоинство. Я уважаю ваши стремления, я уважаю ваше желание защитить свою землю, но куда важнее защита ваших семей и близких. Нам не угрожает опасность. Будем стойкими и будем сильными в эти тяжелые времена.

Я чувствовала себя коллаборационисткой, императрицей-предательницей, но мои слова воспринимались с большим пониманием, чем я боялась. Вместо аплодисментов и звериных взвизгов, мой народ и большая часть преторианцев вскинули руки в традиционном императорском приветствии. Я почувствовала себя окрыленной. Я вдруг поняла, что я могу дать им надежду.

Что я не могу вести войну, но я могу помочь им жить в мире. Могу сделать их жизнь хоть немного лучше. Я приложила руку к сердцу, с достоинством принимая их приветствия.

Они признали меня. Они хотели, чтобы я помогла им. И мне хотелось им помочь. Я чувствовала единение с толпой, и никогда прежде я не хотела быть такой сильной, как сейчас. Ради этих людей я должна была научиться — нет, не править, Аэций не уступит мне этого, но защищать их перед ним.

Я пребывала в странной, не свойственной мне эйфории из которой меня вывел взгляд одного из юношей. У него было надменное лицо с острыми скулами и изумительно дорогая одежда. Он смотрел прямо на меня, его взгляд был насмешливым и проникающим. Я не знаю, почему именно он так привлек меня. Может быть, потому что остальные принцепсы восприняли меня хорошо. Этот взгляд еще долго не выходил у меня из головы.

Так что я была почти рада, когда Аэций дернул меня за руку. Я и забыла, что он держал меня, пока говорила с моим народом.

— Народы Империи, я хочу провозгласить, что только вместе мы сможем жить дальше. И в подтверждение моих слов, я сочетался браком с императрицей Октавией.

Я верила, мой народ знает, что так надо, и я кивнула.

— Так и есть. Я и Аэций будем править рука об руку.

И в этот момент он поцеловал меня, и я задохнулась от отвращения и нахлынувшего страха, хотя, конечно, он не мог сделать мне больно у всех на глазах. Я не думала, что он поступит так. У нас, принцепсов, не принято было целовать на людях невесту и даже жену. Видимо, у варваров было обычным делом ласкать женщину на людях, и это было отвратительно и, кажется, шокировало мой народ больше, чем объявление о нашей свадьбе.

Карболово-кровавый запах, от него исходящий достиг своего крещендо. Я терпела прикосновения его губ и чувствовала здесь, посреди площади, полной людей, что он желает меня, и в этом было поразительное и варварское бесстыдство.

Когда он отстранился, мы посмотрели друг на друга, и я впервые выдержала его взгляд.

О, мой милый, я никогда не была смелой. Я всего боюсь, и то, что все-таки не вызывает у меня ужаса, вызывает волнение. Ты бы никогда не пожелал меня, если бы знал ее. Поверь мне, не было никого на свете прекраснее нее, когда она бросала вызов самому мирозданию.

В этом она была на тебя похожа. В тебе нет ее безрассудной смелости, ты многого не понимаешь. Она понимала все, но никогда не отступала.

Послушай, в тот день я смотрела на нее, взлетающую вверх над тем, что казалось мне пропастью. Кто-то из девочек, еще до нас, умудрился забраться на самую вершину огромного дуба, росшего на краю оврага, и закрепить на нем тарзанку. Веревка была старая, хоть и крепкая, так что почти никто из девочек не решался летать на этой ненадежной конструкции.

Овраг был глубокий, усыпанный листьями, осень была в самом разгаре, красные и золотые волны от ветра расходились внизу, готовые поглотить сестру.

Она гибко, картинно отклонялась назад, наверное, представляла себя гимнасткой. Ее ноги тесно, со страстью обхватывали тарзанку, а волосы хлестали ее по спине, когда сестра замирала в самой высокой точке.

Школьная юбка соскальзывала по ее бедрам, и мне открывалась молочно-белая кожа.

Сестра не смеялась, не кричала, как другие смелые девочки, залезавшие сюда. Она была сосредоточена и прекрасна, иногда облизывала пухлые губы, запрокидывая голову, и я знала, что сестра делает так для того, кто увидит ее.

Мне казалось, что она неизмеримо высоко, что она сорвется вниз, и мое сердце билось так, будто это я летела над пропастью. Внизу булыжники, как редкие зубы, торчали из-под листьев, и если бы она сорвалась, наверняка погибла бы.

Мы обе это знали, что именно поэтому сестре и понравилась эта тарзанка, которую учителя не держали под строжайшим запретом только потому, что сестра ее прятала, заводила за толстые сучья дуба, укрывала ветками.

Нам было четырнадцать, и это было много. Я чувствовала себя почти старой, я, по моему мнению, уже жила так долго, что знала все на свете. Никого не было надменнее меня в четырнадцать. Сестра тоже скучала. Мы перепробовали все, что можно, и сестра с интересом смотрела на все, чего нельзя.

Ее прекрасное лицо изменилось, в нем осталась кукольность, но теперь появилось в этих чертах и нечто по-женски хищное, кошачье. Я с наслаждением наблюдала, как она меняется. Что касается меня, я старалась не заглядывать в зеркало. Во мне все еще не было ничего особенного и, я знала, не появится. Я даже испытывала завистливую радость от того, что у меня быстрее, чем у сестры, начала расти грудь. Мне, как и всем подросткам, хотелось чего-то своего.

Я тонула в чувствах, которые была не в силах описать.

Сестра замедлялась, и теперь я могла отлично рассмотреть ее лицо. Сестра явно получала удовольствие, но оно было расслабленным, ленивым. В лице ее одновременно оставалась детская непосредственность, и появлялась какая-то женская, тянущая тоска, придававшая ей красоты совсем другого оттенка.

Я листала книжку, но не могла в полной мере увлечься индустриальной эпохой, слова



плясали перед глазами от волнения. Я была библиотечным червем, единственным, что занимало меня, кроме сестры были книжки. Я боялась сближаться с людьми, и мне хотелось умереть в одиночестве, но в то же время я постоянно мечтала о том, как случайно окажусь в центре внимания. Иногда я думала, а если кого-нибудь убить, как это будет? А если убить себя — как будет это? У меня не было настоящего интереса к Пути Зверя, но порой я чувствовала, как темная часть моего бога поднимает во мне голову, и это неизменно было больно и страшно. Это и сейчас неприятно, дорогой. Ты этого не поймешь, ведь твой бог не разделяет тебя на хорошую и плохую части. Впрочем, истинная мудрость нашего бога заключается в том, что внутри всего плохого есть нечто хорошее, а внутри всего хорошего есть нечто плохое.

Все в мире двойственно, и мы ничего не можем с этим поделать, а истинная чистота в борьбе с этой двойственностью, а вовсе не в пребывании в единообразии.

Сестра остановилась, затормозив ногой и вспахав землю сапогом, ее юбка взлетела вверх. Школьную форму, темно-синюю, и в то же время удивительно маркую, она носила с невероятным изяществом, которому завидовали наши одноклассницы.

Сестра глубоко вдохнула прохладный и сладкий от умирающих листьев осенний воздух, затем обняла меня. Ее пальцы с ногтями, покрытыми аккуратным золотистым лаком прошли по моей щеке.

— Ты пропустила обед, — сказала я. — Я принесла тебе салат, фрукты и лепешку с сыром.

— Сегодня я не ем, — сказала сестра. — От голода чувствуешь себя такой легкой!

Иногда она проверяла себя на прочность. Могла отказаться есть, пить или спать, и смотрела, сколько выдержит. Я никогда не знала собственных границ, не знаю и до сих пор, сестра же хотела выяснить, на что способно ее тело, уже в четырнадцать.

С другой стороны, она никогда не ограничивала себя в удовольствиях, тогда как я часто отказывалась от вкусной еды, музыки или отдыха. В четырнадцать я считала, что должна быть строга к себе, и это искупит мое любопытство к смерти или злорадство от чьей-то боли, в том числе и от боли самых близких моих людей.

В четырнадцать мы все только учимся быть людьми, бояться и быть бесстрашными, злиться и прощать, контролировать и позволять. И редко кто в этом возрасте добивается больших успехов.

Я уже привыкла к тому, что делала с собой сестра, поэтому сказала:

— Я все равно положила все в твою сумку.

— Спасибо, моя милая.

Я скучала по ней. В восьмом классе у нас были разные уроки. Я предпочитала историю, сестра же ходила на теологию, мне нравились латинский язык и литература, сестре же легко давалась химия. Несмотря на то, что наше расписание было индивидуальным и крайне насыщенным, мы все равно много общались, жили в комнате вдвоем, и все же мне отчетливо ее не хватало. Пару лет назад родители часто забирали сестру домой на пару дней, одну. Она сидела с ними на приемах, смотрела на послов и дипломатов, присутствовала на государственных праздниках, я же оставалась в школе. Сестра быстро положила этому конец, с тех пор на публике мы всегда появлялись вместе.

Так что я даже ждала, когда родители снова заберут нас из Равенны, хотя учиться мне нравилось.

Сестра села на разложенный мной плед, вытянула ноги в лакированных кожаных

сапогах, и я увидела крошечный, похожий на цветок, синяк у нее над коленкой. Сестра сказала:

— Я достала их, Воображала.

— Если ты о наркотиках, Жадина, то я не буду их пробовать. И тебе не советую.

Она засмеялась, и голос ее взметнулся вверх вместе с парочкой птиц, до того уютно дремавших на ветке.

— Я достала книги.

Она взяла свою сумку, положила мне на колени, и я поняла, отчего сумка ее показалась мне непривычно тяжелой, когда я укладывала туда еду. Там и вправду было больше книг, чем обычно.

— Доставай, — сказала она. И я начала одну за одной раскладывать книги на пледе. Сверху сорвался дубовый листок и, покружив, опустился мне на макушку. Я смахнула его и с удивлением уставилась на разложенные перед нами книги. Это были писания других народов Империи. Если историю нашего бога и бога преторианцев можно было узнать, купив книги в любом книжном магазине практически любого города, то с ведьмами и ворами, а тем более варварами дела обстояли намного хуже. У варваров, говорили, и вовсе не было собственного писания, словно их бог никогда не замолкал.

А ведь на земле были сотни других народов. Прежде Империя была еще больше, теперь же ее утраченный Восток усеяли небольшие царства, в которых могли проживать всего один-два народа. Мир был огромен, он не ограничивался Империей, но тексты заморских богов достать было трудно.

Сестра сказала:

— Я хочу знать, что у них у всех общего.

— У богов?

— Точно. Ты понимаешь, они не существа в полном смысле этого слова. Но они наверняка родственны друг к другу.

Сестра достала из кармана пиджака жвачку, разжевала две пластинки, и я почувствовала исходящий от нее аромат сладкой мяты.

— Что мы, в сущности, знаем о богах? — спросила сестра. Она достала из сумки пачку сигарет, неторопливо подкурила и улеглась на спину.

— Листай, — сказала она. — Там все выделено.

Осенний парк показался мне вдруг очень неуютным, словно дышать стало тяжелее, а пространство сужалось таким образом, что я не могла увидеть и оценить этого, но ощущала предельно ясно.

Что-то недоброе, бесконечно дурное было в ее словах, и в то же время такое своевольное, что ее лицо и голос казались мне еще более прекрасными. Сестра глубоко затаилась и выпустила дым. Ее тронутые розовым блеском губы снова коснулись сигареты.

Книги нашего бога не было. Мы слишком хорошо ее знали. Я взяла преторианское писание. Обложка была черная, издание явно коллекционное. Между ветвистых рогов оленьей головы была тисненая надпись "Книга Охотящихся".

Я знала о преторианцах кое-что. Примерно половина моих одноклассников принадлежали преторианскому богу, и я понимала, что их обычаи отличаются от наших. Преторианцы ценили силу и страсть, не задумывались об этике и стремились уподобиться псам своего бога. Их дар, отдельная часть души, обжигающее оружие, давался им с самого детства, оттого новости всегда пестрили несчастными случаями, в которых преторианские

дети калечили себя и других.

Я знала, что у них есть Дни Охоты и Дни Милости. Знала, что они называют своего бога Хозяином, и что они удивительно верны. Они воспевали животных и птиц, однако это не имело ничего общего с Путем Зверя.

Путь Зверя проповедовал не животные страсти и непосредственность, а сущность нашего бога настолько непостижимую, что ее лишь приблизительно можно было уместить в слове "зверь", таком же ограниченном, как и все слова человеческого языка.

Преторианцы же считали, что нужно быть как можно ближе к природе и ко всему естественному. Они поклонялись охоте и войне, но в кровавых развлечениях искали не воплощения садомазохистских фантазий, а утоления энергии и аппетита. Преторианцы доверяли своим страстям, но ценили свою честь. Они говорили, что именно их бог создал когда-то землю еще прежде, чем старые боги уснули. Словом, я кое-что о них понимала, даже видела их праздники, во время которых преторианцы загоняли оленей, а потом рвали их голыми руками и ели сырое мясо.

Даже дети участвовали в этих Праздниках Плоты во время Дней Охоты.

На протяжении всей истории наш народ находился с преторианцами бок о бок, и я могла представить себе их образ жизни и традиции. Однако я никогда не читала их священных книг. Мне это казалось ненужным, а может даже оскорбительным. Я думала, что стоит мне попросить в библиотеке или в магазине их писание, и на меня посмотрят как на любопытную прониру, лезущую в чужие дела.

Сейчас меня охватило любопытство. Я раскрыла книгу, поднесла ее к лицу и вдохнула горьковатый, нежный аромат типографской краски. Книга начиналась со слов:

"Ты, Андроник, вкусил войны и вкусил мира, теперь же вкуси эту плоть, и я излечу тех, кто дорог тебе. Я сотворю тебя заново, сотворю тебя заново и сотворю тебя зверем, не знающим жалости, а ты помни обо мне, потому как я проснулся от криков твоих умирающих."

Андроник был патриархом преторианцев, его имя сразу всплыло у меня в голове. Слог тоже не вызвал никаких вопросов, все писания творились примерно в одно время, в переполненное смертью и пафосом время великой болезни. Разные люди в одну эпоху пишут схожим образом, пусть и не идентично.

Удивило меня другое. Книга преторианцев была написана будто бы от лица бога. Наша книга передавала повеления бога, которые наши патриархи передали нам. Преторианцы же словно говорили со своим богом напрямую.

Я листала страницы, пока не наткнулась на фразу, подчеркнутую блестящей розовой ручкой сестры. Чернила пахли клубникой, и нежная девичья линия выделяла слова:

"Я присутствовал там, где никогда не присутствовали вы, ваше добро и зло, и природа, и мир чужды мне. Я слижу языком ваши океаны, потому что я истинно огромен, и только часть меня вышла из пустоты".

Звучало жутко. Я сразу представила нечто непередаваемо гигантское, такое, что его нельзя осмыслить, как бесконечно большие числа.

Книга народа ведьмовства была в мягкой обложке и напечатана на плохой бумаге. Она ничем не была украшена, никаких картинок, даже названия на обложке не было. У ведьм, воров и варваров, как ты знаешь, свои языки, и я боялась, что текст окажется на ведьмовском. Но под неказистой обложкой на первой странице оказалось латинское название "Книга Изгоев".

— Ее колесница, — прочитала я вслух. — Каждую ночь поднимается над небом, и она взирает на творимые вами беззакония. Она, мать всех женщин и величайший творец, ждет славословий брошенным и забытым, и хулы забывшим, тем, кто вознесся и не сохранил милосердия. Славьте ее проклятьями, госпожу всей магии и женских кровавых тайн, госпожу родоразрешения и судьбы.

— Да, — сказала сестра. — Они там все политических корректные феминистки.

Я с жадностью водила пальцем по тексту, я прежде ничего не знала о ведьмах, кроме того, что царапина от их когтей может нести кару, и что среди них нет мужчин. Ведьмы жили в совершенно другом мире, чем я, и мне было странно читать об их богине, но она мне нравилась.

Она воплощала все то, что привык игнорировать в женщинах наш народ — тайную силу и стремление к опасной справедливости, которую в полной мере могла помыслить лишь женщина.

Справедливость ведьм, мой родной, и ты это знаешь, не подобна той, что проповедуешь ты, мужчина. Она кровава и опасна, она воплощает один из базовых человеческих страхов, представление о том, что все в этой жизни возвращается.

И каждый будет наказан за то, что совершил.

Я читала о том, что их богиня — наказывающая и утешающая мать, и меня брала жуть. Нет ничего страшнее матери, если смотреть с определенной точки зрения. Мать всевластна и абсолютна, она — целый мир. Оттого богиня ведьм так впечатлила меня.

Много лет спустя, когда я носила под сердцем твоего ребенка, и Дигна сказала мне об этом, между делом, словно у меня не было тайн, я вспомнила о ее страшной богине.

Я листала книгу, пока не наткнулась на пахнущую мятой зеленую, блестящую линию под словами "Царица Луна пребывала в темной тишине за краем неба, в вечной безлунной ночи смотрела сны".

Я взяла третью книгу. Она была прекрасна. Я даже не поверила, что это книга людей бездны. Алая кожа с золотым тиснением, где тонкий, похожий на гравюру узор сначала казался бессмысленно-красивым, а затем сходил в очертаниях удивительного луга, где сплетались цветы и насекомые. Книга была похожа на сборники сказок, напечатанные в прошлом веке. Орнамент из листьев и ягод по бокам кончался вензелями.

— Где ты все это достала?

— Вообще-то заплатила девочке из университета, и она принесла их мне. Так что я должна вернуть их к среде. Ничего особенно опасного. Кроме отметок ручкой, которые я сделала, подставив ее перед гримзой, которая там всем заправляет.

Сестра затушила сигарету, потом улыбнулась.

— Но это только начало.

Писание воров называлось "Книга красоты". Такое простое название на такой чудесной вещице, почти являющейся искусством. Я представляла себя читающей эту чудесную книгу за чашкой чая в саду. Даже ее вид вселял вдохновение.

На первой странице за красной строкой была тщательно выведенная заглавная буква, как в старых книгах. Я с жадностью прочитала: "Знали о ней только то, что забыли ее. Сладость сердца и крови нашей пробовала при рождении нашем. Любили ее, когда воспрянула в мире, и дары наши принимала со страстью."

У меня было ощущение, словно я подглядываю за кем-то, словно смотрю на то, чего видеть ни в коем случае не должна. Чужие народы говорили о самом личном для них в этих

строках, о сути их жизней, о величии их богов, а я была просто любопытной девочкой, никак не причастной к адресатам этих строк.

У меня был свой бог, и ему я была предана безраздельно, чужие же вызывали у меня жадный, но в то же время отстраненный интерес.

В самом конце обнаружилась подчеркнутая чернилами с синими блестками и черничным запахом фраза: "Пребывает за воротами, извивается и просит еды, наделенная красотой королева пчел. Бьется о твердь, когда голод становится нестерпимым, разделена на золотые ячейки и тесна внутри. Служили ей, чтобы любила нас, потому что любовь ее слаще меда, ибо она держит ее за порогом."

Меня передернуло, я испытала инстинктивное отвращение. Хотя прежде я слышала, что воры поклоняются богине красоты, нечто извивающееся, испещренное ячейками и бьющееся о ворота не вызывало у меня ассоциаций с красивым существом, но в то же время ее красота славилась в тексте, и этот контраст казался мне ужасающим.

Я взяла последнюю книгу. В отличие от всех предыдущих, она имела автора и, судя по предисловию, являлась этнографической работой. Книга называлась "Верования ослепленного народа: варвары и их бог".

В ней было несколько глав, посвященных традициям и устоям варваров. Первая касалась истории их бога.

"Варвары, если все-таки дают определение своему богу, называют его Поврежденным. Представляется, что это существо, состоящее из множества других существ, однако выяснить природу его частей не представляется возможным. Разум варварского бога, скорее всего, функционирует наподобие совмещенного разума ульев и муравейников. Варварские рассказы неясны и трудны для изучения, потому как обнаруживают в себе поражения мышления. Пример: червивая сотня проела глаза на небе. Подробные расшифровки записей приведены в конце книги."

Я принялась искать слова, подчеркнутые ручкой, и нашла их. Желтая, пахнущая лимоном полоса была фундаментом для строк "Варвары говорят, что их бог — обратная сторона неба. Он подсматривает за миром сквозь звезды, но глаза его закрыты большую часть истории."

Когда я отложила книгу, сестра спросила:

— Ты ведь поняла, почему я выделила эти цитаты? Можешь сказать похожую у нас?

И я легко процитировала по памяти:

— Он пребывает в инобытии по отношению ко всему, потому что все пустоты нашего мира не в силах вместить треть его истинной сущности.

— Да, — сказала сестра. Она подтянула к себе книги с осторожностью, которой не ожидаешь от человека, чиркающего в библиотечной собственности ручкой. Сестра достала из сумки тетрадку с бабочками, раскрыла ее, и я увидела записи, сделанные разными ручками, снабженные нарисованными в задумчивости сердцами, цветами и насекомыми.

Страницу короновала фраза "Дом богов".

— Трансрасовая теология? — спросила я. — Ты этим хочешь заниматься?

В принципе, в теологическом университете даже был такой факультет, о богах говорили свободно, и в то же время некоторые тайны хранили. Оттого трансрасовая теология с одной стороны перемалывала очевидное, а с другой — в ней были зоны умолчания, которые, собственно, и должны были являться центральными для сколь-нибудь настоящей науки.

Но что-то в записях сестры снова показалось мне опасным.

— Может быть, — сказала она, а потом принялась выписывать фразы из книг, одну за одной. Она меняла блестящие ручки с девичьим восторгом перед ними, и проходящий мимо мог бы подумать, что сестра ведет дневничок, посвященный мальчишкам и платьям.

Я смотрела на нее с волнением и чувствовала себя так, словно сестра болела. Одна эта мысль, невозможная и этим жуткая, заставила мое сердце скакать так громко, что за ним ничего было не слышать.

— Чего ты хочешь, Жадина?

— Я хочу, — она засмеялась. — Я хочу узнать, откуда пришли боги, и зачем мы им нужны.

И я подумала: она утонет, как Тит, ведь это запретное знание. Запретно даже думать об этом. Она потеряет свою жизнь. Мысль была по-детски глупая и такая же убедительная в тот страшный момент. Я подалась к сестре и обняла ее нежно и крепко.

— Зачем тебе это знать, моя милая?

— Затем, Воображала, что никто этого не знает. Если буду знать я, у меня будет весь мир!

Она мечтательно посмотрела вверх, в осеннее небо, где, по твоим представлениям, мой милый, живет ваш бог. И тогда я поняла, насколько она на самом деле Жадина. Сестра обладала ненасытностью нашего бога — она хотела поглотить весь мир.

У меня и мысли не было о том, что сестра откажется от своего опасного предприятия. Нет, наоборот, я знала, что она не успокоится, пока не узнает всего, что сможет.

— Не будь трусишкой, Воображала. Я тебя не забуду, когда узнаю все.

— Только не говори мне ничего, хорошо?

Сестра поцеловала меня в макушку.

— Хорошо, милая моя. Я ничего тебе не скажу о том, что узнаю.

Она ласково погладила меня по волосам. Я заботилась о ней чаще, чем она обо мне, но все же это я была для нее маленькой девочкой, младшей сестричкой, и нежность у нее была соответствующая.

Я спросила:

— А что ты уже выяснила?

— Что, не выдержала, Воображала?

Мы легли рядом, плед колот полоску открытой кожи между моей блузкой и юбкой. Сестра протянула руку к небу, и я сделала то же самое. Мы сплели пальцы, и я видела, как осеннее солнце проникает между ними.

Сестра сказала:

— Они пришли из пустоты. Я даже не думаю, что это космос, потому что и он не совсем пуст. Может быть, они из самого ничего, из нуля, который был до...

— До всего? — спросила я со страхом перед чем-то настолько огромным.

— Наверное. Но это не такой уж гениальный вывод, что они живут в пустоте. Мне интересно вот что: как они проникают в наш мир? Видят ли меня, например, сейчас?

И я теснее прижалась к ней, чтобы ощутить тепло ее тела и ванильно-медовый запах ее духов, слишком женский и удивительно ей идущий одновременно.

Ее золотые кудри вдруг напомнили мне волосы нашего бога, и я подумала: а что если она — его воплощение?

Мысль была страшная и богохульная, но в то же время неудержимо прекрасная. Я не устыдилась ее. А сестра сказала:

— Это облако похоже на машину, правда?

А я сказала, что не могу рассмотреть. И мы лежали так еще долго, даже опоздали на урок. Мой милый, клянусь, не было ничего прекраснее, чем хрупкость мироздания, которая вдруг открылась мне.

Еще через месяц все стало очевидно. Нет, на самом-то деле я, казалось, знала с самого начала, но прятала это знание так глубоко, что умудрялась совершенно о нем забывать. Я слишком долго надеялась, что мне только кажется и что в моем организме просто произошел сбой. Даже тошноту по утрам я умудрялась списывать на общее недомогание из-за нервных потрясений.

Но на самом-то деле я все знала еще до того, как мне сказала Дигна. С тех пор, как Дигна озвучила мои страхи, мысль о беременности не покидала меня, однако я не решалась вызвать врача. И даже через месяц, когда подтверждение уже было излишним, я не могла преодолеть стыд. Я не хотела, чтобы кто-нибудь видел меня в таком положении, не хотела, чтобы они обсуждали, что Аэций сделал со мной, не хотела, чтобы кто-нибудь знал, что во мне его варварская отметина.

Одна мысль о том, что я буду стоять, скажем, за рострой, и народ будет видеть мое унижение вселяла в меня отвращение.

И в то же время я знала, что не могу ничего сделать с этим из чувства долга. Была вероятность, хоть и небольшая, что избавившись от ребенка, я не сумею понести снова. Никого не осталось, чтобы произвести наследника за меня. Моим долгом было продолжение династии, и я не могла рисковать всей Империей, отказываясь родить этого ребенка.

Кроме того, Аэций оставался императором и моим мужем, и я надеялась, что если я подарю ему этого ребенка, он никогда больше не прикаснется ко мне, а моя обязанность перед народом будет выполнена.

Словом, были у моего состояния и свои, сугубо практические, положительные стороны. Утром я села за стол и разделила лист бумаги на две колонки, выписала плюсы и минусы рождения ребенка. Плюсы были, так или иначе, связаны с благом государства и моей семьи, минусы же касались отвращения, которое я испытывала к Аэцию. Я злилась на него еще сильнее. С самого детства я мечтала о ребенке, но то, что его отцом был этот человек испачкало, испортило мою мечту.

Я не ощущала радости и вдохновения, которое всегда мечтала почувствовать. Был только страх, что ребенок будет похож на него и, тем более, унаследует его бога.

**Больше книг на сайте - [Knigolub.net](http://Knigolub.net)**

Иногда в нашей династии совершались браки с преторианцами, но первенцы всегда рождались принцепсами, и я была почти уверена в том, что мой ребенок унаследует моего бога, ведь так было всегда, и все-таки я испытывала страх перед словами Дигны. Она не проклинала меня, но я не могла выкинуть из головы ее напутствие.

Что будет, если мой перевенец будет принадлежать народу его отца? Разрушит ли это завет моей крови с богом?

И на эти вопросы ответа у меня не было, как и на многие другие. Жизнь слишком изменилась, вышла за горизонт опыта бесчисленных поколений моей семьи, и я находилась в точке, где прецедентное право становилось невозможным.

Но я хотела поступать согласно своей совести и Пути Человека, оттого я выбрала долг. Кроме того, часть меня желала появления этого ребенка на свет. Часть меня, которой было плевать на Аэция и честь, ждала рождения ребенка из любопытства. Мне было интересно,



каким он будет и смогу ли я полюбить его. Любопытство это обладало той же природой, что и мысли о том, как это — убивать или каков на вкус яд, и этот источник пугал меня.

Перемены в моем теле были с одной стороны захватывающими — внутри меня творилось величайшее чудо сотворения жизни из моей крови и плоти, с другой стороны я ощущала их, как нечто неестественное. Семя Аэция не должно было восходить во мне, и мое тело не должно было покоряться ему, словно он мне ровня.

В то же время мое физическое состояние было вполне сносным. Тошнота по утрам, чувствительность и тяжесть груди, стали привычными, а больше никаких симптомов пока не было.

Несмотря на хорошее самочувствие, я думала о своей беременности, как о болезни и ощущала Аэция ее источником.

В мире существовало множество народов, но все они были объединены страхом перед самым образом болезни, эпидемии.

Инстинктивный ужас, который испытывал каждый из нас при мысли о болезни равнялся по силе детскому страху перед темнотой. Мучения и смерть, которые видели наши далекие предки, до сих пор вселяли в нас ужас.

И я была поглощена ощущением зараженного Города, которое пришло вместе с Аэцием. Оно было ужасным, и в то же время влекущим. Упадок затягивал, отвращение мешалось с прекраснейшим духом свободы, который вдруг наводнил Город. Никогда прежде я не слышала, чтобы в Городе так много пели. Никогда прежде богатство не значило так мало. Нищие люди, живущие в бараках и ждущие отстройки бетонных коробок, не достойных называться домами, были счастливы здесь. Город стал совсем иным — громким, нагло заявляющим о себе и своем новом качестве. Сладкий, больничный аромат, сопровождавший Аэция, теперь наполнял весь город.

Аромат этот чудился мне, я была уверена. Прежде я слышала его только в больнице, где дезинфицировали операционные. Хирургические вмешательства оставались единственными, хотя и маловероятными, источниками гнилостной мерзости в теле, оттого в больницах всегда царила идеальная, параноидальная чистота. Гной был последним оплотом осквернения тела, призраком всех забытых болезней сразу. Автомобильные аварии, падения с высоты, попытки самоубийства — все это обнажало плоть, делало тело открытым и беззащитным. Эту хрупкость стремились защитить с помощью дезинфектантов, которые были необходимы не столько телу, сколько разуму, одержимому ужасом перед концом времен и дальней эпидемией.

Люди бездны хлынули в мой раненный город, словно инфекция, и карболовая сладость всюду напоминала мне о грязи, болезни и беззащитности.

А я мечтала сохранить былое величие своего народа. Я научилась просить, не за себя, но за других людей. Я спасала их имущество, а иногда и жизни, раздавая за них обещания служить Аэцию.

Я выполняла неблагодарную работу коллаборационистки, но кто-то должен был делать и ее. Я умоляла, приводила аргументы, лгала, утаивала правду. Я всеми силами старалась сберечь то, что осталось у моего народа, и у меня получалось. Я встречалась с людьми, которые нуждались в моей помощи, и мы вместе решали, как убедить Аэция сохранить их власть и влияние в лучшем случае.

В худшем случае вопрос состоял в том, как сохранять им жизни и право пребывания в Империи.

Сегодня мне предстояло поехать в Делминион, и я ощутила, что время пришло. Мне нужно было сказать ему о том, что я ношу под сердцем его ребенка. Я надеялась вызвать у него радость, хотя все еще не была уверена в том, что он способен ее испытывать.

А потом я хотела просить его о месяце отдыха в Делминионе, я была почти уверена в том, что получу то, что желаю.

Я вышла к завтраку, сохраняя подчеркнuto безразличный вид. Я научилась не показывать своей ненависти.

— Доброе утро, Аэций, — сказала я.

— Доброе утро, Октавия.

Он завтракал по варварским обычаям плотно. Перед ним был кусок мяса, на мой взгляд недожаренный. Я велела Сильвии подать для меня тосты с медом.

Дом изменился. Всюду открылись глаза камер, даже не пытавшиеся укрыться. Аэций мог казаться параноиком, он внимательно следил за всем, что происходит, был буквально помешан на информации. Лучшим отдыхом для него был просмотр записей с камер наблюдения.

Некоторое время я думала, что он, наверняка, уверен в том, что коварные принцепсы мечтают отравить его или подослать к нему преторианского убийцу. Но потом я поняла, что дело было не только в этом. Аэций искал что-то еще.

Я заметила, что всякий раз, когда он входит в комнату, Аэций внимательно осматривает все вокруг, словно заново запоминает, как стоят предметы, как расположена мебель, куда выходят окна. Аэций будто играл в какую-то игру, в которой ему нужно найти пять отличий или, может быть, как можно более точно воспроизвести в голове окружающую среду.

Я не понимала, занимает его это или волнует. Его взгляд всегда внимательно скользил по вещам, и это было даже к лучшему. Потому что когда Аэций смотрел прямо на меня, мне казалось, что он препарирует меня с тем же равнодушием, с которым запоминал обстановку комнаты, даже если бывал в ней уже сотню раз.

Вот в чем состояла одна из пугающих черт Аэция — он словно всюду и всегда бывал в первый раз. Еще в университете я читала эссе, посвященное сущности искусства. Автоматизация, говорилось там, затирает мышление, а искусство помогает нам обострить восприятие и увидеть привычные и не вызывающие у нас удивления вещи совсем иным взглядом.

Аэций словно никогда не впадал в это столь обычное и естественное состояние мышления. Он всегда и все ощущал остро и по-новому, словно его память стирала все свидетельства о мире до наличной секунды. Он постоянно был оглушен этим вечным потоком впечатлений.

И сейчас, когда я вошла, он с тем же неузнаванием смотрел на тяжелые занавески, которые не изменялись с самого его прихода сюда.

— Нам нужно поговорить, — сказала я. — После завтрака. Я велю подать чай. Ты спешишь?

— Строго говоря, спешу. Но я могу уделить тебе время.

Мы завтракали в полном молчании. Нам все еще нечего было друг другу сказать, когда мы не обсуждали судьбу нашей, теперь уже общей, страны.

Когда подали чай, я вдохнула его слабый мятно-медовый аромат, который успокоил мою тошноту.

— Я ношу ребенка, — сказала я. Все получилось очень быстро, я даже не успела

испытать стыд.

— Я знаю, — ответил он. — Я замечаю больше, чем ты думаешь.

На самом деле я была уверена в том, что он замечает почти все, но жизнь, развивающаяся во мне казалась мне слишком личной и тайной.

— Кроме того, — сказал он. — Мне говорила Дигна. Я все думал, когда ты скажешь мне. Надеялся, что это будет прежде, чем сын или дочь появится на свет.

Неожиданно для себя я спросила:

— Это твой первый ребенок?

Он кивнул. Я долгое время молчала, не понимая, зачем задала этот дурацкий вопрос. Ответ ничего не значил, какая разница, были ли у него дети прежде. Этот ребенок всего лишь политическое обязательство, которое я должна была выполнить. Неважно, от кого он. И неважно, кто и что чувствует по этому поводу.

Я принялась рассматривать кольцо сестры на пальце. Бензиновый блеск опала заворожил меня. Прежде, когда это кольцо носила сестра, я могла смотреть на него часами.

— Ты хотела о чем-то спросить, — сказал Аэций. Тон его был скорее утвердительный, чем вопросительный. Я взглянула на него и заметила, что его глаза кажутся еще более воспаленными. В последнее время он ожесточенно спорил с Сенатом по поводу квот на обучение в университетах, медицинского обеспечения, минимальной заработной платы. Из-за прихода людей бездны все трещало по швам, отлаженная система не была в состоянии обеспечить уровень жизни принцепсов и преторианцев всем.

И в то же время приток людей позволил начать глобальные проекты. Строился третий аэропорт в столице, расширялся Город, страна залечивала раны войны и промышленность находилась на подъеме. Аэций балансировал между пропастью, в которую могла скатиться Империя и взлетом, который она могла совершить. И, надо признаться, отстройка и шлифовка систем выходила у него хорошо. Империя перестраивалась, она была жизнеспособной, и источники всякой нестабильности в руках Аэция превращались в прибыль. У него был талант, и я не могла не признать этого, но не могла и не раздражаться.

— Я хотела сказать, — ответила я. — Я собираюсь поехать в Делминион на месяц. Это полезно для меня и ребенка.

Я едва не добавила что-то вроде "полезно не видеть тебя", но удержалась. Мне нужно было уехать, встретиться с человеком, который хотел свидания со мной. Он сказал, что срочен скорее разговор, чем дело, и я планировала быть Делминионе уже сегодня ночью.

Аэций смотрел на меня, его бесцветный взгляд препарировал мое тело и мои слова. Наконец, он сказал:

— Ты хочешь отдохнуть у моря, вот и все?

Он спросил таким тоном, словно все уже знал, словно у меня не было от него никаких секретов, ведь даже тайны, скрытые в моем теле были видны ему.

— Вот и все, — сказала я. Я робела перед ним, перед его психотическим вниманием к каждой мелочи и сопутствующим этому вниманию спокойным молчанием. Он казался мне могущественным, потому что я не знала, что именно он знает. Может быть, это была иллюзия.

— Возьми с собой Ретику и Кассия.

— Что?

— Ты возьмешь с собой Ретику и Кассия, — повторил он, словно всерьез думал, что я его не расслышала. — Ты носишь ребенка, поэтому я хочу, чтобы они носили твой багаж и

помогали тебе во всем. Кассий, кроме того, преторианец.

Я сомневалась в том, что кто-нибудь нападет на меня. Даже варвары не настолько безумны, чтобы разрушать все, что построил Аэций моей смертью. В императорской семье не было принято ждать опасности извне, в основном мы воевали с собственными родственниками, и защиту от них чаще всего обеспечивали преторианцы.

— Ему шестнадцать.

— И ей шестнадцать. Считай, что они твои маленькие помощники.

— Мне не нужна личная прислуга в отеле.

— Кроме того им будет полезно отдохнуть у моря, — продолжал Аэций. И я поняла, что его занимает не только идея слезки за мной, но и возможность отправить своих маленьких друзей на курорт. Ему доставляла удовольствие забота о них, и это казалось мне смешным и мелочным, словно он завел себе домашних зверьков.

Но я уже понимала, что на самом деле в этом его качестве, в предельном желании сделать чужие жизни лучше, нет ничего плохого. И ничего смешного — оно явно имело визионерскую, безумную основу.

Я встала из-за стола, и он тут же встал следом.

— Я могу идти? Мне нужно забронировать номер в отеле и взять билет на самолет.

Он в пару от шагов оказался совсем близко от меня. Я хотела сделать шаг назад, но Аэций взял меня за локоть, привлек к себе. Я задрожала всем телом, почувствовала, что глаза жгут злые слезы.

— Что ты делаешь? — спросила я. — Я беременна от тебя, чего ты еще хочешь? Ты думаешь, что я тебе лгу?

Но он только коснулся губами моей макушки, и оттого, что он был намного выше меня, даже это казалось угрожающим.

— Что тебе от меня нужно? — спросила я.

Аэций поцеловал меня во второй раз, на этот раз в лоб, и я поняла, что это был какой-то варварский, грязный обычай. Я замерла, позволяя ему коснуться губами моих губ. Когда я решила, что это просто традиция, его нежность стала переносимой.

— Ты носишь в себе часть меня. На время, пока у тебя внутри мое продолжение, ты, я и ребенок — единое целое.

— Варварские глупости, — сказала я. На этот раз, когда я чуть дернула локтем, он тут же отпустил меня.

— Будь осторожна. У тебя внутри величайшее сокровище на свете.

— Я ознакомлена с традициями своей семьи и представляю, как это быть императрицей и матерью будущего императора, — холодно сказала я. Аэций неожиданно посмотрел на меня почти смешливо, выражение его лица никак не вязалось со всем, что я знала о нем. Полуулыбка на его отстраненном лице выглядела жутковато.

— Нет, — сказал он. — Я имею в виду моего сына или мою дочь.

Я почувствовала себя неловко, словно оттого, что он желал безопасности и благополучия своему ребенку, слиянию нашей крови, я выходила за рамки политического обязательства и становилась матерью для его ублюдка.

— Что ж, — сказал он. — Я распорядюсь, чтобы мне дали номер твоего отеля.

— Ты так уверен, что я не скажу его тебе?

Он прошелся к окну, заложив руки за спину, посмотрел на опустевший сад.

— Я, безусловно, не уверен. Потому что в мире нет вещей, в которых можно быть

уверенным. Закажи номера в отеле, а я закажу билеты на самолет.

— Почему ты? Ты полагаешь, я решу покинуть страну и искать политического убежища, к примеру, в Мецаморе?

— Нет. Просто я знаю номера паспортов Кассия и Ретика наизусть, а тебе придется спрашивать.

Диалог получился даже комичный. Я усмехнулась и понадеялась, что не скоро увижу его. Скорее всего, у него снова найдутся дела и до моего отъезда мы не столкнемся. Моя ненависть к нему все еще горела, но теперь она не была такой болезненной. Боль из острой превратилась в тупую, и я знала, что однажды она затихнет вовсе. У меня не было иллюзий о вечности страданий. Все проходило.

Я поднялась наверх и велела Сильвии собрать мои вещи.

— Это правда? — спросила она.

— Что именно, милая?

Сильвия смутилась, затем ее щеки тронула клубничная, девичья краснота.

— Что вы возьмете сестру с собой?

Я улыбнулась ей. Мне стало приятно, потому что я увидела в ее глазах восторг от того, что Ретика увидит и почувствует то, чего никогда не знала Сильвия. Наверняка она, как и все девочки, фантазировала о роскошной жизни у моря.

— Знаешь, — сказала я. — Летом, может быть, я поеду в свое поместье под Делминионом. И тогда я возьму тебя с собой. Ты оказываешь мне неоценимую помощь.

В голове закрутилась мысль, не захватить ли мне в наш дом у моря. Однако одно представление о том, как снова увидеть пляж, комнату, сад и фонтан, все места, которые мы с сестрой так невыносимо любили в детстве, наталкивалось на стену безразличия.

Вот что я сделала со своей болью. Я выжгла все, что любила, чтобы не чувствовать связи с сестрой.

Нет, решила я, пока рано. Однажды я вернусь туда, летом, как мы прежде, и мое сердце будет наполнено светлой печалью и нежностью к ушедшим временам. Я сяду на качели в саду и буду любоваться на иллирийское солнце, взрастившее нас. А мой собственный малыш будет играть у фонтана, как я когда-то.

Я не ненавидела ребенка внутри себя. Я запрещала себе чувства по отношению к нему, но когда они все-таки прорывались, это было скорее любопытство, чем что-либо еще. Ненависть была обращена к Аэцию, стыд — к себе самой.

Пока Сильвия собирала мои вещи, я заказала три номера в отеле "Флавиан". Мне захотелось показать Ретике, как могут и должны жить принцепсы, поэтому я и для них с Кассием велела готовить императорские комнаты.

Ретика пришла, пока Сильвия собирала вещи. Я ощутила ее присутствие, привычное дуновение ветра коснулось моей кожи, когда она села рядом, жадно слушая, как я заказываю номера.

— Ретика, — сказала я, положив трубку. — Если ты хочешь отправиться со мной, тебе, прежде всего, надлежит быть замеченной.

— Прошу прощения, госпожа Октавия.

Я наугад протянула руку, и Ретика засмеялась.

— Вы мне чуть в глаз не попали.

Было странно держать руку на пустом воздухе и ощущать ее теплую щеку. Живая маленькая девочка посреди абсолютного ничего.

К десяти вечера нам подали машину. Ретика стояла у двери в шортиках и майке слишком фривольных для юной девушки и слишком холодных для италийской зимы.

— Что за глупости, Ретика? — спросила я.

— Мы же едем к морю, — ответила она. — Сорок минут, и мы в аэропорту. Еще сорок, и мы в Делминионе. Какая разница?

Потом она отвела взгляд, хотя выражение ее лица не стало стыдливым.

— И куртки у меня нет.

Я надела на нее свое пальто, смотревшееся на ней смешно и глупо.

— Красивое, — выдохнула она. Пальто пахло моими фиалковыми духами, я давно не надевала его. Сама я теперь пахла духами сестры. Странно было ощущать собственный запах от другого человека. Ретика облизнула губы, повторила:

— Очень красивое.

О красоте она говорила, как о еде. Ретика потеряла серебряную брошь с малахитом на воротнике пальто, и голод этот стал очевиднее.

— Можешь оставить его себе, — улыбнулась я. — Вместе с брошкой.

Ретика не улыбнулась в ответ, но подалась ко мне и обняла меня. Я не ожидала подобной фамильярности, поэтому не сразу ответила на ее объятия. Она прижималась ко мне нежно и тесно, словно я была ее матерью.

— Все в порядке? — спросила я. Она молча кивнула. Я увидела, что вниз по лестнице спускается Кассий. Он нес наши чемоданы, вид у него был мрачный. Кассий оставался во дворце, и Аэций взял его под свою личную защиту. Я не хотела ему зла, и все же всякий раз, когда я смотрела на него, я вспоминала с какой легкостью его оружие принесло смерть Домициану.

Кассий стал мрачным, нелюдимым, и я редко видела его. Теперь я не знала, как говорить с ним, убийцей мужа моей сестры, но я не хотела сделать ему больно. Он ведь ничего подобного не желал. Передо мной был рано повзрослевший мальчишка, растерявший свою веселую наглость и злость.

Кассий погрузил наши чемоданы в багажник, и мы сели на заднее сиденье. Я велела водителю ехать и надолго замолчала. Я сидела между двумя детьми военного времени, обоим война покалечила, но совершенно непохожим образом. Ретика осталась сиротой, загнанным в угол ребенком, Кассий же повзрослел, столкнувшись со смертью с другой стороны.

Стоило бы чувствовать злость на Аэция, который фактически обрек меня быть нянькой для двух подростков, но мне отчего-то было приятно.

Мы ехали сквозь городскую ночь, которая скрыла перемены. Силуэт города весь в огнях фонарей и окон не изменился, и я наслаждалась ощущением ожившего прошлого.

Дети смотрели в окна, с жадностью ловили взглядами улицы и площади, которые мы проезжали. Я знала, что движет ими — радостное ожидание путешествия. Я и сама когда-то безумно любила эту дорогу сквозь ветер и ночь в другой город, в другую погоду, в другой мир.

Мы приехали в аэропорт, наполненный светом и белизной, как больница, за полчаса до отлета. Кассий, увидев очередь, выругался, и в этой ругани был весь его былой задор. Так я поняла, что он не изменился до неузнаваемости, просто вырос.

— И чего им дома не сидится? — спросил он. — Отличная зима! Сидите дома! Эй, вы чего это вы в отпуск намылились? А работать будет кто?

Ретика засмеялась, потом прижала кулак к губам. Я дернула Кассия за рукав.

— Что ты себе позволяешь?

— Критику нравов, — ответил он с усмешкой. Тогда я даже немного пожалела, что Кассий не изменился. Все такой же наглый мальчишка.

— Нам не придется стоять в этой очереди, — тихо сказала я. — Мы идем в дипломатический зал.

— Да, но это не значит, что я не зол!

— Кассий!

Ретика снова засмеялась.

— Ретика!

Я вздохнула. Без сомнения, мне было еще рано становиться матерью.

— За мной, пожалуйста.

Мы предъявили билеты, и я думала, что как и раньше нас просто пустят в зал, но, совершенно неожиданно, нас обыскали. Меня, императрицу этой страны, обыскивали, как рядового пассажира.

— Это новые порядки? — спросила я. Крепкая, темноволосая женщина, работница службы безопасности, ответила мне с каким-то стыдом.

— Прошу прощения, моя госпожа. Предполетный досмотр обязателен для всех групп граждан, даже для императрицы и ее сопровождающих. Такие теперь порядки.

— Что за глупости?

— Прошу прощения, — повторила она. — Мы обязаны соблюдать регламент.

Тогда я и ощутила, как изменилась жизнь. Не облик города, не население, сами законы менялись.

Мы оказались в дипломатическом зале, хорошо знакомом мне небольшом и комфортабельном помещении с ресторанчиком, парой дорогих магазинов с ювелирными изделиями и парфюмерией, и огромными окнами, пропускающими внутрь ночь. За прозрачными мембранами окон я видела махины самолетов, такие непередаваемо большие, по-прежнему заставлявшие меня быть маленькой девочкой перед этими великими машинами.

Гигантские крылья, подсвеченные прожекторами, казались совершенно неспособными к полету, и я каждый раз удивлялась, когда самолет взмывал в воздух. Ретика подбежала к огромному окну, уткнулась к нему носом, рассматривая самолеты с удивлением и радостью. Прежде она их, наверное, так близко не видела. Ретика была похожа на героиню сказки, удивлявшуюся, попав в мир гигантских вещей.

Мы были в зале единственными ожидающими. Работники сновали туда и обратно, стремясь предложить нам чай, кофе или закуски. Я вежливо отказалась от кофе и попросила мятный чай. Теперь, окончательно признав свое положение, я должна была заботиться о маленьком существе, живущем внутри меня.

Кассий предпочел черный кофе без сахара — напиток занятых людей, не обращающих внимание на вкус и подростков, желающих таковыми показаться. Ретика попросила принести закуску с трюфелем и, когда ей принесли хлебцы с трюфельным маслом, с раздражением уставилась на них.

— Выглядит ужасно.

— На вкус намного приятнее, чем выглядит, — сказала я. Зал был небольшой, но длинный, и свет был включен только в нашем конце, так что примерно половина помещения тонула в полумраке. Я помнила дни, когда этот зал был переполнен людьми. Моя семья,

наши друзья, сенаторы. Призраки множества людей мгновенно возникли перед моим мысленным взором. Они смеялись, обменивались остроумными репликами, заказывали воду с лимоном и паштет из гусиной печени, а мы с сестрой ковыряли ложками в мятном мороженом за столиком неподалеку.

Я улыбнулась, встретившись с самой собой из такого счастливого прошлого, и вдруг ощутила радостное предвкушение путешествия, как в детстве. В этот момент началась посадка.

Я пустила Ретику сесть у окна. За это место также долго боролся Кассий, но было постановлено, что он, как будущий мужчина, будет смотреть в иллюминатор на обратном пути, а сейчас уступит свое место даме.

— О, если моя императрица пожелала, — сказал Кассий.

— И не хаами мне.

Теперь я удивлялась не тому, как Кассий помрачнел, а тому, как сумел сохранить свою наглость. В салоне мы были одни, и это добавляло уюта.

— То есть, это даже лучше, чем первый класс? — спросила Ретика.

— Почти то же самое, но более обособленно, — ответила я.

— Для волков-одиночек с миллиардами денариев на счету, — сказал Кассий.

Они не то чтобы ладили. Как и любые малознакомые мальчик и девочка, они перекидывались репликами, в основном, через меня, стараясь впечатлить друг друга. Наблюдать за этим было забавно.

Самолет понесся по взлетной полосе, и я почувствовала детскую свободу от осознания того, что покидаю Вечный Город. При взлете у меня заложило уши, и я судорожно сглотнула, наблюдая, хотя и с трудом, потому что Ретика прикинула к иллюминатору, за тем, как отдаляется земля. Золотые огни, а ничего кроме них не было видно в темноте, щедрой рукой рассыпанные в Вечном Городе оставались внизу, казались все более крохотными, пока Город не начал напоминать ночное небо, только вместо серебряно-белых звезд были звезды оранжево-золотые.

Отражение неба — земля, его обратная сторона, подумала я.

В самолете я проспала практически все сорок минут полета, хотя собиралась почитать книгу. За это время Кассий успел выпить полбутылки вина, которое, как сказала стюардесса, велела подать я.

Ретика не выдала его, по официальной версии, из смущения.

— Не хотела вас будить.

Я была в ярости, однако сочла непедагогичным показывать это. Кассий смотрел на меня взглядом, который ему с трудом удалось сфокусировать один раз, поэтому теперь он боялся его отводить.

— Ты все равно несешь багаж и заказываешь машину, — сказала я. — И все равно сделаешь все в лучшем виде.

Как говорил мой папа, главное не то, что ты делаешь, а то, насколько ты при этом хорош.

Кассий оказался сносен. Хотя багаж он едва не уронил на эскалаторе, по телефону говорил вполне бойко. Аэропорт Делминиона, подумала я, как же давно мы не виделись.

Аэропорты всех городов мира примерно схожи — это просторные, белые, наполненные людьми и суматохой помещения, и память не подкидывала мне никаких визуальных образов, но я словно уже ощущала запах моря, ждущий меня снаружи.



Люди нервничали в очереди на регистрацию, и это волнение показалось мне каким-то особым. На табло я увидела направление рейса — Армения. Армения сейчас активно принимала наших беженцев. Не богатая, но и не бедная, гостеприимная и консервативная страна, оплетенная виноградниками и надежно укрытая в горах, она многим казалась лучшим вариантом для смены места жительства.

Сопоставив направление полета с количеством чемоданов, я поняла, в чем особенность этого волнения. Люди, стоявшие в очереди, уезжали навсегда. Они покидали свою Родину, потому что не были способны смириться с новыми порядками. В глазах у них были тоска и надежда, они пристально следили за детьми и чемоданами, чтобы занять себя чем-нибудь, кроме мыслей о том, что жизнь навсегда изменилась.

Я почувствовала грусть. Не потому, что хотела быть на их месте, а потому, что мой прекрасный народ, мои принцепсы, покидали мою страну.

Никто не обратил внимания на мое присутствие, хотя все здесь знали меня. Может быть, им было стыдно, а может быть они в чем-то меня винили. Я быстро прошла на улицу, а Ретика семенила за мной в моем красивом и смешном на этой маленькой девочке пальто.

Милый мой, то были самые беззаботные и самые чудесные времена, когда я, в восторге от собственной юности, жила в Равенне. Чудесный студенческий городок, где бездельники не спят даже ночью, поэтому гулять по его улочкам уютно и безопасно.

Нам было по восемнадцать. Сестра поступила на факультет политологии и права в Государственном Университете, я же училась в Университете Свободного Образования, где можно было набрать себе сколько угодно не связанных друг с другом предметов. Мне никем не нужно было становиться, но многое на свете было интересно. На первом курсе я получалась кем-то вроде биолога-теолога, и сестра надо мной смеялась. В дальнейшем я изучала психологию и сравнительное языкознание, историю театра и трансмедиаальные проекты, социокультурное проектирование и историю Древнего Рима, и еще много чего, о чем было приятно и любопытно читать.

Я могла поддержать разговор на любую тему, но у меня не было никакой стабильной идентичности. Я все еще была просто воображалой.

Сестра же, напротив, казалась мне серьезнее, чем когда-либо. Она ответственно относилась к учебе, не прогуливала занятий, вовремя сдавала все работы. Словом, являла собой полную противоположность самой себя еще пару лет назад. Я, хотя и продолжала быть хорошей девочкой, ощущала себя расслабленно, как никогда, занималась лениво и из удовольствия.

Сестра все время была занята, и мы не то чтобы отдалились друг от друга, но я вдруг осознала, что вижу ее намного реже. Она проводила свободное время в библиотеке, не интересовалась юношами, которые занимали ее еще полгода назад, не ходила на танцы.

Я тоже ни с кем не крутила романов и музыка меня не интересовала, я любила только читать. Однако я оставалась самой собой, а вот сестра превращалась в кого-то другого.

Я не помню, когда в моем сердце зародилась, тогда еще смутная, тревога за нее. Мне казалось, словно сестра стала излишне рассеянной, когда она приходила, чаще всего далеко за полночь, я не сомневалась в том, что сестра была в библиотеке — глаза у нее были покрасневшие от чтения, она выглядела измотанной.

Странно, однако ее не портила даже усталость. Она придавала ей хрупкий, мученический вид, делавший ее только красивее. Сестра приходила в комнату и почти тут же ложилась спать.

Первые несколько недель я только благодарила своего бога за то, что не выбрала столь сложный факультет в столь престижном университете. Затем я стала тревожиться за нее, пробовала поговорить, но сестра лишь жаловалась на нагрузку и кляла свои обязанности будущей императрицы.

Мы жили тогда в небольшой квартирке в центре Равенны. В ней всегда было светло, чисто и пахло лавандой, которую я покупала каждое утро в цветочном магазине прямо рядом с нашим домом. У нас было две комнаты, но мы жили в одной. По вторникам и пятницам с утра приходила горничная, а обедали мы в симпатичных термополиумах, где подавали чудесный кофе с булочками и просто восхитительные согревающие супы.

Помню, мы с радостью обустроивали наш дом, только наш и ничей больше. Покупали приятные глазу мелочи, выбирали обои, расставляли вещи.

Но к моему восемнадцатому маю на земле у меня, посреди всего счастья, которое должно было у нас быть, создалось впечатление, что я живу одна. Я пыталась звонить родителям, но папа лишь сказал, что сестра делает то, что должно и ответственно относится к своей судьбе.

Часть меня согласилась с ним, и я даже заподозрила себя в зависти к положению сестры, впервые в жизни. Однако, волнение мое не утихало. Сестра становилась все более рассеянной, и тогда я начала водить ее к психотерапевтам, психологам и психоаналитикам, каждые выходные мы выбирались, чтобы выяснить забытые подробности ее детства или нюансы отношений с родителями.

Сколько драгоценного времени утекло тогда на бесполезные знания, которые не внесли абсолютно никакой ясности. Никто не знал, что происходит с сестрой, хотя все признавали, что она выглядит изможденной.

Словно в тумане проходили тогда мои дни, тревога заставляла меня всюду искать подсказки, но ни одна из них не оказывалась верной. Я не понимала, что творится с моей родной сестрой.

Я хорошо помню день, когда моя неясная тревога сменилась страхом.

Май подходил к концу, и дневная жара уже открывала дорогу июню, однако вечера оставались приятными в своей прохладе. Я сидела у окна, наблюдая за мужчиной и женщиной, спорившими о том, купить ли картину в антикварном магазине напротив. Они меня веселили, хотя в их диалоге не было ровным счетом ничего необычного. Ароматный запах сирени внушал надежду на прохладу и днем, я пила эту удивительную сладость, слушая дискуссию о безвестном художнике, который, наверное, никогда прежде не удостоивался таких дебатов.

Волнение неожиданным образом ушло из моего сердца, вот насколько хорош был вечер. Я открыла маленькую коробочку с бальзамом для губ, и к запаху сирени добавился нежный запах ландыша. Я коснулась пальцами теплого воска, тут же поддавшегося теплу моего тела, провела им по губам, оставляя на них сладость. Коробочка закрылась с мягким щелчком, и я принялась рассматривать ее. На крышке была нарисована балерина, замершая в кульминации кабриоля. Под ней белело несколько крохотных ландышей, которыми и пах бальзам. Я погладила коробочку, на ощупь она была гладкой и холодной, а внутри, под крышечкой, притаилось крохотное зеркальце. Я рассматривала коробочку, потом кольцо на моем пальце. На восемнадцатилетие сестра подарила мне серебряный перстень исключительно тонкой работы, с вензелями, переходящими в какой-то растительный орнамент из прошлого века, такой тонкий и нежный, и в то же время монументальный. Такие вещицы любили при императрице Виктории, моей прабабушке, а после, сразу из модного, они нырнули в безупречно винтажное, таким образом навсегда сохранив достоинство. Перстень венчал розовый кварц, оплетенный вензелями так крепко, что казался естественной частью металла.

Ты и сейчас можешь его увидеть — с моего совершеннолетия я ни разу не снимала кольцо, подаренное сестрой, и не сниму, а когда умру, меня погребут вместе с ним.

Я находила наслаждение в рассматривании своих вещей. Ты не представляешь, насколько я привязана к этим милым безделушкам. И тебе этого не понять, любимый, ведь ты не нуждаешься в фиксации самого себя, ты определен и ясен. Ты нуждаешься в фиксации мира, и вещи не должны быть частью тебя.

Я смотрела на мои чудесные вещи и чувствовала себя счастливой, словно я рисунок,

который только что закончили. Мне захотелось чая с холодным молоком, и я встала, чтобы отправиться на кухню.

В этот момент позвонили в дверь. Я вздрогнула, не зная, кто бы это мог быть в столь поздний час. Ко мне друзья не ходили, к сестре, что удивительно, тоже. А сама она обычно звонила мне из библиотеки, когда отправлялась домой. Я несмело подошла к двери, встала на цыпочки, чтобы заглянуть в глазок. На пороге стояла сестра, и она напугала меня намного больше обычного. Да, и прежде я чувствовала отчуждение и опустошение, коснувшиеся ее взгляда, но было очень легко списать их на переутомление.

Сейчас они были слишком очевидными, чтобы списать их на что-либо иное, кроме начинающегося сумасшествия. Но, присмотревшись, я поняла, что и это — неправда. Пустота, прятая в синеве ее глаз не имела никакого отношения к тому, что зовется пустотой в мире людей. Это была пустота другого, запредельного мира.

Я открыла дверь, навалившись на нее всем телом, втянула сестру в коридор и закрыла дверь, словно кто-то гнался за ней. Но я уже знала ответ — если кто и гнался за ней, он входил через любые двери и проникал в любые комнаты. От него не спасла бы компания, как в фильме ужасов, и не было важно в одиночестве сестра или с кем-то.

Все люди земли были перед ним лишь крохотными и неразумными животными. Ничто не имело значения, если она попала, подумала я. Но кому попала?

И этот ответ уже был, он был лихорадочным кошмаром, впившимся в мое тело, однако я не решалась даже мысленно произнести его.

Я крепко обняла ее, но сестра осталась неподвижной. Мне показалось, в коридоре стало темнее.

— Пойдем на кухню, милая. Пожалуйста, расскажи мне, что случилось. Я хочу помочь тебе!

— Конечно, — невпопад ответила сестра. Ее бледность казалась запредельной, словно кожа вот-вот станет прозрачной. На кухне я усадила ее за стол и поставила греться воду для чая. Она сидела неподвижно, словно кукла, с которой бросили играть. Ты не можешь представить себе моего ужаса, любимый, потому что, сквозь года его не могу представить и описать даже я сама.

Это был особенный опыт, который я не в силах осмыслить. Я смотрела на то, как моя сестра наполняется тьмой, которая была прежде всего на свете. Как она, сквозь себя, выпускает в мир нечто абсолютно ему чуждое. Мне казалось, что оно выходит из ее легких с дыханием.

— Что происходит, Жадина? — спросила я нежно. — Пожалуйста, милая, я хочу позаботиться о тебе.

Сестра подняла на меня взгляд, глаза ее сияли от этой пустоты.

— Ты не сможешь, — сказала она без какой-либо интонации. — И никто не сможет.

А потом из глаз ее покатались слезы, крупные, круглобокие, как спелые ягоды. Выражение ее лица, тем не менее, совершенно не изменилось. И я поняла, что это были рефлекторные слезы, слезы усталости.

— Не надо было, — сказала она. — Никому не надо, и мне не надо.

— Что ты наделала, Жадина?

Мне казалось, что она очень пьяная, в той самой степени, когда лихорадочную распущенность сменяет абсолютный ступор.

— Я очень многое хотела узнать. Я думала, мне помогут.

— Кто поможет?

— Мне кажется, они меня отравили.

— Я сейчас позвоню в больницу. Кто тебя отравил, милая моя? Скажи, кто это сделал, и он ответит перед всей страной.

Когда я метнулась к телефону, сестра вдруг крикнула:

— Нет! Никто не должен знать!

— Но ты ведь...

— Я не умираю.

На умирающую она и вправду не была похожа. С ней происходили вещи совсем другого толка, и я отчего-то знала, что больница здесь не поможет.

Я села перед ней на колени, принялась гладить ее лицо, но она не реагировала на мои прикосновения.

— Я думаю, мне что-то подсыпали в вино. Или, может быть, вкололи. Я не знаю. Я не помню. Не помню.

Она вдруг посмотрела мне в глаза, попыталась улыбнуться, словно впервые за все это время узнала меня.

— Воображала, — сказала она, и это слово, самое привычное, заставило ее язык споткнуться.

— Жадина, — прошептала я и обняла ее колени. — Что же с тобой случилось?

— Мне не нужно было туда ходить, — сказала она. — Я больше не пойду.

— Куда не пойдешь?

Я чувствовала себя бестолково, я могла только задавать вопросы, на которые она не отвечала. Голос у сестры стал плаксивый и испуганный, словно она маленькая девочка, которую обидели.

Сердце мое наполнилось жалостью и злорадством одновременно.

— Жадина, пожалуйста, скажи хоть что-нибудь.

Я встала и отошла заварить ей чай. Она сидела совершенно неподвижно, словно никогда не была живой.

— Они сказали, что примут меня. Что я действительно желаю, раз сама нашла их. Я не знала, что так получится. Мне было так хорошо, а теперь тело словно вата, я не могу так.

Впервые на моей памяти сестра показывала слабость. Это она всегда была сильнее меня, она никогда не унывала. Я поставила перед ней чашку с дымящимся чаем, и она, словно сделав над собой невероятное усилие, приложила к ней руки.

— Осторожно, — успела сказать я. — Горячо!

Но она не послушалась меня, наоборот, словно из желания причинить себе боль тесно прижала ладони к чашке. Я метнулась к ней, чтобы отнять ее руки от обжигающего фарфора, но ее глаза вдруг просветлели, и я увидела мою прежнюю сестру.

— Нет, — почти выкрикнула она. — Нет, нет, нет! Так лучше! Было плохо, но теперь все проясняется.

— Что проясняется, милая?

Я чуть не плакала от страха за нее и непонимания.

— Я все поняла, — сказала сестра. В ее голос и взгляд вернулась острота.

— Ты должна сделать мне больно, — сказала она. — Очень больно.

— Я не буду, Жадина!

— Если ты этого не сделаешь, я сделаю это сама! Но будет дольше. И сложнее.

Ее голос был властным, и она вдруг напугала себя год назад. Я с такой радостью уцепилась за это воспоминание, что прошептала:

— Сейчас.

— Быстрее, Воображала, — голос у сестры зазвенел. Она отняла руки от чашки, и я увидела, как покраснели ее ладони.

— Лошадиный стек, — сказала она. — В шкафу.

Я сначала не поняла, о чем она говорит. А потом вспомнила, что в шкафу действительно, наряду с жокейской формой есть два наших стека. Мы планировали кататься на лошадях каждые выходные, как в Вечном Городе, но не заладилось, и я почти забыла, что мы когда-то собирались устраивать здесь конные прогулки и даже привезли все необходимое.

Я метнулась к шкафу, среди пахнущих нашими духами платьев и белья на полочках, я с трудом отыскала форму, а рядом с ней нащупала и стек. Когда я взяла его, я все еще не знала, что буду с ним делать. Он лег в руку легко, с приятной привычностью. Вот только я никогда не стегала им человека, а тем более — родную сестру.

— Быстрее, — выкрикнула она, и в ее голосе я услышала страдание. Сестра стояла у двери и скидывала платье, затем сняла лифчик. Я увидела на ее шее и груди множество засосов, а по ребрам шли длинные и тонкие царапины.

— Что с тобой делали?

— Я училась получать удовольствие, — сказала она. Голос ее снова истаявал, и я подумала, что не выдержу увидеть ее такой, какой она пришла, во второй раз.

Сестра оперлась на вытянутых руках о стену, подставила мне спину, чуть изогнувшись. Я увидела кровь под ее ногтями.

— Куда ты влезла, Жадина?

Но она не отвечала мне, замерла, закрыла глаза, и я ощутила, что она снова ускользает в эту иную пустоту. Тогда, размахнувшись, я ударила ее стеклом, вызвав тихий вздох.

— Сильнее.

Мне казалось, я бью ее сильно, и я даже получала удовольствия от причинения боли, но сестра только помотала головой.

— Ты не можешь, не можешь мне помочь.

И в этот момент я ударила ее во второй раз, на безупречно белой коже пролегла красная полоса. Сестра вскрикнула, и ее зубы заблестели, обнажившись в улыбке.

— Еще!

Голос ее снова обрел ясность, и я отчетливо поняла, что спасаю ее, и это придало моей руке силы. Стекло ровно и сильно ложилось на ее спину раз за разом, вырывая из горла сестры громкие, но ясные и радостные крики.

— Где ты была? — спросила я и удивилась тому, насколько холоден мой голос. Я словно наказывала ее, и это мне не понравилось. Наверное, главной тому причиной было то, что я ощущала удовольствие. Мне не нравилось быть такой.

— Я хотела найти что-нибудь про бога, что-нибудь, чего не пишут в книгах, — выдохнула она. — Это оказалось сложно, но я вышла на людей, которые...

Я снова ударила ее, и голос сестры стал громче.

— Которые идут Путем Зверя! Они знают больше, чем другие и ни в чем себе не отказывают.

Я знала, что сестра не сможет идти Путем Человека, однако я не думала, что она так

быстро столкнется с этими людьми, которых все советовали обходить стороной.

— Ты могла бы сказать мне, — стек снова с острым звуком ударился о ее спину.

— Могла бы. Но я знала, что ты будешь злиться. Я вовсе не собиралась там задерживаться. Мне только нужны были знания. Я не думала, что все пойдет так далеко.

— Ты будущая императрица. Ты не имеешь права подвергать свою жизнь опасности, — сказала я.

О, как легко было говорить эти слова, когда я сама не была императрицей.

— Бей сильнее! Это меня возвращает!

И я била ее сильнее, пока не увидела, как вздуваются от крови ссадины.

— И каким образом ты ввязалась в историю с теми, кто идет по Пути Зверя?

— Это что-то вроде клуба по интересам. Я не думала, что посвящение окажется чем-то особенным.

— И чем же оно оказалось?

Я отвела руку со стеклом, и сестра податливо выгнула спину, так что это выглядело как приглашение. В последний раз я ударила ее по ссадинам, и она вскрикнула так, что это можно было принять и за удовольствие, а потом сильнее уперлась обожженными руками в стену, словно довершая начатое мной, доводя себя до разрядки.

Мне казалось, она делает с болью то же самое, что я делала с похотью, когда оставалась дома одна и ласкала себя.

— Я не понимаю. Я просто получала удовольствие, от всего, от еды и воды, секса, музыки. А потом я почувствовала...

Сестра замолчала, осела на пол, прижалась израненной спиной к стене и запрокинула голову, смотря на меня.

— Я почувствовала, как оно проникает в меня.

— Что проникает в тебя?

— Я не знаю. Оно темное и пустое. Словно мы открывали что-то. Я не понимаю.

Она снова начала бормотать что-то бессвязное, и я ударила ее стеклом по лицу, глаза сестры снова загорелись, она прижала руку к щеке.

— Боль отрезвляет, — сказала она. — Вырывает меня оттуда.

Зубы у нее стучали, словно ее знобило. Я подняла ее, нарочно касаясь ссадин на спине, и часть меня находила в этом удовольствие, другая же корчилась от отвращения.

В ванной я обрабатывала ее ссадины, и сестра радостно шипела.

— Я ощущаю себя, — выдохнула она. — Я ощущаю все. Я снова все чувствую. Ты не представляешь.

— Не представляю, — согласилась я. — Ведь я не лезу в такие места.

Я поцеловала ее в щеку, на меня вдруг нахлынула нежность к ней, моей заблудшей сестре, нуждавшейся в моей заботе. Она прижалась ко мне, и я ощутила нежный, цветочный запах ее волос.

— Я туда не вернусь, — сказала она. Но мы обе знали — вернется. Если она хотела чего-то, ее было не остановить.

Я укачивала ее в ванной под мучительным светом слишком ярких лампочек, пока она не заснула — в неудобной позе, в ссадинах, и прямо у меня на руках.

Если бы я только знала тогда, что эти приступы будут повторяться, что они станут частью нее и ее Пути Зверя. Капля пустоты, обитающей за пределами мира, проникла к нее и отравила ее навсегда. Она причиняла ей мучения, и иногда я думала — как же чувствуют

себя боги, обитая в пространстве напоенном тем, капли чего хватило, чтобы увести мою сестру в это мучительное состояние?

Печать пределов мира навсегда сохранилась в ней, и иногда я видела этот взгляд, в котором не отражался человеческий мир.



Я проснулась с необычайно легким чувством в груди. Наверное, смена обстановки мне помогла, а может быть, я снова почувствовала этот запах моря, который так пленил меня в детстве.

Отель "Флавиан" считался роскошным еще во времена моей прабабушки, и этот статус ни разу не терял. Мы часто останавливались здесь, когда строился наш дом у моря, но тогда я была совсем маленькой, поэтому эти стены казались мне совершенно незнакомыми.

Когда-то мама говорила, что отель высшего уровня от любого другого отличается отсутствием времени суток в холле. Персонал в первоклассном отеле должен быть равно бодрым в три часа ночи и в три часа дня, чтобы не раздражать гостей, проделавших долгий путь своей усталой нерасторопностью.

На мой взгляд мама была слишком строга к базовым физиологическим потребностям человека, однако это правило несомненно работало. Ночью нас встретил безупречно-бодрый администратор, а лакеи были вежливы, немногословны и внимательны.

Я не запомнила, как уснула. Поездка оказалась для меня неожиданно утомляющей, и сон мой был даже слишком крепким для гостиничного номера.

Тошнота нахлынула сразу по пробуждению, и я взяла с тумбочки жестяную коробку с мятными леденцами, традиционным подарком для гостей отелей Империи, который впервые показался мне бессмысленным.

Прежде, чем взглянуть на часы и соизмерить себя и начинающийся день во времени, я не отказалась от удовольствия немного полежать. "Флавиан", в конце концов, казался мне чудесным местом, и я была рада, что оказалась здесь. Снаружи это было строение по красоте своей превосходящее, на мой вкус, даже дворец. Длинное здание было словно божественным образом сотворено из камня черного еще во времена строительства и столь элегантно копировавшего старину, что никто и не заметил, когда он в нее превратился. Роскошные позолоченные купола, одетые в черепицу, которая будто бы никогда не пачкалась, ловили внутрь ласковое иллирийское солнце. Многочисленные окна, похожие на арки, на нижних этажах, и небольшие, аккуратные, в номерах, делали отель похожим на драгоценные камни в особенно солнечные дни. Внутри он был не менее роскошным — мраморный пол холла подобострастно подхватывал шаги идущих по нему, а обилие зеркал позволяло гостям тайное нарциссическое удовольствие — запечатлеть себя на фоне роскоши и запомнить не только обстановку, словно бы виденную во сне, но и наслаждение от осознания своего богатства.

Императорских спален здесь было четыре. Когда отель строился, императорская семья состояла из правящей четы и их детей, троих молодых мужчин, одним из которых был мой дедушка. В конце концов, оба моих дяди погибли при обстоятельствах, которые остались невыясненными из вежливости. Дедушка же решил, что ему стоит завести лишь одного ребенка, потому как слишком хорошо представлял себе, каким образом могут поступать друг с другом братья. В сущности, это решение привело к тому, что я осталась последней представительницей династии завета, а в комнатах дедушкиных братьев ночевали сегодня убийца императора и девушка-воровка, что в равной степени было бы расценено моими предками как оскорбление.

Времена менялись.

Спальня была просторной, оформленной в морском синем и охровом цветах, которые вместе отчего-то не выглядели безвкусицей. За прозрачной дверью балкона ветер трепал штору на летней террасе, плетеные стол и стулья казались символом ушедшего времени жаркого безделья и выглядели сиротливо.

Одна из дверей вела в кабинет, где согласно всем традициям должен был быть тяжелый стол с черным телефоном на нем и удобное кресло, а так же гильотинка для сигар в аккуратном ящичке.

Вторая вела в сияющую белизной ванную, снабженную всеми удобствами от зубной щетки до купальни с подогревом и массажем.

Я лежала на мягкой кровати в таком обилии подушек, что, казалось, выбраться будет затруднительно. Под потолком висела люстра, по чьим чернено-золотым изгибам носился утренний свет. Огромный шкаф был украшен зеркалом в половину его размера. На полках, разумеется, нашлись купальные принадлежности, а вместе с ними и очаровательные, нежно-зеленые шлепанцы.

На столике стояла синяя, невероятным образом выгнутая ваза, в которой с неудобством разместился букет камелий. Камелии не источали запаха. Что ж, вежливо и предупредительно. Я была рада этому нейтральному жесту, потому что цветочный запах сейчас напоминал мне о сестре.

Наконец, я взглянула на часы. До начала завтрака оставалось двадцать минут, и я неторопливо встала, приняла ванну, не отказавшись от массажа, умылась и оделась, впервые за долгие месяцы наслаждаясь процессом утренних приготовлений.

Собравшись, я еще на некоторое время замерла у окна. В моем номере оно выходило на море, и я смотрела на утренние непослушные волны, с которыми играли у берега дети, взрослые же, понукаемые ранним подъемом свойственным юности, спали и читали на лежаках, по круплицам добирая свой утренний отдых. Наблюдая за детьми, я вспомнила о порученных мне подростках. Нужно было разбудить Кассия и Ретиду, если они еще не встали.

Я вышла в коридор, он был пустой и светлый, напоенный этим соленым запахом, который въедался в стены всех на свете отелей у моря. Дурнота снова накатила, и я медленно вдохнула, остановившись у двери комнаты Кассия.

Я постучала, сначала несмело, потом громче, но Кассий не отвечал. Я позвала его по имени, и он все равно не появился. Дверь в комнату оказалась закрыта. Что ж, подумала я, первый потерян. Неужели Аэций не представлял себе, каким образом ведут себя подростки на отдыхе?

Я постучала к Ретиде, она тоже не отозвалась. Однако, ее дверь оказалась открыта. Я вошла в комнату, такую же роскошную, как и моя. Ретика сидела в кресле, обхватив колени руками. Спальня казалась слишком большой для этой маленькой девочки. Ретика была одета во вчерашние шорты и цветастую майку.

— Доброе утро, Ретика, — сказала я. — Нам пора на завтрак.

Она только покачала головой и ничего не ответила, а затем исчезла, будто ее и не было здесь.

— Ретика, ты не можешь пойти на завтрак невидимой. Это просто неприлично.

Она не отвечала. Я прошла туда, где еще пару секунд назад была Ретика, и когда я встала рядом с креслом, то почувствовала ее теплую ладонь до боли обхватившую мое

запястье. Она потянула меня вниз и прошептала на ухо:

— Я не могу там появиться в таком виде. Я не думала, что мы едем в такое место.

Слово "такое" она выделила так сильно, словно и не надеялась, что я пойму, что она имела в виду. Ей было стыдно появляться в столовой, и это меня расстроило. Некоторое время я не знала, что сказать. В конце концов, я бы и сама не вышла из дома в таком виде, но Ретике было шестнадцать, она была юным и нежным существом, и мне хотелось ее утешить.

— Милая, суть такого места в том, что, в отличие от мещанских отелей, здесь ты можешь появляться в каком угодно виде, и никто не посмеет тебя осудить. Ты прекрасная молодая девушка, и нет ничего плохого в том, что ты одета так, как тебе нравится.

Она снова потянула меня вниз и прошептала:

— Но мне так не нравится.

У нее была невероятная тяга к тому, чтобы исчезнуть. Она часто бывала невидимой и говорила тихо, на пределе слышимого.

— Здесь все так красиво, — продолжала она. — Кроме меня.

— Вот уж неправда. Ты очень красивая, Ретика. Знаешь что, давай мы купим тебе новую одежду? Хочешь?

— Хочу.

— Но это не повод оставаться без завтрака. Тебе нужно показать всем, что ты не стесняешься быть собой. Ничто не ценится в высшем обществе больше, чем своеволие, поверь мне.

— Я буду выглядеть, как нищенка.

— Нет, ты будешь выглядеть, как девушка, которая знает, что дорогие вещи точно так же посредственны и недолговечны, как дешевые. А вечером уже будешь выглядеть, как принцесская старушка.

Она тихонько засмеялась.

— Я тебе обещаю, — повторила я. — Принцессы за восемьдесят будут в восторге от твоих вещей. Примут тебя за свою.

— Хорошо, — сказала она. — Вы меня уговорили, я поем.

Она появилась передо мной, тем же странным образом, что и исчезла — в секунду. На ее лице была улыбка, хоть и несмелая. А потом она неожиданно расплакалась.

— Что случилось? — спросила я в отчаянии. Я совершенно не понимала, что с ней делать.

— Здесь все очень красивое, — сказала Ретика. — Я никогда ничего такого не видела.

Она горько-горько плакала, словно об утраченной жизни, и мне это показалось странным.

— Да, — сказала я осторожно. — Все здесь чудесно выглядит. Почему тебя это печалит? Разве тебе не нравятся красивые вещи?

— Нравятся, — сказала она сквозь слезы. — Но мне их жалко. Если вещь красивая, это значит, что когда-нибудь она поглотит ее.

Мне стало неловко, неудобно и даже жутковато. Большие глаза Ретики с длинными, как лапки насекомых, ресницами смотрели на меня с грустью и каким-то запредельным знанием того, что будет. Я улыбнулась.

— Но сегодня мы можем не думать об этом, милая. Давай лучше подумаем, где Кассий?

Ретика приложила длинный, тонкий от перенесенного ей голода палец к губам, потом вскочила с кресла и подалась к окну.

— Так вот же он!

И даже тон ее мне не понравился. Я выглянула в окно, оно выходило на главную площадь Делминиона, смыкавшуюся с морем с другой, не подходящей для отдыха стороны. Пять длинных и каменных дорог пристани тянулись к горизонту, словно площадь была ладонью, а они — пальцами. Четыре императорских дворца разных эпох, ныне отданные городу как достопримечательности, сжимали площадь в кольцо, по краю которого завтракали в ресторанах и термополиумах туристы.

Кассий гонялся за голубями, словно десятилетний мальчишка, с восторгом и жестокостью. А потом я заметила, что в руке у него преторианский клинок, и что три белоснежных голубя уже нашли свой приют в фонтане.

Я глубоко вздохнула, стараясь справиться с раздражением, а потом сказала:

— Ретика, дорогая, пойдем вниз и возьмем Кассия на завтрак.

Мы спустились на лифте, мне казалось, что сейчас я кинусь на Ретику или разобью зеркало, настолько я была зла. Я вышла из холла, не ответив на приветствие управляющего. Кассий выкрикивал ругательства, устремляясь за голубем с ловкостью, которой не ожидаешь от подростка.

— Кассий, — сказала я. Оружие его сияло ярко, это означало боевой задор. Он, предсказуемо, не услышал меня. Я видела, с каким отвращением смотрят на Кассия туристы, и что к нему уже направляются двое полицейских.

— Кассий!

Он снова проигнорировал меня, и только когда я дернула его за рукав прежде, чем он обезглавил очередного голубя, Кассий развернулся ко мне. Его клинок оказался у моей ключицы. Я испугалась, но после. Прежде всего я подумала: еще секунда и остался бы шрам. Навсегда.

— Да, моя императрица! — сказал он с каким-то совершенно взрослым ерничаньем.

— Погаси клинок.

Я обернулась и увидела, что полицейские, идущие к нам зажгли свое оружие.

— Нет нужды в оружии, господа. Это ребенок, он бы не сделал мне ничего.

Этот ребенок убил мужа моей сестры. Только об этом никто не знал.

— Все в порядке, моя императрица?

— Да, я успокою его. Спасибо за бдительность.

Люди с любопытством взирали на нас, я слышала, как щелкают фотоаппараты. Наверняка, мой стыд будет видим на каждой из этих фотографий — щеки, по ощущениям, покраснелись, однако контролировать свой голос я могла.

— Кассий, нам пора на завтрак.

— А что я такого сделал? Эти голуби ведь не граждане Империи! Может, я решил восславить своего бога, поохотившись. Может быть, я праведник!

— Восславляй своего бога там, где это поймут правильно.

Он вдруг засмеялся, смех у него был громкий и хриловатый, как лай молодого пса.

— Праведник, — повторил он с клоунским, громким хлопком. А потом подмигнул мне.

— Ведь какая теперь разница, да?

Я посмотрела в фонтан. В чаше плавали три обезглавленных белоснежных голубиных тельца и три головы. Вода была розовой. Обезглавленные птицы в прозрачной, розовой, как кварц, воде. Зрелище даже показалось мне красивым.

Я снова посмотрела на Кассия и Ретику. Он размазывал кровь по брюкам, а она грызла

ноготь на большом пальце.

Мне в компанию достались подростки с большими проблемами.

— На завтрак, — сказала я. И, по возможности с достоинством, вошла в отель. Кассий следовал за нами, и в холле я остановилась.

— Надеюсь, ты ничего не забыл.

— Я забыл раскаяться!

— Ты забыл помыть руки, — холодно сказала я. — И сменить одежду.

— А твой муж забыл сменить мне мозги взамен перегоревших!

Я хотела было что-то ответить, но мой взгляд скользнул по стене над стойкой регистрации, за которой стоял администратор. Я удивилась, почему вчера ничего не заметила. А, может быть, вчера еще и нечего было замечать.

Над стойкой висел портрет сестры с черной, траурной лентой. Я помнила день, когда рисовали оригинал — сестра сидела в гостиной, ее волосы мягкими волнами спускались на плечи, а полуулыбка делала лицо светлым и нежным. Она позировала с необычайным терпением, а в перерывах пила ягодное вино, и я кормила ее фруктами. Художник был молодой, глаза у него горели от предвкушения славы и удивления, что императрица выбрала его, и иногда сестра смотрела на него с любопытством и желанием, чем только распаляла его вдохновение. Картина вышла чудесной.

Вслед за этим, счастливым воспоминанием, перед глазами возникло тело сестры в гробнице. Изуродованные руки и грудь были скрыты под платьем, и она выглядела необычайно скромной, впервые немного похожей на меня. Я кидалась к ней, не давая задвинуть каменную крышку, я не хотела ее отпускать, я срывала ногти и голос, моля ее вернуться.

Не было ничего больнее, чем знать, что я вижу ее лицо в последний раз, что сейчас она исчезнет под каменной крышкой гроба, и больше ее не будет ни в каком виде и никогда. Она не повторится.

Я сожгла все ее фотографии зная, что больше не хочу видеть это чудесное лицо. Пусть только мои воспоминания сохранят ее образ, думала я.

Я не хотела забывать, но я не хотела видеть ее в пародии на плоть — на фотографиях и портретах. Портреты я велела перевезти в дом на Лидо, куда никогда не поеду. Фотографии уничтожила. Больше никакой сестры в реальности.

Теперь она снова была передо мной, не настоящая, но и не воображаемая, и ужас ее смерти вернулся так остро, словно это случилось вчера.

— Убери это, — сказала я администратору, низкому и приземистому, услужливому молодому человеку. Я не ожидала услышать столько злости в собственном голосе, он казался мне чужим, как рука или нога, когда ее отлежишь. Кроме того, у меня не было привычки называть незнакомых принцепсов на "ты".

— Прошу прощения?

— Ты слышал меня, — сказала я и повернулась к Кассию. — Ты тоже.

Я прошла в столовую, Ретика за мной. Кассий появился минут через пятнадцать и даже умудрился неплохо выглядеть.

— Мы без тебя не заказывали, — сказала Ретика.

— Тогда я зря спешил.

— Сядь, — сказала я.

Столовая блестела безупречным хрусталем, потолок был разделен на снежно-белые

квадраты, в каждом из которых таилось по геральдической лилии, арки окон приближали море.

Ретика с интересом трогала уголок накрахмаленной салфетки.

— Как она стоит? — спрашивала Ретика. Я попыталась ей объяснить, но поняла, что и сама не слишком понимаю технологию. Хоть что-то у нас было общее.

Я заказала себе творог с фруктами и медом и апельсиновый сок, Кассий изволил накормить свою жестокость кровяной колбасой, а Ретика захотела вафли со взбитыми сливками, причем две порции.

— Ты сумеешь съесть две порции? — спросила я.

Она кивнула, глаза у нее загорелись, словно я хотела отнять ее еду.

Когда она съела обе порции, причем с торопливой жадностью, я устыдилась. В конце концов девочка, которая очень мало приятного видела в жизни захотела позавтракать сладким, и не стоило мне делать ей замечания.

— Советую вам пойти на пляж, подышать морским воздухом, потом погулять в городе. Я дам вам денег, но не тратьте их безрассудно.

— А где будете вы? — спросил Кассий.

— У меня сегодня встреча. Предоставляю вам полную свободу действий.

Посмотрев на Кассия, я сказала:

— В пределах разумного

Не удовлетворившись этим, добавила:

— В пределах общественно одобряемого.

После завтрака я дала Кассию и Ретике денег, сказала им держаться вместе и поднялась к себе в номер. Я прошла в кабинет, который оказался именно таким, каким я его представляла.

Достав из сумочки записную книжку, я нашла нужный номер. Телефон был старый, и я с удовольствием вертела диск, набирая цифру за цифрой. Некоторое время я слушала гудки, затем услышала мягкий, смешливый мужской голос.

— Да?

Я узнала его голос, хотя в нем, казалось бы, не было ничего особенного, и я слышала его лишь один раз.

— Доброе утро, господин Северин, я в Делминионе и хотела бы, чтобы сегодня состоялась наша встреча.

— Вы спешите, ваше высочество?

— Я в первую очередь хочу заняться делами, кроме того вы сами уточняли, что разговор срочный, — ответила я. По телефонному проводу пронесся вздох.

— Хорошо, моя императрица. В таком случае, я буду ждать вас в любое удобное вам время.

Он продиктовал мне адрес, и я сказала, что собираюсь. Я знала Делминион и планировала быть у Северина не позже, чем через час.

Взяв шляпку с широкими полями и черные очки для защиты не от нежного иллирийского солнца, еще не вступившего в весну, а для того, чтобы не привлекать лишнее внимание, я вышла из "Флавиана". Отчего-то мне захотелось вернуться и посмотреть, что делают Кассий и Ретика. Но, по крайней мере я себя в этом убедила, два шестнадцатилетних подростка будут только рады моему отсутствию и найдут, чем бы себя занять.

Да, подумала я, непременно найдут, но занятия подростков далеко не всегда бывают

безопасными и легальными.

Утро уже разгорелось, оно кипело в металле трамвайных путей и на стекле витрин сувенирных магазинчиков. Людей оказалось вовсе не так много, большая часть отдыхающих была на пляже, хотя погода вовсе не располагала к купаниям. Дети мочили ноги и собирали ракушки, а взрослые отдыхали и наслаждались идущим с моря нежным ветром.

День намечался теплым, уж точно теплее, чем в Вечном Городе, и я порадовалась ему. Я решила, что ничто не останавливает меня от того, чтобы прокатиться на трамвае.

Я встала на остановке вместе с какой-то сухонькой преторианской старушкой, смолящей сигарету за сигаретой. Перемены в Делминионе были практически незаметны. Традиционно дорогой город с небольшим количеством рабочих мест вне отпускного сезона не привлекал новоприбывшие народы. Хотя, я была уверена, к лету здесь станет не продохнуть от варваров, воров и ведьм.

В голове двоилось, как двоится в глазах — я испытывала искреннюю симпатию к Ретике и Сильвии и не могла избавиться от предубеждений против их народа. Но мне нужно было. От этого зависело то, что я смогу сделать, будучи императрицей. Я хотела помогать людям, а в эту категорию теперь вошли и иные народы. Я не могла найти в себе должного милосердия, но я пыталась.

В трамвае я купила билетик и неловко, не с первой попытки, пробила его в странном приспособлении, кажется, оно называлось компостером. Я села у окна и почувствовала тихий ход трамвая, успокаивающий и приятный, прерываемый нежным позвякиванием. Это совсем не было похоже на путешествие в машине. Трамвай был намного более комфортным. Я смотрела в окно, и мимо меня проплывали обласканные морским ветром до белизны домики, вздымались колонны и шпили принципских храмов, у лавочек дежурили дети торговцев, зорко следившие за руками покупателей, а откормленные в этом гостеприимном краю огромные коты умывались и потягивались, начиная свой обычный день.

Я была счастлива, что приехала сюда, и подумала, что не вернусь в Город через месяц, останусь еще на два. В конце концов, здесь я могла заняться помощью своему народу с большей свободой, чем рядом с Аэцием. Сейчас я, в основном, старалась не допустить разграбления и уничтожения именитых семей, но чистка, проводимая Аэцием вскоре закончится, и я смогу посвятить себя другим делам.

В голове у меня один за другим стали рождаться планы. К примеру, я могла бы помогать людям, оставшимся без средств к существованию, банкротам и их семьям, начать все с нуля. В конце концов, Аэций никогда не интересовался моими семейными деньгами и личными счетами. Материальные ценности ему словно совершенно не были интересны.

Я могла бы помогать своему народу, и это не разрушало бы мир, а строило. Пусть Аэций разбирается со своим Безумным Легионом, я же научу мой народ жить по-новому, по крайней мере дам им средства.

Трамвай снова остановился, и я поняла, что едва не проехала свою остановку. Северин жил в одной из элитных квартир, располагавшихся в старом, округло огибающим угол двух улиц доме.

Его дом мне сразу понравился, белый, но без той едва заметной глазу желтоватости, свойственной южным постройкам, с балконами, окруженными изящной металлической сеткой, скрытой под зеленью плюща.

Я вошла в прохладный и уютный двор, щедро украшенный все той же ползучей зеленью и строгими, прямыми, как солдаты, розами в кадках. Все это вызвало у меня приятное

чувство. В таком, строгом и в меру красивом месте, и должен жить принцепс.

Я не знала Северина, он не был знатным или особенно богатым, но он откуда-то раздобыл мой телефон, а значит обладал хваткой, которая безусловно вызывала уважение.

Я посмотрела на почтовые ящики, на каждом был написан номер квартиры и имя владельца. Северин жил на последнем этаже, причем совершенно один. Я вошла в лифт, старомодный, с кованными дверцами, открывавшимися с неподходящим этому чинному месту громким лязгом.

Мне было любопытно, чего хочет Северин, и кто он такой. Встреча с ним была сюрпризом, я не знала ни его, ни его целей, в отличии ото всех моих предыдущих дел.

Я вышла из лифта, осмотрелась — лестничная клетка была просторная и светлая, и в предвкушении я нажала на звонок. Мне открыли сразу, будто поджидали за дверью. На пороге стоял тот самый юноша, который привлек мое внимание в день, когда я говорила с народом. Вблизи его лицо не казалось таким красивым, черты у него были чуточку неправильные, ровно настолько, чтобы с первого взгляда человек казался симпатичным, а потом в нем проглядывала некоторая несогласованность его порттившая.

— Моя императрица, — сказал он так подобострастно, что насмешка была очевидной, и в то же время ничем не артикулированной. — Добро пожаловать в мою скромную обитель.

— Доброе утро, господин Северин. Прошу прощения, за столь ранний визит.

Он отошел, пропуская меня внутрь. На нем был хороший костюм, его туфли, явно новые, блестели.

В квартире звучала классическая музыка, причем такая, которая не кажется вне консерватории образцом безвкусицы, а элегантно дополняет практически любую обстановку. Я не могла вспомнить название и композитора, но явно слышала ее множество раз. Меня удивила эта неожиданная забывчивость

— Это увертюра к "Антигоне", — подсказал мне Северин, словно видя мое замешательство. У него на пальцах были кольца — дорогие перстни, не самые красивые, но броские. Вещи, которых страстно хочешь, но почти никогда не покупаешь, они всегда не совсем подходят или лишние.

Квартира была просторная, я насчитала пять комнат и увидела лестницу на чердак, где наверняка обитали слуги. Стоило бы назвать квартиру комфортной, но она казалась какой-то неожиданно для этого дома темной. Бардовые обои с чернильными цветами, рассыпанными по ним, плотные шторы и обилие растений повсюду делали атмосферу тяжелой.

— Прошу в гостиную.

Северин даже чуть поклонился. Я прошла мимо него, мне не нравилась эта манера, граничащая с клоунадой, но не переходящая в нее.

Гостиная была местом еще более странным. Большая, она в то же время производила впечатление тесной из-за огромной кровати, стоявшей там. Из-под черного балдахина виднелся бардовый атлас.

В остальном, все было традиционно — диван и кресла, чайный столик, на котором стоял симпатичный сервиз, и покоились в миске легкие пирожные, стеллаж со статусными вещами вроде малахитовой пепельницы с золотой отделкой или коробки с дорогими сигарами.

Но эта кровать смотрелась здесь нелепо, и в то же время порочно — эта гостиная служила не только для того, чтобы обсудить последние новости за чашкой ароматного кофе.

Я села в кресло и дождалась, пока Северин нальет мне кофе, с неприязнью ощутила, что



наполняя мою чашку, он склонился ко мне ближе, чем нужно.

— Прошу вас, не смущайтесь так, моя императрица.

— Я вовсе не смущена. Я просто хотела бы перейти к делу.

Он сел в кресло напротив моего, мы взяли чашки, и он с наслаждением вдохнул запах кофе.

— Правда, чудесный?

Кофе действительно был хороший, и я кивнула. Сделав крохотный глоток, я отставила чашку, решив, что кофе в моем положении я выпила вполне достаточно.

— Вижу, вы не настроены на дружелюбную беседу, а ведь это просто дань вежливости.

И я поняла: не настроена. Мне здесь не нравилось, но у меня не было на это никаких особенных причин. Было неудобно, как-то неправильно. Может быть, я просто вспоминала тот день, когда встретила его насмешливый взгляд в столь волнительный для меня момент. Северин потянулся за одним из йогуртовых пирожных, и я увидела на его запястье, на секунду обнажившемся, линию тонких, опоясывающих порезов.

Все было очевидно с самого начала, но в слова я это обличила только сейчас. Северин шел Путем Зверя. Оттого он мне не нравился — я смотрелась в него, как в свое отражение, но лево и право поменялись местами. То, что я считала правильным, он отрицал, я же презирала то, что больше всего ценил он. Но мы оба были принцепсами, и нас пересотворил один и тот же бог.

Однако глупо было бы игнорировать разность наших убеждений. И все же если принцепсу нужна была помощь, я не должна была отказывать.

— Дело в том, — начал Северин, голос у него был веселый, обаятельный, а движения быстрые и ловкие, словно он игрался с вещами, а не просто брал их в руки. — Что наш образ жизни несколько не устраивает вашего уважаемого мужа.

— Вы вольны исповедовать вашу религию, как пожелаете. Он гарантировал это право, и оно закреплено в Конституции. Если вы, господин Северин, считаете, что кто-то притесняет ваши религиозные убеждения, вам лучше обратиться к моему мужу. Он против подобных вещей.

— Ах, если бы все было так просто.

Северин поднялся, открыл один из ящичков под стеллажом и достал коньяк, щедро плеснул его себе в кофе.

— Дело в том, что я здесь не один. У нас коммуна, если хотите. Время раннее, многие еще спят, но могу разбудить их, если императрица пожелает удостовериться.

— А вы хотите?

Он засмеялся, потом погрозил мне длинным пальцем.

— Вы знаете толк в нашем Пути, правда?

— А вы забываетесь, — сказала я. — В чем, собственно говоря, ваша проблема? Я хотела бы доходчивых объяснений.

— Дело в том, что ваш муж, хоть и пытается отучить воров воровать, но не спорит с тем, что это их природа. Однако, к нам уже два раза наведывались его, как это называется, Чистильщики?

Это называлось "Служба очищения", но во все времена люди упрощали длинные названия. "Служба очищения" следила, в основном, за тем, чтобы ведьмы, воры и варвары вели себя подобающе и соблюдали законы, но так же она проверяла лояльность принцепсов и преторианцев.

— Я совершенно не имею ничего против действующей власти. Напротив, я только за. Мне нравятся перемены, они освежают. Однако, Чистильщики считают, что мы занимаемся чем-то противоправным.

— Вы занимаетесь тем, чем захотите. Это могут быть противоправные вещи?

Он посмотрел на меня внимательно. Ему явно доставлял удовольствие мой дискомфорт. Я никак не могла справиться с собой, хотя я знала, что он такая же часть моего народа, как и все, кто идут по Пути Человека вместе со мной. Мы, принцепсы, раздроблены изнутри, мне нужно было соединить нас в целое. Справиться с собой.

— Могут, конечно. К примеру, вчера я захотел немного морфия. Кому от этого хуже?

Но я знала, что за этим ленивым гедонизмом скрываются и другие вещи. Если ему захочется убить кого-то — он убьет, а если он пожелает взять женщину силой — он возьмет, в противном случае, смиряя желание, он согрешит против бога.

Но люди, идущие по Пути Зверя, существовали всегда. О них редко говорили, и еще реже их дела становились достоянием общественности. Люди Зверя были нашей маленькой тайной. На них смотрели сквозь пальцы, но Аэций бы не понял этой доброй традиции.

— Вас застали за чем-то противоправным? — спросила я. — Было совершено преступление?

Он цокнул языком, потом с досадой сказал:

— Разговор не идет так просто, но я этого ожидал.

А потом он крикнул:

— Децимин! Вина сюда, да того, что получше, а не того, которое мы обычно используем утром!

Он спустился по лестнице, ведущей на чердак, и, казалось, сделал эту темную комнату светлее. Я никогда прежде не видела такого красивого человека, он словно был из другого мира, только образом схожий с простыми, земными людьми. Он был совсем юным, наверное, ему было лет двадцать, вряд ли меньше и точно не больше. Северин выглядел лишь чуть постарше, но принцепсы отлично умеют различать возраст друг друга — по глазам. Северину было хорошо за шестьдесят.

Децимин же был действительно очень юн, но красота не давала его юности выглядеть трогательно. Большие, синие глаза, надменные и холодные, пухлые губы с изгибом таким совершенным, что их хотелось целовать — эти черты лишали его столь свойственного молодым людям очарования нелепости. Его лицо было идеально, каждая линия казалась совершенной. Я даже не могла подумать, что его нарисовал художник — человеческая рука не способна была создать ничего столь прекрасного.

Я почувствовала, что если взгляну на него снова — заплачу, от счастья, что могу лицезреть нечто столь красивое.

Когда он поставил бутылку вина и бокалы на стол, я увидела его руки, потрясающие, словно вырезанные из мрамора каким-то безумным в своем таланте скульптором.

Он хотел налить мне вина, но я закрыла свой бокал рукой.

— Я не пью по утрам.

— Вы многое теряете! — сказал Северин. — Кроме того, из его рук я принял бы что угодно, даже яд.

Когда Децимин налил Северину вина, тот коснулся его затылка, словно хвалил собаку. Это был собственнический, отвратительный в своей унизительности жест, намекающий на большее. Я увидела, что на лице Децимина отразилось отвращение. И это выражение,

придавшее его глазам хоть какую-то долю человечности, позволило мне понять — этот златокудрый мальчик, как и стоило ожидать, не принцепс, не преторианец. Он — вор. Может быть, варвар, но скорее все-таки вор.

— Посиди с нами, послушай, что настоящие люди обсуждают.

Децимин молча сел рядом, выражение его лица снова стало отстраненно надменным, будто он замер, позирруя для художника.

Отвращение, которое испытывал этот красивый юноша говорило о том, что он здесь против воли или от безысходности.

— Вы ведь не будете говорить мне, что занимаетесь сутенерством, господин Северин. Разговор с вами в таком случае окажется пустой тратой времени.

— Я занимаюсь всем понемногу, — засмеялся он. — Но вы не угадали. Без сомнения, наши дела далеки от того, что позволили бы себе идущие по Пути Человека.

Он сказал позволили с затаенным презрением, которое, тем не менее, не слишком сложно было заметить. Как и все, кто ходил Пути Зверя, он не имел уважения ни к чему и ничто не считал святым, кроме удовлетворения и своенравия. Я любила это в сестре, но чужие люди с такими убеждениями пугали меня.

— Однако, мы обвиняемся голословно.

— И я должна поверить вам?

— Я бы хотел, чтобы вы поверили мне, однако, как императрица, вы ничего не должны.

Децимин оставался безучастным, я то и дело возвращалась взглядом к нему, а потом отводила глаза, не в силах выдержать его красоты. Северин продолжал лениво гладить его по затылку, словно домашнее животное.

Что я, среди прочего, не любила в идущих Путем Зверя — они никогда не говорили ясно, отличались какой-то беспричинной и иногда опасной лживостью. Такой была и сестра, но ей я прощала все.

— Что ж, — сказала я. — Если вы не считаете нужным посвятить меня в суть вашей проблемы, я не считаю нужным тратить на вас свое время, господин Северин.

— О, почему вы же вы принимаете мою бережность к вашей душе за изворотливость? — Северин взглянул на потолок, словно на нем был написан ответ, затем дернул Децимина за волосы. Потом неохотно уступил мне, сказав:

— Мы сохраним несколько опиумных точек в Делминионе. У них все еще нет доказательств, и они не могут нас арестовать. Но, полагаю, они могут поступить по-другому.

Несколько. В небольшом курортном городе. Я постаралась не показать своего отвращения. Зато я поняла, отчего в этом темном помещении царит такой сладкий, лакричный запах.

— Вам придется отказаться от этих забав.

— Мы откажемся. Я уверяю вас, моя императрица, эта коммуна больше не нарушит покой Делминиона. Но нам нужно исчезнуть. Вы ведь знаете, как поступают Чистильщики, правда?

Я знала. Если преступник представлял какую-то реальную опасность для людей, был убийцей, наркоторговцем или сутенером, в живых он не оставался. Кое-кто удаивался показательной казни, но если у человека имелись деньги и связи, способные воздействовать даже на суд, в дело вступали Чистильщики.

Говорили, купить их было невозможно, как и наказать за действия, в общем, противоправные. С отпущенными из зала суда людьми частенько совершались случаи

несчастливые и непредсказуемые. Да и в тюрьме много что могло приключиться.

Я не одобряла эти методы, они были для меня дикими, и в то же время части меня казалось правильным уничтожать людей, которые ломали чужие жизни в буквальном или же переносном смысле.

— Чистильщики всего лишь находят и передают суду преступников, угрожающих государству и его гражданам. Структура фактически дублирует полицию, так что вам не о чем беспокоиться. Если вы купили полицию, то купите и их.

— Если бы их можно было купить, их существование было бы излишним, — сказал Северин.

— Я не стану покрывать преступников, которые торговали смертельно опасным наркотиком. У меня есть убеждения, которые превыше моих национальных чувств.

Северин посмотрел на меня внимательно. Глаза у него были темные и блестящие, исключительно живые.

— У вас есть ценности, — сказал он, и по его губам скользнула и исчезла неприятная улыбка.

Децимин смотрел на меня, по его лицу совершенно ничего нельзя было понять, может быть, его одолевало любопытство, может надежда, может презрение.

В этот момент я услышала женский голос.

— Прошу прощения, моя императрица. Северин, мой муж, может быть начал несколько не с того, с чего стоило бы. Меня зовут Эмилия.

Я обернулась. Молодая девушка, хотя на деле ей было скорее за сорок, стояла у двери. У нее были роскошные, глубоко рыжие волосы, вившиеся такими идеальными локонами, что у меня не оставалось сомнений в их искусственности. Зеленое бархатное платье шло ей безупречно и его подол лишь чуть поднимался над коленом, но было в ее облике нечто не совсем приличное, однако я не смогла понять, что именно.

Черты ее лица отличались тонкой, почти невесомой красотой, которая грозит исчезнуть от любого мимического движения. Голос был спокойным, лишенным наглости и излишнего подобострастия, которые у Северина равнялись друг другу. Она прошла к стеллажу, провела рукой над безделицами, словно стараясь узнать о них что-то без непосредственного прикосновения, затем ее пальцы коснулись защелки на коробке с сигарами. Пальцы у нее были тонкие, бледные, а вены на руках были видны так хорошо, что на молочно-белой коже их цвет уходил в яркую, неестественную синеву.

— Дело в том, — сказала она. — Что ваша, к сожалению ныне покойная сестра, просила вас помочь нам. Прежде мы жили в Равенне и именно там встретились с Санктиной. Она была очень заинтересована в нас, как и мы в ней.

Северин добавил еще кофе в коньяк, и теперь цвет напитка сложно было определить — в янтарь коньяка впились остатки кофе, породив очень странный цвет и консистенцию не менее примечательную.

— Мы были коммуной вашей сестры, ваше высочество, — сказал он. — И, думаю, будь она жива, она не хотела бы, чтобы нас уничтожила варварская полиция вашего мужа.

— И вы считаете, что я поверю вам?

Я встала, направилась к двери. Упоминание сестры разозлило меня почти так же, как ее изображение утром. Я уже была в коридоре, когда услышала, как Эмилия зачитывает письмо:

— Дорогая моя, милая Воображала. Если ты когда-нибудь узнаешь о существовании

этого письма, значит меня уже нет на свете, чтобы помочь идущим моим Путем вместе со мной.

Я бросилась к Эмилии, выхватила у нее письмо, оно пахло медовой ванилью, сестрой, и совсем немного — табаком. Видимо, его положили в коробку с сигарами только перед моим приходом. Я узнала ее почерк, узнала нежность, с которой она выписывала слово "воображала".

Письмо совершенно точно принадлежало ей. Я продолжила читать, с жадностью и восторгом. Изображения отдаляли ее от меня, но слова приближали снова. Нечто обращенное ко мне, но прежде не сказанное ей, стало реальным.

"Если они будут в беде, это значит, что меня больше нет, а императрица теперь — это ты, милая. Поздравляю тебя, распорядись властью так, чтобы она принесла тебе радость. Но, прошу тебя, если тебе показали это письмо, помоги тому, кто делает это. Скорее всего, письмо будет у Северина и его прелестной жены, но, может быть, коммуна уже будет принадлежать кому-то другому. Эти люди научили меня мудрости нашего бога, научили меня истинному удовольствию и истинной боли. Без них я не стала бы той, кто я есть. Они — часть того, что было мне ценно. Сохрани их, если тебе дорого то, чем была я. Выброси вещи, растрать деньги, сожги фотографии, но сбереги этих людей, и позже, когда мы встретимся в мире за пределами смертной Земли, я отблагодарю тебя. Тебе больно, Воображала, я знаю. Как мне жалко тебя, милая, но ты не должна умирать со мной. Живи и помни, что я люблю тебя, и что нет ничего слаще этой любви. Твоя с самого начала, Жадина."

Сердце билось громко и сладостно. Эта капля ее присутствия в океане жизни, которая мне осталась, сделала меня счастливой. Я никогда не испытывала ничего подобного прежде, когда она была у меня. Чистая, рвущаяся из груди радость захлестнула меня, и мне захотелось кричать.

Я прижала письмо к себе, и Эмилия сказала:

— Разумеется, это принадлежит вам, ваше высочество.

— Даже императрице могут быть свойственны простые человеческие чувства, — засмеялся Северин. Я поняла, что он разговаривал со мной из чистого удовольствия. В любой момент он мог просто показать письмо, но вместо этого он вел неприятную беседу из желания проверить меня на прочность.

Сестра так никогда и не избавилась от пустоты, которую получила от них, но и не сдержала свое обещание больше никогда не ходить к этим чудовищным людям. Ее связи с другими идущими Путем Зверя были очевидны и мне, и Домициану, но мы старательно делали вид, что ничего не замечаем.

Сестра никогда не скрывала, что поклоняется темному лику нашего бога и никогда не вела образ жизни, который был хотя бы похож на тот, что вели другие принцепсы.

И эти люди, которые мне совершенно не нравились, были ей важны. Я должна была сделать это не для себя, а для нее.

Я должна была обезопасить их, и в то же время обезопасить мир от этих фанатиков. Идея пришла в мой возбужденный мозг сразу же.

— Вы поедете в наше поместье под Делминионом, — сказала я. — Никто не додумается искать преступников в летнем доме императрицы. Я велю управляющему покинуть поместье, скажу, что больше не хочу иметь с этим домом ничего общего, пусть приходит в запустение. Вокруг километры нашей земли и ни одной постройки, так что вы сможете

насладиться обществом друг друга и чудесной иллирийской природой.

И это затворничество охранит мир от вас, подумала я.

— Но не смейте покидать дом. Если вас поймают и узнают, где вы прятались все это время, я не смогу оправдаться.

— Но вы готовы рискнуть? — спросил Северин с улыбкой.

— Я готова. Припасов там достаточно как минимум на полгода, если не на год. Если захочется разнообразить свой рацион — ловите рыбу и собирайте фрукты и ягоды, плодовых деревьев там вдоволь.

Мне было жаль отдавать им наш летний дом, но там они были бы вдали от людей, в равной степени защищены и безопасны.

— Возможно, однажды я приеду вас навестить, — сказала я.

— Мы будем ждать, наша императрица, — подобострастно воскликнул Северин.

— Благодарю вас, Эмилия.

— Сегодня же поговорю с управляющим. Я позвоню вам и сообщу, когда вы сможете выезжать. Будьте готовы и, главное, будьте осторожны.

Северин кинулся на колени и поцеловал носки моих туфель, один за другим. Мне невероятно захотелось врезать ему, словно я была разозленной уличной торговкой. Я взглянула на Эмилию, она улыбнулась мне, понимающе и приятно, словно Северин и ее раздражал. Я заметила, что именно в ней, несмотря на скромное платье, совершенно неприлично. На Эмилии не было белья, и я свободно могла рассмотреть все самые тайные изгибы ее тела.

— Вы хотите что-то, императрица? — Северин смотрел на меня снизу вверх. — За вашу услугу, за нашу тайну!

— Я хочу, чтобы вы ни в коем случае не покидали поместья.

— Думаю, оно так прекрасно, что мы и сами не захотим его покидать!

Я посмотрела на Эмилию, она вздохнула:

— Разумеется, мы будем соблюдать осторожность и не покинем убежища.

Мои пальцы то и дело терли письмо, я хотела убедиться, что оно реально, мне казалось, сейчас бумага превратится в ничто от моего прикосновения, я боялась этого, оттого и проверяла себя.

— Что-нибудь еще? — спросил Северин. Он поднялся с колен и стоял теперь слишком близко ко мне. Я не стала отступать из гордости и упрямства. Мой взгляд снова скользнул по Децимину. Странно, но несмотря на его броскую красоту, он умел вести себя совершенно незаметным образом.

— Я хочу поговорить с этим мальчиком, — сказала я.

— Можно даже не только поговорить. Он хорош далеко не в разговорах.

— Помолчите.

Я написала им адрес, стараясь сделать свой почерк как можно менее узнаваемым, просто на всякий случай.

— Благодарю за гостеприимство, — сказала я. — Можете меня не провожать.

Поманив Децимина за собой, я вышла в коридор. Мы вместе покинули квартиру и вышли на лестничную клетку. Децимин тут же достал из кармана сигареты и зажигалку. На нем была дорогая одежда, безусловно идущая ему, и я заметила на его запястье золотые часы. И все же мне не казалось, что он счастлив здесь.

Децимин щелкнул зажигалкой, затянулся и выпустил дым, ринувшийся к потолку.

— Вы хотите просто посмотреть? — спросил он. Голос у него был холодный, но в то же время вежливый.

— Я хочу просто поговорить, — ответила я. Однако у меня не сразу получилось, я не могла отвести взгляд от божественного изгиба его губ. Впервые в жизни я пожалела, что не могу ни словом, ни рисунком, ни музыкой воспроизвести эту красоту. Я буквально почувствовала, как она ускользает сквозь пальцы.

— Ты прекрасен.

— Я отмечен нашей богиней, — сказал он. Он отреагировал на мои слова скучающе, они были ему привычны и даже сходящие с губ императрицы не достигали его сердца.

— Тебя здесь обижают?

— Я сам это выбрал. Мне хотелось другой жизни.

То есть, он был с ними еще до войны? Мне стало очень обидно и горько за этого безупречно красивого мальчика. Его красота преодолевала границы между народами, которые я так тщательно соблюдала в своем разуме. Мне было абсолютно все равно, вор он, варвар или кто-либо еще. И я чувствовала отвращение к себе — пораженная красотой, я вела себя поверхностно.

Я достала из сумочки блокнот и ручку, записала адрес "Флавиана", который он, впрочем, скорее всего знал и свой телефон.

— Теперь ты можешь жить совсем другой жизнью, Децимин. Ты свободен.

— Я не свободен, — сказал он быстро, потом пожал плечами. — И никто не свободен.

— И все же, если ты захочешь, ты можешь позвонить мне. Я попробую тебе помочь.

— Кем я тогда стану? — спросил он.

— А кто ты здесь?

Я с трудом отвела взгляд, мне стало стыдно.

— До свиданья, Децимин, — сказала я. — Помни, что ты всегда можешь обратиться ко мне.

— Прощайте, моя императрица.

Я спустилась по лестнице, слушая только собственные шаги. Децимин все еще стоял на лестничной клетке. Наверное, докуривал.

В трамвае я уже не обращала внимание на его плавный ход и вид за окном, только перечитывала раз за разом письмо. Сестра хотела защиты для этих людей, и я дала ее им. Фактически, я поступила единственно возможным образом. Можно было отправить их за границу с поддельными документами, но там над ними не было бы никакого контроля.

Как и все принцепсы, идущие Путем Человека, я мастерски умела не обращать внимание на зло, которое совершается далеко от меня. Но не могла игнорировать зло, столкнувшись с ним лицом к лицу.

Добравшись до "Флавиана", я поднялась в свой номер, приняла душ и переделалась, чтобы пойти на пляж.

Поступила ли я правильно? Наверное, я не смогла бы позволить себе иного поступка — шаг в любую сторону от того, что я сделала, лишил бы меня покоя.

Но сейчас я чувствовала себя хорошо.

Кассия и Ретики на пляже не оказалось, но они вполне могли все еще гулять по городу, в конце концов, они прежде не видели Делминиона. Я подумала, что могу позволить себе не волноваться еще пару часов.

Я сидела в плетеном кресле у моря и читала мемуары одного из наших лучших

генералов. Он погиб на войне в Парфии, а его незаконченную автобиографию издала жена. Меня завораживали мысли давно умершего человека. Эта светлая голова давно не существовала, а зафиксированные мысли казались засушенными цветами. В этом восхищении умершим, радости от незаконченности, было нечто кровожадное.

Иногда я отвлекалась от чтения и доставала письмо. Я смотрела на него, и ветер, наряду с запахом моря, нес запах ванили. Я забывала, где я, и сколько лет прошло с тех пор, как мы жили здесь летом, росли, как иллирийские цветы.

Когда я поднялась на свой этаж, чтобы переодеться и пойти искать порученных мне детей, я увидела в коридоре Ретика. Она поставила на пол сумки и возилась ключом в замке.

— Ретика!

Она вздрогнула, потом смущенно улыбнулась.

— Здравствуйте.

— Ты уже купила себе одежду?

Она кивнула. Дверь ей поддалась, но некоторое время мы обе не шевелились и стояли молча. Мне нужно было поладить с ней, поэтому я спросила:

— Покажешь?

Ретика поманила меня рукой. Она предпочитала не говорить, если можно было. Я села в кресло, а Ретика стала раскладывать передо мной купленную одежду. Смешные майки, цветастые юбки и джинсовые шорты, несколько умильных, слишком длинных для Ретика свитеров. Количество вещей явно не соответствовало количеству денег, которые я дала Ретике. Я вздохнула.

— Ты ведь хотела одеться соответственно месту.

Тут Ретика улыбнулась, обернулась ко мне с майкой, разрисованной смешными оленями, в руках.

— Но вы ведь сами сказали мне, что я могу просто быть самой собой. А чтобы не мерзнуть, пока я буду самой собой, я купила свитера.

Я вдруг засмеялась, а затем засмеялась и Ретика. Это было не свойственно нам обеим, а потому вдвойне приятно.

В этот момент дверь открылась, с присущей ему бесцеремонностью к нам заглянул Кассий.

— Мы идем гулять? Я еще не все убогие дворцы посмотрел, и вообще хочу в кафе, заказывать еду и кричать вслед официантам!

Я вдруг поняла, что мы с ними поладим.



Я целовала белые цветы, которые вплетала в ее чудесные волосы.

— Ты так прекрасна, моя милая, — сказала я. Сестра засмеялась. Она сидела перед зеркалом, а я была позади нее, вдыхала запах ее волос.

— Он хороший, да? — спросила я. — Ты точно уверена?

— Милая, не так важно, хороший ли он. Важно, легко ли им управлять.

— Но разве тебе не будет противно? Ты ведь не любишь его.

— Я никого, кроме тебя, не люблю, Воображала.

Она обняла меня, и наши отражения в зеркале показались мне фотографией. Может быть, потому что я слишком желала запечатлеть этот момент. Мой милый, мне вовсе не хотелось отдавать чужому мужчине мою сестру. Мне не хотелось, чтобы он смотрел на нее и обращался с ней, как с женой.

Но тогда я не думала, что теряю ее. Мы принадлежали друг другу, и только смерть могла забрать ее у меня. Позже я сомневалась в этом, но не из-за Домициана. Совсем другой человек забрал ее у меня, и совсем в другое, намного более страшное время.

Сегодня же я была счастлива за нее, потому что она была такая красивая и, кажется, довольная.

— Представляешь, Воображала, я выйду замуж, и теперь, когда я решу завести любовника, я буду прятать его в твоей комнате. Не переживай, они не прихотливы.

— Я не буду его кормить, — сказала я.

— Я дам ему с собой сухой корм.

Пионы в ее волосах источали сладостный запах. Я обняла ее, и она закрыла глаза.

— Сегодня нам предстоит сложный день, моя милая. Придется много общаться с Домицианом.

— В таком случае тебе предстоит сложная жизнь, Жадина. Тебе еще долго придется общаться с ним. Примерно всю жизнь.

— О, не переживай, я выдрессирую его, хотя на это и потребуется время.

Сестра взяла с тумбочки стек, хлопнула себя по ладони. Я часто причиняла ей боль, когда пустота донимала ее, и я не знала, будет ли это делать Домициан, и как она объяснит ему свое желание.

Домициан был, если вдуматься, вполне неплохой партией. Старший сын в одной из самых знатных принцепских семей страны, получил отличное образование, и многие прочили ему место в Сенате через год или два. Он был только на пять лет старше нас, а нам в то время недавно исполнилось двадцать. Несмотря на свою молодость, Домициан был серьезен.

Принцепсы остаются детьми дольше, чем представители всех других народов. Когда твое тело позволяет тебе дожить до ста пятидесяти лет, тебе незачем взрослеть. У тебя есть намного больше времени, чем у многих, к тому моменту как их жизни подходят к концу, твоя минует середину.

Это очень расслабляет. Я поняла, дорогой мой, что значит быть взрослой, только после рождения Марциана, но не до конца.

В то время мы с сестрой были совсем маленькими девочками, а вот Домициан, который

был не намного старше, казался мне взрослым мужчиной. В том году он как раз пил слезы бога. Вообще-то не существует правила о том, во сколько нужно причаститься к дару, но многие почему-то выбирают семнадцать и двадцать пять. Первую категорию я совершенно не понимала. Мне не хотелось бы, чтобы мое тело замерло в столь юной, рассветно-розовой точке моей жизни. Я и сейчас с трепетом ловила каждое изменение, мне хотелось превратиться из подростка в молодую девушку окончательно прежде, чем я приму дар.

Остаться подростком навечно для меня было бы все равно, что не досмотреть фильм.

Еще говорили "Чем старше принцепс — тем моложе его тело". В этой пословице была доля правды. В былые времена голода и великих войн, когда молодыми люди считались в четырнадцать-пятнадцать лет, срок жизни принцепсов все равно был примерно равен сегодняшнему, но из-за того, что считалось молодостью вокруг, принцепсы причащались к дару много раньше, чем сейчас. На сломе эпох, наверное, было странно видеть четырнадцатилетних прабабушек.

Я уверена, что чем дальше, тем позже принцепсы будут пробовать слезы бога. Мы зависим от окружающих нас народов больше, чем нам кажется, мой дорогой. Мы вечные дети, стараемся копировать настоящих взрослых.

И Домициан, впрочем, был на редкость рано повзрослевшим и серьезным, но все-таки ребенком. В нем была детская мечтательность, и его покладистое спокойствие тоже было спокойствием мальчика. Но, в отличие от нас, он относился к жизни, как к ответственному заданию. В этом было его неоспоримое достоинство и источник его небывалого занудства.

Сестра смеялась, что выбрала его за красивое лицо. Он действительно был очень элегантным и по-настоящему аристократичным. У него были тонкие, безупречно приятные взгляду черты, чуть волнистые темные волосы и изящные руки. Сестра называла его красивым, для меня же в то время мужская красота все еще оставалась загадкой. Я научилась любоваться мужчинами только года через три после того дня, но и тогда Домициан и не показался мне каким-то особенным привлекательным.

А в день свадьбы моей сестры я верила ей на слово.

Сестра поднялась, покрутилась перед зеркалом, ее пальцы скользнули вдоль тела, словно она проверяла сохранность важной вещи. Она обернулась ко мне и с девичьим, хитрым трепетом спросила:

— Сегодня я красивая?

— Ты красивая всегда, но сегодня ты — богиня.

Она внимательно посмотрела на меня, словно решала, не вру ли я, потом протянула руку и коснулась тонкими пальцами моей скулы.

— Помоги мне одеться, Воображала. Ты ведь не хочешь, чтобы твоя сестра запуталась на пути к своему жениху?

Надевать тогу было, на мой вкус, намного сложнее, чем завязывать галстук, кроме того и делать это приходилось куда реже. Традиционные одеяния наших предков использовались только в свадебных церемониях, как знак уважения к нашему богу, с радостью наблюдавшему за светлыми празднествами своего народа на заре времен.

Обвязать кусок тяжелой, громоздкой ткани сложного покроя правильным образом самому было совершенно невозможно, так что мы с сестрой вместе учились делать это с помощью родственников и видеофильмов. Сначала было забавно, а потом даже интересно, насколько сильно мы можем испортить безупречную алую с золотым ткань, если будем тянуть ее в разные стороны.

В какой-то момент, однако, у нас стало получаться, и мы радостно тренировались снова и снова. Так что в самый ответственный день все вышло легко и приятно. Я обернула алую тогу поверх белой туники сестры и отошла, чтобы посмотреть на результат.

Эпоха тог давно миновала, в повседневной жизни о них напоминали разве что широкие полосы ткани идущие от плеча наискосок на официальных костюмах, однако они были пришиты и оборачивать их самостоятельно было не нужно. Я и не представляла, что подобный анахронизм может смотреться на ком-то так невероятно.

Сестра словно сделала шаг из темных эпох до великой болезни, она стояла передо мной, прекрасная, знатная римлянка, с нежными цветами в драгоценных, золотых волосах. Алый шел ей, придавал величия и опасности.

— Ты так красива, — прошептала я.

— Вот что я называю искренним комплиментом, Воображала.

Она села у туалетного столика, взяла подводку и принялась выверенным движением вести стрелку по веку, ровно-ровно над ресницами.

— Как думаешь? — спросила я. — А у меня когда-нибудь будет жених?

Не то чтобы я хотела, но меня одолело детское любопытство.

— Будет, — сказала сестра, задумчиво глядя в зеркало, словно раздумывая, рисовать ли вторую стрелку или пойти так. — Но это, конечно, должен быть очень настойчивый человек. Не думаю, что ты быстро согласишься.

— Я просто не хочу связывать жизнь с кем попало.

— Не ты связываешь жизнь с кем-то, Воображала, а жизнь с кем-то связывает тебя.

Я замолчала. Мне стало противно и жутковато, потому что я не хотела, чтобы жизнь связывала меня с кем-то, в этом было принуждение мне отвратительное, я не хотела сближаться с людьми.

Тогда, дорогой мой, я еще не знала, как жизнь свяжет меня с тобой, еще не испытала ужаса и позора, которые ты принес мне, и не догадывалась, насколько буквально буду связана с тобой — своей страной, своим ребенком. Я еще не знала, и в то же время что-то во мне уже испугалось, надломилось, как стекло и похолодело, как лед.

— Но он будет любить тебя, Воображала, — сказала сестра. — Потому что ты нежная и сама способна к любви. Она захочет добиться этого от тебя, потому что при встрече ты будешь холодна, но он почувствует, сколько тепла ты способна дать и захочет его.

Все это были пустые, девичьи разговоры, вызывающие романтическое возбуждение истории, которые никогда не сбываются, и тогда я испытала от ее слов восторг и вдохновение, а потом долгое время представляла себя героиней какой-то мутной любовной истории, где мужчина не был никем конкретным и не имел определенного лица, меняя облик вместе с моими пристрастиями к знаменитым актерам. Я и представить себе не могла, дорогой мой, тебя. Ты насмешка над мечтами маленькой девочки. Ты смел, потому что твой разумом затуманен. Ты добр, но способен на невероятную жестокость. Ты красив, но эту красоту не оценишь, потому что ты ведешь себя так, словно у тебя нет тела. Ты обаятелен, и в то же время нереален, словно актер, пользующийся эффектом отчуждения, не проживающий, но лишь показывающий.

Я рухнула на кровать, раскинув руки, словно падала с большой высоты, закрыла глаза, и именно в этот момент в комнату постучались.

Домициан уже был здесь. Скоро все должно было начаться.

Сестра привела в порядок мою белую тогу, а я поправила прическу, и мы пошли вниз. У

лестницы сестра замедлилась, увидев Домициана, стоявшего внизу.

Гости, фрукты и мраморные купальни, дорогие подарки и щелчки фотоаппаратов — все это следовало потом. Тайнство, которое должно было произойти сейчас дозволялось видеть лишь близким родственникам жениха и невесты.

Я быстро спустилась вниз, чтобы посмотреть, как сестра сойдет с лестницы. Она шла, чуть придерживая полы тоги, с очаровательной, вовсе не свойственной ей на самом деле беззащитностью. Сестра была очень ловкой, но сейчас создавалось ощущение, что она вот-вот упадет. Наверное, это чтобы Домициану хотелось подхватить ее.

Он смотрел на сестру восхищенно и нежно. На нем тоже была тога глубокого, синего цвета, который ему с одной стороны шел, а с другой — делал еще бледнее.

Мама и папа стояли чуть поодаль, ближе к двери. Мама утирала платком сухие глаза, папа выглядел самодовольным — еще бы, ведь он нашел сестре самого лучшего мужа.

Родители Домициана, такие же приятные, серьезные и блеклые, как он, стояли чуть ближе к лестнице, переживали, наверное, что в самый последний момент свадьба их сына с будущей императрицей сорвется. Как же они, наверное, были счастливы. Так счастливы, что от радости на каждом лица не было. Ты когда-нибудь замечал, мой дорогой, что счастье в его терминальном проявлении не отличить от страха — те же замершие черты, то же неверие в глазах.

В самое лучшее и в самое худшее мы никогда не можем поверить до конца.

Даже многочисленных братьев Домициана, в честь торжественного дня, удалось заставить вести себя прилично. Они стояли в линейку, от самого высокого к двухлетнему малышу, преодолевающему усталость и скуку.

Мне казалось, сестра спускается вниз бесконечно. И я была не против, чтобы этот момент длился как можно дольше, настолько она была прекрасна. Домициан протянул руку, помог ей преодолеть последнюю ступеньку, и она стала, как богиня сошедшая на землю. Сестра подошла к Домициану, что-то прошептала ему на ухо, и я увидела, как отчетливо он покраснел. Зато и синяя тога стала выглядеть на нем лучше.

Мама подошла к сестре. Она была чудесно одета, накрашена и причесана, выглядела младше нас сестрой, и в то же время я видела ее зависть.

В последнее время мама намного лучше общалась со мной, чем с сестрой. Я была никем, сестра же была лучшей версией мамы — еще красивее, еще знатнее, и с будущим еще более сияющим.

Мама вложила в руки сестры букет из сухоцветов и пшеничных колосьев по давней традиции, и я удивилась, насколько уродливым смотрится этот букет рядом с сестрой. Насколько уродливыми смотрелись бы любые цветы.

Сестра коснулась губами маминой щеки, но мама приняла это с обжигающим холодом, не шевельнувшись. Папа обнял сестру, бережно, но в этой аккуратности не было ничего от любви, словно она была хрустальной вещью, которую он боялся разбить.

Домициан взял сестру под руку, а папа открыл перед ними дверь. Мы, всей процессией, двинулись в сад. За забором, с другой стороны дома, ревела толпа. Они ждали, когда совершится свадьба между императорской дочерью и безвестным, безликим политиком, который с сегодняшнего дня станет звездой.

Голос толпы казался мне прибоем, и я подумала о море. Мы шли сквозь сад, насыщенная летняя зелень источала аромат вечной юности. Я сорвала с куста одну из камелий, подбежала к сестре и поместила цветок ей за ухо. Это был мой последний шанс

прикоснуться к ней, пока она еще не стала женой Домициана. Сестра поймала мою руку и погладила пальцы.

Я увидела храм. Сегодня он был украшен цветами, а земля была умощена вином и медом, дух от которых поднимался и тепло окутывал меня. Мы не вступили в храм, сегодня он был только для двоих влюбленных. Я подошла ближе всех, настолько, что даже поймала укориженный взгляд мамы.

Шаги сестры и Домициана гулко отдавались у меня в ушах, и я с неослабевающим вниманием следила за ними. Домициан нежно вел сестру, и я поняла — он будет хорошим мужем. Потому что он не видел ее настоящей. Думал, она хрупкая и прекрасная куколка.

Тем лучше.

Они остановились у статуи, встали на колени, покорные воле бога, который однажды спас наш народ.

— Бог мой, — начал Домициан. — Позволь мне взять в жены любовь моего сердца, чтобы мы были счастливы и довольны, а оттого добродетельны. Позволь нам усладить твой взор благочестивой жизнью и в мудрости твоей распорядиться властью, которую ты дал нам.

Домициан смотрел в прекрасное, каменное лицо бога, заискивающе улыбался статуе, будто перед ним был живой человек.

Бог не всегда позволял случиться свадьбе, и если он не желал ее последствия были ужасны. В последний раз подобное случилось до моего рождения — молодожены просто упали замертво. Я испугалась, что подобное может случиться и с моей сестрой, прижала руку ко рту, почувствовала под пальцами пульс на губах.

Такого не должно было случиться. Домициан казался добродетельным и искренним, что соответствовало его Пути Человека, сестра же не шла против своего желания, что было важно для Пути Зверя. Браки между последователями разных путей случались редко вовсе не потому, что были запрещены богом. Наоборот, прежде такие союзы считались священными и воплощающими двойственное начало бога. Но последователи Пути Зверя всегда были в меньшинстве и часто вели образ жизни, который отвращал от них идущих Путем Человека.

И все же, вдруг нашему богу что-то не понравится?

— Мое желание стать женой этого человека сильно и страстно, и я достигла своей цели, теперь же дай мне вкусить удовольствие выполненной прихоти, — сказала сестра. Голос ее был сладострастным, и в то же время нежным. Я не знала, насколько наиграна эта нежность и насколько обращена она к Домициану.

— Позволь ей быть моей женой, — сказал Домициан.

— Позволь ему быть моим мужем, — прошептала сестра. Она смотрела не в лицо бога, а на его звериную маску. Затем Домициан смочил пальцами слезы в чаше, коснулся пальцами висков сестры. Она сделала то же самое с ним. И если бог не покарал их за неверное решение, это значило, что они готовы, и все происходит вовремя, как и должно быть.

Платиновые кольца блеснули на ладони у Домициана, и я заплакала, сама не зная от счастья или от грусти.

Что-то закончилось, что-то началось. Теперь моя сестра была замужем за этим спокойным, милым человеком, которому прочили большое будущее. Домициан смочил кольца в чаше, и они сестрой обменялись ими.

Камелия, которой я украсила сестру, упала на каменный пол, когда она обернулась ко мне уже замужней женщиной.

А если бы ты, дорогой мой, взял меня в жены, как того требует мой бог, я клянусь тебе  
— мы оба были бы мертвы.

Прошел ровно месяц с начала моего пребывания в Делминионе, и курортный город, который должен был за неделю мне наскучить, удивительным образом не надоедал. Разогревалось море, и хотя сезон все еще не был открыт, иногда выдавались погожие деньки, в которые можно было поплавать.

Вечерами мы гуляли по набережной, на которую кидалось непокорное море, сидели в ресторанах, изучали мостики и улочки Делминиона, ставшие нам родными.

Ретика и Кассий, которые показались мне такими сложными и пугающими подростками сначала, стали неотъемлемой частью моей жизни. Я привязалась к ним, и мне нравилось проводить с ними время, да и они не так уж спешили от меня избавиться, как я ожидала.

Кассий и Ретика были очень одинокими детьми, и им, наверное, тоже хотелось, чтобы кто-нибудь был рядом. Я многое о них узнала. Кассий, к примеру, рос без матери, и хотя отца он любил, они часто ссорились. Казалось, Кассий не ладит ни с кем, по его рассказам выходило, что у него вовсе не было друзей, хотя в определенном обаянии ему нельзя было отказать. Я и Ретика, хоть и с трудом, но общались с Кассием и даже считали себя по этому поводу дипломатически успешными людьми. От Ретики я даже удостоилась звания "укротительницы придурка", когда сумела запретить Кассию сыпать песок ей в волосы во время споров на пляже.

Честно говоря, я до сих пор не знала, как мне удалось. В мире еще оставались загадки, и это меня радовало.

Мое положение теперь было очевидно во всех платьях, которые я прежде носила, приближалось время смены гардероба. Чем яснее все становилось снаружи, тем проще было внутри. Прекратилась тошнота, все реже кружилась и болела голова, даже сонливость уступила место вполне естественной активности. Живот еще не доставлял особенного дискомфорта, и когда я не смотрела на себя в зеркало, то забывала о том, что у меня будет ребенок.

Иногда я специально размышляла о нем, чтобы подготовиться к его появлению в своей жизни. Я думала, что через шестнадцать лет мой ребенок ничем не будет отличаться от Кассия или Ретики, это будет такое же настоящее человеческое существо, как и все, что меня окружают. Однако, это будет существо, которое создам я.

Думая об этом, я чувствовала в себе невероятную силу, какой прежде и представить не могла. Я способна была создать настоящего человека. Это было удивительное, безупречно-радостное переживание своей божественности. Я способна была создать мыслящее существо, которое будет жить отдельно от меня, иметь собственные разум и чувства, и собственную судьбу. Я хотела наблюдать за ним, хотела вовремя отпустить, как птичку, у которой окрепли крылья, хотела дать ему все, чтобы он смог вырасти кем-то счастливым.

Сейчас, внутри моего тела, это существо набирало силу, чтобы прожить долгую и прекрасную жизнь. Я не была уверена в том, что люблю своего ребенка — сложно было испытать нечто столь глубокое к тому, кого еще не видел, но я знала, что жду его и что мне безумно интересно увидеть его.

Он словно был моим другом по переписке — я не знала его пола, имени, еще не

чувствовала его движений, и в то же время я размышляла о нем, представляла, ждала нашей встречи.

Отвращение, которое я испытывала к своему телу в присутствии Аэция, сменилось радостью. Сейчас, когда он был далеко, я не воспринимала его как часть моего ребенка. Он был разве что донором генетического материала, не имевшим никакого отношения к тому таинству, что происходило со мной.

На его месте, убеждала я себя, мог быть кто угодно другой, и даже если бы я любила, это не было бы важным.

Интересно, думала я, ребенок меня уже слышит? А как он воспринимает меня? Если не знает мира за пределами моего тела, то я для него бог? Или его разум — разум маленького зверька?

Аэций звонил редко и говорил только с Кассием и Ретикой. Я забыла его голос и забыла бы его лицо, если бы периодически не читала газет.

От Северина и Эмили с тех пор, как я отправила их в поместье, вестей не было. Как по мне, это было даже хорошо. Я не рассчитывала на их повторное появление в моей жизни ближайшие месяцев пять.

Жизнь, казалось, налаживалась. Дня четыре в неделю я занималась делами, которые мне присылали принцепсы со всей страны, решала, кто из них действительно нуждается в деньгах и в каком количестве, а работники банка, наверное, видели меня чаще, чем склочных старушек.

Я тратила свой личный капитал, и Аэций не вмешивался, хотя, я была уверена, он знал о том, что я делала. Может быть даже одобрял.

Я предоставила ему распоряжаться деньгами государства и знала, что он поступит с ними мудро, но деньги и ценности, принадлежавшие нашей семье он не трогал.

Вечером, после прогулки по Делминиону, мы брали в ресторане вкусную еду и шли на пляж, расстилали плед, с удовольствием разговаривали, ели и играли в карты, слушая ночное море.

Я все время вспоминала наш с сестрой обед у моря. Время суток изменилось, еда была другая, и другой была компания, но оставалось это вечное море.

И я любила его до сих пор. Любила лунную дорожку, прочерченную на черном морском чреве, любила мокрый песок и ракушки, которые уносили с собой волны, любила солоноватый холод, распространявшийся от ночного моря, и глянцевоый блеск темных волн.

Кассий раздавал карты. Перед нами на пледе стоял термос с травяным чаем, в беспорядке лежали сыры, орехи и сладости, нежная ветчина укрывала еще теплые лепешки, а в песок Ретика посадила бутылку клубничного лимонада, стеклянную, с высоким горлышком и красивой этикеткой.

— Даже лимонад здесь крутой, — сказала Ретика.

— Лимонад как лимонад, — ответил Кассий. — А то тебе если бутылка стеклянная, так и лимонад уже хороший, а?

— Он и вправду неплохой, — примирительно сказала я. Ретика взяла лепешку с ветчиной и выложила на нее кусок мягкого сыра с белой плесенью, откусила и принялась долго жевать.

— Что? Силы не рассчитала? Не для твоего детского рта?

— Ты можешь дать девушке поесть? — спросила я, взяв пару орешков. Кассий взял свои карты и устался в них.



— Я просто хочу сказать ей правду о мире, где она живет.

— Никто не хочет слушать твою правду, — сказала Ретика, наконец, дожевав кусок. —

Ты просто портишь всем настроение.

— Милая, он не всегда это делает, — начала я, но Кассий прервал меня:

— Если я не буду портить тебе настроение, лет в двадцать пять ты поймешь, что жизнь вовсе не то, к чему тебя готовили и, разочарованная и не способная продолжать борьбу, попадешь в рабство к разнообразным психотерапевтам и авторам книжек про личностный рост.

— Звучит ужасно.

— Вот-вот.

— Но не так ужасно, как дружба с тобой.

— Зато дружба со мной бесплатна.

— Я бы сказала, что ты мне даже должен.

Мы засмеялись, даже Кассий. Казалось, он полностью осведомлен о своем дурном характере, а оттого совершенно не обидчив. Впрочем, может быть Кассий просто хотел продемонстрировать всем остальным, как нужно воспринимать грубости.

Мы лениво выкладывали карты, обсуждая прошедший день. Ретика сказала:

— Я, если честно, ничего в спектакле не поняла. Это должна была быть комедия, да?

— Да, — сказала я. — Это и есть комедия.

— Но почему в ней тогда нет ничего смешного?

— Потому что постановка дурацкая, — сказал Кассий.

— Избавь меня от своего негативизма, дорогой. В конце концов, если я не буду вас просвещать, когда вы еще познакомитесь с искусством?

— А можно нам не продолжать знакомство, если мы друг другу не нравимся? — спросила Ретика.

— Конечно, нет. Если бы можно было не продолжать знакомство с кем-то, кто тебе не нравится, мы бы давно отослали Кассия обратно.

Кассий продемонстрировал мне козырного туза, пришлось забрать карты.

— Так-то, — сказал он. — Вы всегда проигрываете. И подлизываетесь к Ретике!

Улыбка его казалась еще белее от серебристого ночного света, лившегося с луны.

Я пропускала ход, надеясь, что Ретика отомстит за меня Кассию. Стянув ветчину с лепешки, чего я никогда не позволила бы себе в любом другом обществе кроме этого, я сказала:

— Смешное заключается в том, что это — сатира. Писфитер — проныра и трикстер, под видом демократии строит место, в котором несогласных подают на пиру.

— По-моему, это жестоко.

— Да, но смешное не всегда приятно. Суть в абсурде. Кроме того, сама ситуация, в которой птицы отбирают пищу у богов — смешна, потому что выставляет их, как беспомощных и нелепых созданий.

— Нет, это богохульство, — сказал Кассий. Я вздохнула.

— Я не могу трактовать для вас Аристофана, если вы его ненавидите.

Ретика запустила руку во влажный песок, принялась на ощупь искать ракушки. Это значило, что игра у них с Кассием напряженная. Я чаще сдавалась и следила за ними. Ретика была куда более азартной, чем Кассий, могла и с кулаками на него кинуться, если считала, что он жульничает.

Они были такими живыми и непосредственными, я восхищалась ими, хотя их разговоры, чаще всего, переходили в ругань. Ретика не слишком громко орала, но в драку кидалась легко, компенсируя довольно-таки шумное поведение Кассия.

Ретика вдруг повернулась ко мне, ее большие глаза по цвету почти сравнялись с луной.

— А как вы думаете, Октавия, разве все-таки не богохульство выставлять такими богов?

Я вздрогнула. Ретика, эта совершенно не похожая на сестру девочка, своим пытливым вопросом, таким логичным в этом возрасте, вдруг напомнила мне ее.

— Там не настоящие боги, а те, кому поклонялись когда-то. До великой болезни. Выдумки или проекции, — сказала я.

— Как твоя самооценка, Ретика!

— Кассий!

Он снова уставился в карты с совершенно безмятежным видом. Я задумалась над вопросом Ретики и стала вспоминать все, что говорила мне когда-то сестра.

— Безусловно, если бы там были, скажем, наши с вами боги, все принимающие участия в постановке, в том числе и как зрители, могли бы уже быть мертвы.

— Но могли и не быть, — сказал Кассий.

— Очень умно.

— Если вы немного помолчите, я смогу закончить свою мысль, — сказала я. — Дело в том, что мне не кажется, что боги мыслят так же, как мы. Мы считаем богохульством то, что было бы оскорбительно для нас. Нас, с нашим пониманием гордости, нашим стремлением нравиться, нашим представлением о том, что мерзко, а что — приятно. Однако, боги никогда не были частью этого мира, их вотчина — ничто и пустота, которые мы называем так, потому что не в силах их осмыслить. Поэтому не каждый грешник наказан, не каждый праведник награжден. Мы можем понять лишь общие направления их желаний, но никогда не узнаем, что движет их мыслями, и обладают ли они разумом вообще в нашем понимании этого слова.

Они молча смотрели на меня. Мне показалось, я сумела их увлечь, и это было очень приятное чувство. Я взяла кусок сыра и налила всем в стаканчики травяной чай. Уют ночи у моря никак не гармонировал с темной и инстинктивно жуткой темой, которую мы затронули.

Я запрокинула голову и посмотрела на низкое, южное небо испещренное звездами.

— Они не имеют ничего общего со всем, что мы знаем о мире. Они разные, но одно в них, совершенно точно, сходно. Все, что мы когда-либо знали, все вещи, явления, предметы и существа мира — не они. Впрочем, наверное, если они являются перед нами, они принимают облик, которые мы в силах осмыслить.

От мятного чая поднимался нежный полевой аромат, уютный и земной, находящийся на противоположном полюсе от предмета нашего разговора — космически холодного и необъяснимого.

— Октавия, а как вы думаете, наши боги разные? Как, ну, например Кассий и лангустин?

Я засмеялась, протянула руку и погладила Ретику по волосам.

— Не знаю, что и думать. Наверное, они принадлежат к одному виду. А может быть они и вовсе одно, части целого. Или наоборот, они совершенно разные, принадлежат к разным слоям мироздания.

Я помолчала, отпила чай, стараясь сформулировать мысль для Кассия и Ретики, таких

маленьких, но разумных людей.

— Мне кажется, что нам не стоит думать об этом. По крайней мере, пока. Может быть однажды боги сочтут нас достойными этих знаний. Но задаваться страшными вопросами без единой возможности найти на них ответы, на мой взгляд, мазохизм.

Чай согрел меня, и я почувствовала, как отступает холод, вызванный моими собственными словами. У меня он ассоциировался с космосом, но на самом-то деле выходил далеко за его пределы.

Мы молча пили травяной чай и слушали, как волны приходят и уходят, забирая с собой ракушки и камни.

— Я не могу представить, — сказал Кассий. Я посмотрела вдаль, туда, где на горизонте начиналась лунная дорожка.

— Представь, что ты оказался в открытом море. Берега не видно ни с одной стороны. Море спокойно, и нигде нет кораблей. Только ты и нечто огромное, бесформенное, и для всех твоих органов чувств — бесконечное.

Кассий и Ретика снова молча смотрели на меня. Ретика сдувала пар, идущий от чашки как можно тише.

— А теперь представь, что ты можешь провести так тысячелетия. От скуки ты впадаешь в сон или безумие, ты забываешь о том, что что-то еще вообще может существовать на свете, кроме этого бесконечного моря. А потом мимо тебя проплывает кораблик. Маленький-маленький в этом бесконечном море. Там люди пьют, танцуют, стреляют друг в друга, влюбляются, смеются. А ты все это время просто плыл в море, понимаешь?

Кассий и Ретика молчали, и я, взяв ракушку, запустила ее в голодное море. Еще некоторое время мы ели и пили чай, никто не говорил ни слова, а усилившийся ветер гонял по пляжу песок.

— Что ж, — сказала я весело. — Наверное, пора собираться. Время позднее, да и ветер портит нашу еду.

Мы не спеша собрали все в корзину, и Кассий, ее хранитель, понес свою вечную ношу к отелю.

— Ты очень мужественно смотришься, Кассий, — засмеялась Ретика.

— Да помолчи ты!

Кассий и Ретика снова лениво перекидывались репликами, развлекая себя как всегда. Подростков легко впечатлить, но и впечатления эти кратковременные, как вспышки. Я стала задумчива и мрачна, Ретика и Кассий же быстро вернули себе прежнее настроение. Вот почему чудесно быть ребенком — ты необычайно гибок, а все эти разговоры и случайные раны, ими оставленные всплывут только годы спустя.

Кассий отказался ехать с Ретикой на лифте, и мы вошли в широкую, с трех сторон окруженную зеркалами кабину вдвоем. Ретика кинула быстрый взгляд на меня, а потом сказала:

— Страшненько вы описали.

Я видела, как она ковыряет пол носком кроссовка. Затем Ретика снова посмотрела на меня, и я увидела свое отражение в ее неземных глазах.

— Но спасибо, — сказала Ретика, почесала коленку прямо над пластырем с нарисованным на нем зеленым осьминогом.

— За что?

Двери лифта распахнулись, и Ретика мне не ответила.

— Спокойной ночи, милая, — сказала я. Ретика только кивнула. Когда ее общительность достигала низшей точки казалось, что слова из нее нельзя выманить ничем.

Я зашла в свой номер, ставший моим домом, привычный и родной. Приняв душ, я долго мазалась кремами сестры — для рук, для лица, для тела. От сестры всегда исходило множество переплетающихся, путающихся друг с другом запахов, она любила парфюмированную косметику и, казалось, использовала ее, чтобы составить свой портрет из множества противоречивых ароматов.

От ее запаха могла болеть голова, но я любила его всем сердцем. Мне нравилось засыпать, представляя ее живой и тонущей в разнообразно переливающимися ароматах.

Я ощущала пудровый запах ее крема для рук, розу на губах, миндальный аромат ее ночного парфюма и исходящую от волос ваниль. Переплетение горечи и сладости, которое казалось бы удушливым всем, кроме меня, а я вдыхала его с благоговением, словно воздух вокруг меня впервые за день наполнился кислородом.

Не хватало только одного компонента, бесценного — ее собственного запаха. Но он приходил ко мне в момент, когда я готова была провалиться в сон. Ассоциация, всплывшая в тумане засыпающего сознания. Ненастоящая, нереальная, эта секунда в то же время была самым чистым и прекрасным завершением дня, моментом наивысшего счастья.

Только вот сегодня блаженное наваждение растянулось до бесконечности, и я боялась пошевелиться, потому что оно могло покинуть меня в любой момент. Я ощущала сплетение ее божественных ароматов, но главное — присутствие ее самой. Запах ее кожи, который я никогда в жизни не забуду, проникал в меня, все сильнее будоражил сознание, и сон сошел. Я подумала, что готова камнем замереть, лишь бы это не прекращалась. Только теперь я ощутила, как сильно ее неприсутствие. Оно было даже сильнее, чем моя скорбь.

Нет, я не страдала, но части меня отчетливо не существовало.

Наверное, подумала я, все из-за того, что сегодня я снова перечитывала ее письмо. В глубине моего разума происходили процессы, мне непонятные и нечувствительные, но заставившие меня обонять ее, будто наяву.

А затем я услышала ее голос:

— Воображала! — сказала она. — Моя милая девочка, твое сердце тоскует.

Я прошептала одними губами:

— Тоскует, — и поняла, что не издала ни звука, воздух замер в легких.

— Моя Воображала, какая же это чудесная и смелая черта — иметь столько любви.

Я все не решалась открыть глаза. Голос раздавался внутри, и в то же время извне, его источником была я сама, но он распространялся дальше, как волна, и вот я уже не была уверена, откуда он идет. Законы физики не действовали на этот голос, ведь он существовал используя исключительно силу моей скорби — этих связок, этого горла, этих прекрасных губ и языка уже не было на свете, и только память об этом голосе, столь подробная, что могла показаться реальностью, вызвала его к жизни.

Я попыталась убедить себя в том, что со мной не происходит ничего настоящего, ничего, что могло бы заставить меня открыть глаза. Но это не было правдой. То, что происходило со мной и было реальностью, той последней реальностью, в которой находят приют отчаявшиеся. Безумием.

Не открывай глаза, думала я, не поддавайся, Октавия. Ее больше нет.

Но она была, и ее существование было так же ощутимо, как мое собственное. Я словно уже спала, по крайней мере спала часть меня. Состояние было, как в неприятном сне, таком

липком, который не смыть под утренним душем. Мысли ворочались тяжело и были неясными, словно не до конца переводимыми на вербальный язык. Темное, мутное состояние кошмара, от которого нельзя проснуться и соответствующий этому состоянию жар накатывали на меня снова и снова, волнами. Но в то же время мои физические ощущения не позволяли мне убедить себя в том, что это сон. Чувства не были приглушенными, трудноразделимыми. Наоборот, каждое было бездумно ярким, обжигающим.

Даже ночной воздух, казалось, разрывал мои легкие, а вкус соли оседал на языке, смешанный с горечью.

— Открой глаза, моя девочка. Посмотри на меня. Разве не этого ты хотела?

Я словно улавливала ее слова каким-то другим органом чувств, не слухом. Ощущение было такое, словно звук проходит через неподходящее для него приспособление, непрерывно искажается, и я лишь усилием воли могу привести его к тому, что я привыкла слышать.

— Жадина, — снова попыталась сказать я, но голос не пришел. И тогда я открыла глаза. Она стояла у моей постели, не облаченная ни во что, кроме ран, которые оставила себе сама и которые оставил ее телу Аэций.

Я заплакала, не сумев справиться с отвращением перед изуродованной красотой моей сестры. Только тогда я поняла, как страшны были мои мысли, когда я в минуты смертного отчаяния звала ее и мечтала о том, чтобы моя сестра вернулась.

— Не плачь, моя милая, — прошептала она. — Ты не должна плакать. Я здесь не для того, чтобы причинять тебе боль. Я больше никому не причиню боли, ведь меня больше нет.

Кончики ее пальцев дернулись с быстротой, которая почти не оставила мне возможности увидеть движение. А ведь с такими ранами она, наверное, не могла бы пошевелить руками, будь она реальной.

Я подалась назад, резко, с ужасом и отвращением, обусловленными инстинктами, едва не упала с кровати.

— Неужели ты не хочешь меня обнять? — спросила сестра. Ее глаза не двигались, взгляд не скользил. Неподвижный, мертвый, он замер в точке где-то у меня над головой.

— Что ты здесь делаешь? — спросила я. Из моего горла вырвался хрип, едва сложившийся в слова.

— Я здесь, потому что мы одно, — сказала она. — Ты всегда будешь нести часть меня, дорогая, где бы ты ни была. Мы связаны, объединены, мы с тобой никогда не расстанемся.

И я почувствовала, как холодеют от застывшей крови уже мои руки. Словно умирание распространялось во мне. Я взглянула на свои ладони и увидела, как синевато-черные пятна ползут вверх, путешествуют под кожей, словно паразиты.

— Помнишь, моя Воображала, мы в детстве читали книжку?

Она не была враждебной, хотя причиняла мне ужас и боль, это была моя сестра, и сквозь искажения ее голоса пробивались узнаваемые интонации. Она любила меня, она пришла ко мне, потому что любила меня.

Я бросилась к ней, но она, словно мираж, оказалась в другом месте, как только я достигла ее. Сестра продолжала говорить:

— Там были девушки, сросшиеся близнецы. Умерла одна, умерла и другая. У них был общий кровоток, и смерть распространилась по нему.

Я заметила, что вместе с голосом распространяется и жужжание. И хотя голос не шел из ее рта, я присмотрелась к темноте между ее губ и увидела, что там копошатся какие-то

маленькие, подергивающиеся существа.

— Дай мне тебя обнять, — прошептала я.

— Ты испугаешься, Воображала.

Сестра засмеялась, и вместе со смехом с ее губ сорвались осы. Они, как пули, метнулись ко мне. Я закричала, стала отмахиваться от них. Я больше не думала о том, что все происходящее невероятно, неправильно. Меня волновало только то, что происходило с моим телом, я не способна была мыслить за пределами ощущений, самым разумным из которых являлся жгущий меня страх.

Я отшатнулась, а сестра сделала шаг ко мне. Но наша близость была иллюзорна. Я знала, я не смогу ее обнять.

Осы все срывались с ее губ, словно теперь стали ее дыханием, и вот вокруг уже был целый рой. Я ощущала в себе их жала, и боль была острой, но в то же время я не видела следов и от их отсутствия чувствовала себя еще более незащищенной.

— Я пришла, чтобы предупредить тебя, моя милая. Тебе угрожает опасность, большая опасность.

— От того, что тебя больше нет?! — крикнула я.

Ее неподвижные глаза, казалось, поймали в радужки луну, сделавшую их чуть живее.

— Можно сказать и так тоже, моя Воображала.

Я пыталась ловить ос руками, липкая дрянь их яда и похожих на слизь внутренностей растекалась по моим ладоням, но все новые насекомые слетали с губ сестры, словно в ее легких жило и пульсировало их гнездо.

— У меня больше нет сердца, милая.

Я метнулась под одеяло, как маленькая девочка, надеясь, что жужжание прекратится, и все окажется просто мороком. Но нет, мерзкие тела насекомых ударялись об одеяло, звенели крыльями, извивались.

— Но я все равно люблю тебя.

— Сделай, чтобы они ушли. Пожалуйста, Жадина, — выла я, свернувшись калачиком под одеялом. — Забери их.

— Я больше ни над чем не имею власти, моя родная.

Ее голос звучал так ясно, словно нас вообще ничто не разделяло. Словно мы обе были в моей голове. Но это было не важно. Все стало реальным, осязаемым, настоящим.

Между мной и миром больше не было границы. Мои желания, страхи и страсти вырвались наружу и заполнили все. Я откинула одеяло и увидела, что сестра стоит у окна, смотрит на сияющее от звезд небо.

— Словно кто-то рассыпал блески, — протянула она. Так мы говорили о ночном небе в детстве. Маленькие девочки, окруженные красотой. Сестра скользнула пальцами к ране на груди, открывающей разоренный приют ее сердца.

— Все, кто любили меня прежде, предадут тебя, хорошая моя. Ах, как жаль, что я не сумела заставить их поклоняться тебе.

Осы теперь не жалили меня, но летали вокруг, мешая видеть. Идти было страшно. Казалось, пространство искажается самым невероятным образом. Наверное, и шаг у меня был, словно у пьяной. Я чувствовала, что меня качает, словно на волнах. Мне хотелось выйти на воздух, его не хватало так судорожно, что в грудной клетке пылал костер.

Я распахнула дверь на балкон, и осы впились в ночное небо, словно другие, черные звезды. Сестране двинулась, она все еще стояла позади, словно не видела меня, словно ее

тело уже было бесполезным приспособлением, а сознание подчинялось другим, неведомым мне чувствам.

— Ты должна быть осторожной с теми, кого я любила, — с нажимом сказала она. — Не позволяй им прикасаться к тебе, а тем более не позволяй им забирать твои ценности.

Она сказала:

— Не стоит быть, когда сойдут воды, лучше есть вишню, чтобы сделать ее похожей на кровь.

Ее слова будто лишь поверхностно, только грамматикой были связаны друг с другом. Бессмыслица ее речи испугала меня еще сильнее. Звезды на ночном небе казались яркими до боли в глазах, словно они приблизились ко мне и заглядывали мне внутрь.

— Никто тебе не поможет, и я не помогу, моя милая. Мы все исчезаем.

Я чувствовала холод, распространяющийся по мне, смертный и мерзостный. Я боялась, что он доберется до сокровища внутри меня, до моей тайны, до ребенка. Я была наполовину мертва без сестры, но он был превосходно жив.

Я взглянула на море, словно оно одно было реальным, и ужас заставил меня завопить, совершенно нечеловечески, словно я никогда и не знала, как люди просят о помощи.

В море не было воды, но оно было таким же бескрайним, безбрежным и полным вздымавшихся волн.

Только вот это было море насекомых. Извивающееся, жужжащее, копошащееся море мерзких тварей, ни на секунду не прекращавших движение. Их волны накатывали на берег, оставляя своих покрытых хитином мертвецов, их жужжание поднималось к небесам, а луна освещала их сияющие спины.

— Они заберут тебя в свое море, — сказала сестра. — Они уже идут сюда.

Я не осознала смысла ее слов, но ужас перед морем заполнил меня полностью. Я видела, как море становится все гуще и продвигается все ближе к отелю.

Они шли за мной, и я знала, что мне нужно выбраться отсюда любой ценой. Я попыталась вылезти на парапет, чтобы добраться до пожарной лестницы, не осознавая, что за глупость совершаю, думая только о том, что мне нужно на крышу. Я даже не представляла, что туда могут быть другие пути. Мышление вдруг стало одномерным, направленным исключительно одной линией только к одной точке. Страх сделал меня чудовищно примитивной.

Не успела я перелезть, как чьи-то руки, даже две пары рук, схватили меня, и я заверещала. Сестра сказала:

— Они сбросят тебя в море.

И я принялась отбиваться изо всех своих скудных сил.

— Октавия!

— Успокойтесь, пожалуйста!

Голоса Ретика и Кассия отрезвили меня. Секунды, на которую расслабилось мое тело, хватило им, чтобы утащить меня к балконной двери. Я плакала и не могла остановиться.

— Что случилось, Октавия?

Сестра сказала:

— Они не поймут. Никто не поймет.

Струйка крови стекала у нее из носа, а в ямке над ее верхней губой устроилась оса, словно кровь была медом, и она питалась им. Паслась. Что за глупость?

— Куда вы смотрите, Октавия? — спросила Ретика шепотом.

Кассий отдернул ее.

— Ты что не видишь, она чокнулась! Нужно ее с балкона забрать.

Мое тело словно перемещалось в пространстве само, я старалась шевелиться, но мне мешало ощущение полета.

— Скажите хоть что-нибудь, — просила Ретика. Я хотела ей сказать, хотела попросить помощи и поведать о своем ужасе, о том, что я совсем одна, настолько одна, насколько никогда прежде не была. Я видела свою мертвую сестру, смотревшую на усеянное звездами небо. Я видела море, состоявшее из мерзких тварей. Я видела ос, поднимавшихся из тела сестры. Они рассеялись по потолку, похожие на мерзкие наросты, на корки лепры.

Но я не могла ничего сказать. Язык словно онемел. У меня получилось только выпустить воздух, но я не могла вложить в слова никакой силы. Я открывала и закрывала рот, как рыба, и горько плакала, потому что ощущала себя абсолютно бессильной.

Кассий втащил меня в комнату, закрыл балкон и, словно бы для надежности, прислонился к нему спиной. Сестра стояла рядом с ним, обнаженная и покрытая кровью, но он не обращал на нее внимания, и я засмеялась.

Какой подросток может не заметить обнаженную женщину рядом?

— Звони ему, — сказал Кассий. — Я за ней прослежу.

Ретика метнулась в кабинет, а Кассий остался со мной. Я указала пальцем на сестру. Он проследил направление моего движения, и лицо его стало чуточку растерянным. Я поняла, он испугался, но не сестры, а того, что я вижу что-то, чего не видит он.

— Октавия, все будет хорошо, — сказал он. Потом добавил:

— Наверное.

И еще:

— Если честно, я не знаю. Вообще-то дела скорее плохи.

Я смотрела на него, не совсем понимая, реален ли он. В отличии от сестры, замерших на потолке насекомых, звенящего жужжания близкого и страшного моря, Кассий был тусклый, как будто его облили растворителем, и он медленно исчезал, расплывался. Стоило коснуться его, и в нем образуется дыра.

Я захотела позвать его, но смогла только рот раскрыть и издать стон.

— Я не хотел вас пугать! Я думал, вы сами с этим справились. Я имею в виду, что все будет отлично! На рассвете все мы обнимемся и пойдем купаться.

— На рассвете никого не останется, — сказала сестра. Я зажала уши.

— Я тоже не люблю эту оптимистичную чушь, — сказал Кассий, усмехнулся, а потом вдруг бросился ко мне и крепко обнял.

— Только придите в себя, пожалуйста! Нам очень за вас страшно!

Я слышала голос Ретика, глухой и будто бы совсем далекий. Кассий гладил меня по голове, словно это я была маленькой девочкой, и это тепло, исходящее от его тела и прикосновения совсем не вязались с мальчишеской злостью, которой он был переполнен обычно. Я захотела поблагодарить его, но голос не пришел, и я смогла только поцеловать его в щеку, почувствовала, как он покраснел.

Следующие часа четыре, а может и больше, наверное, можно было назвать самым странным периодом моей жизни. Кассий и Ретика ни на секунду меня не оставляли, но в то же время мое одиночество только росло.

Ретика даже пела мне песенку нежным шепотом. Песенка была невероятно красивой, о цветах и птицах, которые искупают в мире любой ужас, даже смерть.



Я слушала ее, и на пару минут песенка успокаивала меня, а потом я видела, как из щели под дверь вместо света струятся мерзкие насекомые. Они были, словно вода, они текли, и их бесполезные длинные лапки почти не шевелились, только туловища извивались.

Я забиралась на кровать и бессловесно просила сестру забрать их. И сестра манила их, словно была им хозяйкой, и они забирались в ее раны, в ее рот и нос, внутрь нее, я видела, как они ходят под ее кожей.

Кассий принес мне чай, но я не могла его пить, потому что не могла смотреть на свои руки, посиневшие, будто у трупа. Я вытирала их об одеяло, пока они не стали красными.

Я плакала оттого, что вместе со мной погибнут мое дитя и моя страна. Я не понимала, от чего умираю. Я только знала, что я окажусь в жужжащем море, а синева распространится по мне.

Он пришел с рассветом. Открыл дверь, и я закричала, потому что насекомые хлынули в комнату.

— Дядя Аэций, мы услышали крики и прибежали к ней, — говорила Ретика.

— Она чуть не сиганула в окно, — рассказывал Кассий. Я смотрела на сестру, шевелила губами, не издавая ни звука.

— Уходи, милая, уходи. Он осквернил твое тело, не смотри на него.

— Он осквернил твое тело, Воображала.

Я попыталась давить насекомых, но мне было слишком отвратительно, и я вскочила на кровать, принялась раскачиваться, по детской, архаической привычке, чтобы себя утешить. Аэций смотрел на меня. Он словно бы был такой же мертвый, как сестра, его взгляд застыл точно так же. Он махнул рукой Ретике и Кассию, и они вышли за дверь, как ученики, которых выгнали из класса.

Я утерла слезы. Впервые он не вызывал у меня отвращения. Мне было так страшно, я была в столь кошмарном сне, существовала в таком ужасе, что Аэций ничего не добавлял и не убавлял.

Он сделал шаг ко мне, и я не шелохнулась, не попыталась убежать или спрятаться. Он смотрел на меня так, словно видел в первый раз.

Наверное, я представляла собой жалкое зрелище. Растрепанная, в ночной рубашке, заплаканная и обнимающая подушку, как маленькая девочка — я вовсе не была похожа на императрицу.

А он не был похож на императора в своей простой одежде, с радужками, словно наполненными водой. Он подошел к моей кровати и сел рядом со мной. Я обернулась к сестре, но она все еще смотрела на море.

— Оно все поглотит, — сказала сестра. И я беззвучно повторила ее фразу. Аэций внимательно смотрел за мной. Но вовсе не так, как Ретика и Кассий, он не ждал, что я попытаюсь кинуться с балкона или брошусь на него. Он просто изучал меня, словно бы мы разговаривали, и я рассказывала ему что-то о себе. Эта спокойная внимательность позволила мне хоть немного расслабиться.

Он не просил меня говорить и не спрашивал, что со мной происходит. Некоторое время мы смотрели друг на друга, и у меня из глаз текли слезы, но это не были слезы горя. Я чувствовала себя так, словно признаюсь ему в чем-то.

Когда слезы иссякли, он протянул руку и коснулся влаги на моих щеках. Затем он осторожно взял у меня подушку и укутал меня одеялом. Я почувствовала себя маленькой девочкой, которой приснился кошмар. Только прежде я никогда не была одна.

Аэций сказал:

— То, что с тобой происходит — пройдет. Скоро станет легче.

Я посмотрела на него с доверием, словно он и правда знал. Наверное, впрочем, он единственный из всех, кто был со мной рядом, знал, как это — сходить с ума.

— У всего этого есть смысл. Значение. Это только знак. Наш ребенок унаследует моего бога. Мой бог отметил тебя. Такое должно случиться лишь один раз.

И тогда я ударила его. Я, наверное, била его не очень сильно, но ожесточенно, со злостью, вымещая всю свою боль.

То, что со мной творилось — творилось из-за него. Все, что случилось — случилось из-за него. Он терпел все удары, не шевелился, словно боль для него ничего не значила, а унижения не существовало.

Когда я почувствовала боль в руке и стала растирать запястье, он сказал:

— Сосредоточься на абстракциях. Когда реальность распадается, лучше всего работают вещи, которые никогда не были совсем реальны. Давай считать.

Он сказал:

— Один.

Потом сказал:

— Три.

Потом сказал:

— Пять.

Он всегда оставлял место для меня, но я не могла сосредоточиться и не понимала, зачем это нужно. Казалось, он может заниматься бессмысленным счетом вечность. И для меня всегда оставалось место в стройных рядах его чисел. Я и не заметила, как начала заполнять пропуски про себя, а еще через некоторое время не поняла, как мне удалось сказать:

— Пятьсот семьдесят восемь.

— Пятьсот семьдесят девять, — ответил он. И мы начали считать вместе. Сначала мой голос был слабый, болезненный, но все больше он креп, и, досчитав почти до двух тысяч, я уже говорила громко, словно вещала с трибуны.

— Хватит, — сказала я, когда мы добрались до трех тысяч пятидесяти двух. Я посмотрела в сторону окна и не увидела там сестры. Комната была чиста от насекомых, а прекрасное море гремело волнами, как ему и полагалось.

Он согласился со мной.

— Хватит.

— Что со мной происходило?

— Этого никто, кроме тебя, знать не может.

— Я видела сестру. И насекомых. Я думала, я умираю. Я никогда прежде не испытывала такого страха, и в то же время я была заторможена. Я не понимаю, я даже не могу вспомнить, как все кончилось.

— Психоз схож со сновидением больше, чем ты думаешь. Ты проснулась.

Я свернулась калачиком, сильнее закутавшись в одеяло. Невероятная усталость, казалось, подчинила себе все тело.

— Тебе нужно поспать, — сказал он.

— Волны это погремушки моря, — прошептала я, слушая плеск волн. — Море — маленький, капризный ребенок.

Он протянул руку и погладил меня по волосам. Это движение, лишённое всяческого

желания, не вызывало у меня оторопи. Может быть, мои ощущения просто притупились от усталости. Сейчас у меня не было ответа ни на один вопрос.

— Я не смогу заснуть, — сказала я.

— Ты сможешь. Однажды мы все засыпаем, что бы с нами ни случилось. Все закончилось, Октавия.

Меня знобило, и я хотела человеческого тепла, поэтому я не оттолкнула его, когда он лег рядом. Он не обнимал меня, не двигался, я только ощущала тепло его тела, словно больше ничего в нем и во мне не было — ни злости, ни страха, ни той, ушедшей недавно, войны.

Он был источником тепла, а я жадно присваивала крохи этого тепла. И хотя я совершенно не двигалась, еще никогда я не льнула ни к кому с таким голодом внутри.

— Я не знаю сказок, — сказал он. — Но давай попробуем поговорить еще о чем-то, что не до конца реально.

И он сказал:

— Меня звали Бертольд, и это ты знаешь. Я жил богато для обитателя Бедлама. У меня не было сложного детства или чудовищной катастрофы, заставившей меня возненавидеть Империю. Я даже не был несчастен. Но я видел, как несчастны другие. Это причиняло мне боль, с которой я не мог жить. Я был обычным человеком во всем, кроме одного — я не мог не чувствовать людей вокруг меня. Это делало меня жестоким.

Я слушала внимательно. Сейчас меня больше увлекала мелодика его голоса, чем смысл слов. Он говорил напевно, словно это была колыбельная для меня.

— Те, кто вернулся с войны в Парфии были готовы воевать еще. Они привыкли к тому, чтобы видеть смерть. Им было нечего терять. Я был намного младше них, и мне было сложно убедить их в том, что я прав. Кое у кого из них оставалось оружие. Кое-кто сумел украсть его. Кое-кто сумел купить. И все сумели скрыть. Меня не окружали интеллигентные люди с искрами в глазах, и я тоже не был таким. Я просто хотел, чтобы прекратило болеть. Я страстно желал этого.

Я заметила, что он говорит неправильно, и пусть это едва заметно, но речь его не вполне гладкая. Варварский язык ведь устроен совсем по-другому не только в фонетике, но и в грамматике.

— Что случилось дальше, ты знаешь. Когда солдаты Империи приехали разгонять мирную демонстрацию, их встретили хорошо вооруженные, но, главное, отчаянные люди. Для устрашения мы развесили их трупы на деревьях. Мы забрали их оружие. Мы пошли дальше. Я знал, что мы победим, потому что мы были правы. Я не боялся умереть, потому что смерть, это не страшно. Страшно это быть неспособным что-то изменить. Нас приняли ведьмы и воры, и мы предложили им сражаться вместе с нами. Мы предложили им то, что нельзя было получить, не пролив крови — свободу. Я ничего не делал для того, чтобы росла моя армия. Этого хотели люди, и это подтверждало, что я прав. Что мое дело — правое. Я боялся, до слез боялся, но не крови и не смерти. Совершенно других вещей, которые вы не в силах были понять.

Я чувствовала, что засыпаю. Аэций рассказывал мне о том, кем он был, мешая факты из газет и личные откровения, и я хотела услышать все, с такой жадностью читают о чудовищных преступлениях. Но внутри меня словно отогревалось скованное чудовищным холодом сердце, и я чувствовала, что проваливаюсь в сон куда более спокойный, чем стоило ожидать.

Перед тем, как сон, черный и лишенный тревог, проглотил меня, я услышала:

— А может быть все было совершенно не так. В конце концов, прошлого, как и будущего, уже нет. В следующий раз я придумаю тебе историю интереснее.

Он появился в нашей жизни два года спустя. Если бы я только знала, чем все закончится, я бы ни за что не заговорила с ним, слова бы ему не сказала. Жаль, что судьбу не изменишь, мой дорогой. Жаль, что не всегда можно распознать ядовитую змею сразу.

Ко времени нашей встречи с ним, Домициан наскучил сестре. Он был ее домашним животным, послушным и хорошо воспитанным, но совершенно ничего не значившим. Иногда сестра гладила его по голове, когда мы сидели за чаем, и казалось, словно она даже мысли не допускает, что он такой же человек, как и она.

Ей доставляло удовольствие играть с ним, ласкать и заботиться, но отношения эти были унижительным.

Домициан никогда не касался страсти, пылавшей в сестре, и мне это нравилось. Он не был опасен для устоявшегося порядка вещей.

Он ничего не знал о ней. Это я была той, кто спасал сестру от пустоты безумными ночами, когда для нее подвигом было даже дышать. Домициан никогда не спрашивал о следах плети на ее спине. Наверное, думал, что сестра ему изменяет.

Домициан не знал, что ее может спасти только боль. Не мог представить, что так бывает.

Сестра проводила время с последователями Пути Зверя, но никогда не рассказывала мне о том, что они обсуждают, что делают. Наверное, это было проявление заботы. Я изо всех сил не хотела знать.

Я стегала ее плетью, оставляя отметины на спине и заставляя ее чувствовать себя живой, но я не могла представить и не хотела понимать, как она может снова и снова возвращаться к людям, которые сделали это с ней. И с собой.

Сестра говорила, что исполняет священную волю нашего своенравного бога в себе. Говорила, что только выйдя за пределы человеческого, она может познать его.

Я же могла познать нашего бога лишь стремясь ко всему человеческому, следуя вектору его желания, а не природы. Это казалось мне смешным. Люди, так воспевавшие саму природу страсти и желания, упорно хотевшие приблизиться к богу, игнорировали его собственное желание стать похожим на нас, людей.

Но я никогда не говорила об этом сестре. Я не хотела лишать ее чего-то важного. В то время я вообще много молчала.

Когда я приезжала в Город всегда находились приемы и встречи, на которых нам нужно было присутствовать, и отдыха не получалось. Я чувствовала себя неуютно среди украшенных бриллиантами людей, умеющих разговаривать о политике так, чтобы не попасть в беду и любящих только деньги.

Все происходящее казалось мне фальшивым и скучным, я жила только в мире книг, не думая о том, что происходит снаружи. Тогда, дорогой мой, я поняла бы тебя. Меня вдруг затошнило от золота и лицемерия, из которых состояла жизнь. Думаю, я вошла тогда в возраст бунта и сепарации и пассивно противопоставила себя существовавшему в моем мире ценностям.

Я не грезилась о том, как реформировать мир, я предпочитала радикальный уход от него. На мне не лежало никакой ответственности, я не делала ничего плохого или хорошего. Я

погрузилась в мир книг и даже написала пару исследований об утопиях и дистопиях в творчестве имперских поэтов прошлого века. Я спряталась за терминами и образами, нырнула в мир литературы и была счастлива тому, что мне ничего не нужно видеть.

Там, в выдуманных даже не мной мирах, я чувствовала себя как дома, во всех же остальных местах я была словно бы незванным гостем. Это ощущение не оставило меня и сейчас. Мой дорогой, я хочу жить, но в первую очередь ради того, чтобы фантазировать и мечтать о других, несуществующих мирах.

Теперь это мое главное, тайное удовольствие. Тогда оно было моей позицией. Я воевала с миром ожесточенно и кроваво, с мясом я выдирала из него себя.

Именно этим я занималась в тот день, когда мы встретили его. Я размышляла о концептуализации бессмертия, уподоблении богам и повторном даре — бесплотных мечтах поэтов эпохи индустриализации, вообразивших, что боги оставили их. Эти бунтари и насмешники мечтали о том, как боги во всем их золоте и тьме, сойдут на землю, чтобы убедить грешное человечество в том, что оно живет неправильно.

Но их образы — разверзшиеся облака, рассыпающееся на куски солнце и тьма, поднимающаяся из сердца земли, поражали меня своей эсхатологической красотой. Я испытывала визионерский ужас перед картинами всеобщего падения, и в то же время ощущала удовольствие, созерцая их, словно они были перед моими глазами.

Я представляла, как взорвутся звезды (но ты этого, конечно, не поймешь, ведь это глаза твоего бога), потоки огня хлынут на землю, проникая в тела богатых лицемеров, окруживших меня.

Фантазии эти были настолько яркие, что мне казалось, я сейчас увижу, как лопаются от жара бокалы с селективным вином в их украшенных кольцами руках.

Как только я выходила из мира своих фантазий, на меня наваливались скука и мерзость от пустых разговоров. Я умудрялась автоматически, но довольно успешно отвечать господину Тиберию, рассуждавшему о курсе денариев в связи с улучшением отношений с Парфией и инвестициями в их промышленность.

Мне хотелось сказать: Посмотрите, господин Тиберий, вы знали меня совсем ребенком, а я видела вас, и вы казались мне неприятным. Как странно мы воспринимаем людей в детстве — они кажутся нам выше и властнее, чем они есть!

Но я говорила:

— Отец предложил весьма здравые условия. Полагаю, они не могли не согласиться.

Язык шевелился словно сам по себе. За окном, я представляла, в этот чудесный вечер загорится солнце, и ночь станет неотличима от дня. О, видения прошлого, ни одно из вас не сбылось, думала я, в этом мире угасающих сердец.

Поверь мне, милый мой, я была очень и очень смешной. Но ты бы, конечно, не засмеялся. А вот он засмеялся. У него был громкий, какой-то развязный смех, и это заставило меня обернуться.

— О, госпожа, надеюсь дело не только в нашем отце, иначе нам придется полностью сменить дипломатический аппарат, — сказал он, и его зубы, почти неестественно белые, как сережки из поддельного жемчуга у официанток, заблестели.

Я улыбнулась ему, потому что меня удивил его смех. Так громко смеяться было не принято и невежливо, но этот человек, и по лицу его было видно именно это, ни в чем себя ограничивать не привык.

— Прошу прощения, — сказала я. — Разумеется, я не хотела приуменьшать заслуг

ваших...

Но он посмотрел на меня так, что я замолкла. Во взгляде у него читалось абсолютное понимание моей смертной тоски от заученных реплик. Он и сам скучал. А, может, он был так чувствителен ко мне, что я приняла свою собственную скуку за его.

Это был молодой человек примерно нашего возраста, высокий и тонкий до изящности, свойственной скорее рисункам. Кожа у него была смуглая, с тем золотым оттенком, который выдавал в нем иноземца, а черты острые, словно бы он долго и тяжело болел. Глаза его обладали тем мягким, карим оттенком, который многие называют ореховым, но мне он всегда казался скорее карамельным.

Мимика у него была подвижная, казалось, его улыбка сменила свое значение несколько раз за наш короткий зрительный контакт. Он не был похож на избалованных и пресыщенных молодых людей, напротив, взгляд у него был цепкий и любопытный.

— О, вы ведь Октавия, младшая дочь императора! — сказал он, не выказав при этом трепета, свойственного жителям Империи. В голосе его любопытство с весельем смешивались в коктейль, который показался мне приятным и не переслащенным.

— Вы ведь не против, если я украду ее, господин Тиберий?

— Разумеется, нет.

— Забавно было бы, если бы мы с вами недопоняли друг друга из-за разности культур, и вам пришлось бы свидетельствовать императору о похищении его дочери!

Он подмигнул мне, а затем взял меня за руку и повел к балкону.

— Не переживай, — сказал он. — Меня не пропустят с тобой через границу. Я скорее могу убить тебя, чем похитить.

— Вы мне угрожаете? — спросила я. Он засмеялся, локтем толкнул дверь на балкон, сделав вид, что едва не упал, но я прекрасно видела, что он ловчее, чем хочет казаться. У него были смешные повадки, словно у ребенка. Дети совершают больше движений, чем нужно и наслаждаются тем, как работает их тело. Казалось, словно и его вычурные повадки направлены прежде всего на получение удовольствия. Он выглядел не то чтобы театральным, скорее жутковато ребячливым.

Мы вышли на балкон, и он вскочил на парапет, затем сел и свесил ноги вниз, чуть наклонился, так что я испугалась, что сейчас он упадет. В его страсти к движению мне почудилась страшная тоска. Словно он знал, что у него есть очень мало времени на то, чтобы насладиться всем на свете.

Я обернулась и посмотрела, как за высоким, залитым желтым светом окном блестят бриллиантами женщины, а мужчины сверкают золотыми часами. Мне казалось, этот поток меня ослепляет. Тогда я снова посмотрела на него.

— Вам тоже надоело?

— С самого начала, — сказал он и зажмурился, словно сдерживал раздражение. Он был похож на актера в шоу для детей — мимика и движения гиперболизированные, созданные, чтобы доносить эмоции до тех, кто еще не слишком хорошо умеет их считывать, однако сменялись они так часто, что выглядело странновато.

— Но я решил, — сказал он. — Что нужно и еще кого-нибудь спасти.

Я заметила, что глаза у него были подведены черным, чуть заметно, по водяной линии, оттого взгляд его казался глубже и отдавал какой-то женской томностью.

— Я прошу прощения, я вас не знаю.

— О, госпожа, я вас пока тоже. Может, выяснится, что вас и спасать не стоило.

Он сказал это без злости, без нажима, с веселым любопытством, которое меня скорее насмешило, чем обидело.

— Давайте начнем с простого, — сказала я. — Как ваше имя?

— Он длинное, не интересное и недостаточно благозвучное для местного уха.

— Вы хотите его скрыть?

— Если я вас заинтересую, то вы все равно найдете, а если нет, то хотя бы не расстрою ваши ушки звучанием парфянских имен.

У него были золотые кольца на каждом пальце и дорогие часы. В сущности, он был так же богат, как и люди по ту сторону стекла. Однако роскошь не стесняла его, не подчиняла его понятиям порядка и вкуса. В этом была золотая роскошь Востока, в которой человек властен над вещами, а не вещи над человеком.

Я заинтересовано рассматривала его, и он это явно заметил.

— На вашем языке, наверное, будет что-нибудь вроде Грациниан.

— Тогда я буду называть вас так, — сказала я. — И вы уже продемонстрировали, что знаете, как зовут меня. Теперь между нами не осталось неясностей.

Мы смотрели друг на друга, а потом вдруг засмеялись, одновременно. Я подумала, что так люди и начинают нравиться друг другу, и мне не было тревожно, только приятно.

— Давай, я тоже поиграю в детектива, — сказала я. — Ты, наверное, сын нового парфянского посла?

Он развернулся, и я перестала думать, что сейчас он упадет. Грациниан встал, прошелся по балкону, и я четко слышала дробь его шагов, словно он даже на землю ступал с нажимом.

— Наверное, — сказал он. — Я привык называть этого парня папой. Лишних вопросов я не задаю.

Он был смешным, и в то же время казался опасным. Я прежде видела парфян, но никто из них не отражал нравы, которые Империя им приписывала так точно. Великолепные жестокость и роскошь одетой в пески царицы Парфии, развращенной красавицы, возвращающей своих сынов, чтобы удобрить пустыню кровью.

— Лишние вопросы здесь задаю я.

Я даже попыталась скопировать тон полицейского из глупого фильма, который мы смотрели с сестрой неделю назад. Никогда прежде я не чувствовала себя такой открытой. У Грациниана был удивительный дар, рядом с ним все чувствовали себя так, словно ничего не надо бояться и нечего скрывать. Рядом с ним я была той, кто я есть, а не той, кем мне приходилось быть.

Это искупало все, даже его изумительную жестокость, о которой я узнала только потом. Даже его любовь к нарядам сестры. Даже ее любовь к нему.

Грациниан был обаятельный до невозможности, развеселый и развязный садист, и я, может быть, даже была в него немного влюблена. По крайней мере, теперь я думаю, что он подкупал меня своей отчаянной настоящестью и этой печатью тоски, словно он был отмечен смертью, и ему был отпущен короткий век.

Он достал сигареты и с удовольствием закурил, глубоко затянувшись и выпустив дым в темноту. Протянул мне пачку, но я покачала головой.

— Нет, спасибо, я не курю.

Он с досады цокнул языком, потом сказал:

— Ну и правильно, госпожа.

Его фривольная манера общения контрастировала с уважительным обращением,



которое то ли демонстрировало недостаточное знание языка, то ли употреблялось из-за какого-то культурного недопонимания, но выходило практически шутовским.

— Тело, это храм, — сказал он и затаился еще раз.

— Тогда почему ты не бережешь свой храм? — спросила я. Он посмотрел на меня, покачал головой, словно вторил неслышимому ритму.

— Потому, что воздаю хвалу прочности его стен и его способности выдерживать любые бури. Саморазрушение, это тоже прославление. Но мы ведь не будем вести пустые философские разговоры, как люди, которые хотят друг другу понравиться?

— Я думала, ты для этого меня сюда привел..

— А я не думал, что ты смешная!

Он затушил сигарету и щелчком выкинул ее в глубокую зелень сада, а мне даже не пришло в голову возмутиться.

— Расскажи, — сказал Границан. — Что-то о себе, чтобы я тебя понял.

— А зачем тебе меня понимать?

— Чтобы мы провели время лучше, чем люди, обсуждающие цифры.

Я засмеялась, и мне вдруг захотелось впечатлить его. Я надолго замолчала, но пауза не вышла неловкой.

— Тогда слушай, — сказала я, наконец, и мой собственный голос показался мне непривычно громким, взволнованным. Я чувствовала себя слишком самоуверенной, был какой-то кураж в том, чтобы сказать что-то очень личное совершенно глупым образом.

— Империя вела много войн во все времена. И после одной из них, быть может это была война с Парфией, пришли солдаты словно бы хворые, такие что и на людей похожи не были. Отощавшие, кажущиеся голодными духами. Зубы у них выпали, глаза глубоко засели в глазницах, а губы превратились в ниточки и с трудом сходились у слабого, беззубого рта. Они вызывали ужас своим болезненным видом, их не узнавали родные и друзья, их гнали из деревень и городов, отовсюду, и это была невидимая армия, никто не замечал их. Они бродили, словно призраки, как цветы, вот-вот готовые сломаться от мороза. Никто не хотел узнавать в них своих близких, и люди тайком вздыхали, радуясь, что их сыновья, мужья, братья и отцы погибли, а не ходят между этих призраков. Только одна богатая женщина приняла их. Она была матерью пятерых детей, один был вовсе малыш, и она представила себе, какую боль испытывают эти отвергнутые сыновья. Она пустила их в свой дом, поделила с ними пищу и кров. Они день ото дня становились все больше похожими на людей, ели и пили, помогали ей по хозяйству, были приветливы и милы. Они не были плохими людьми или злыми духами. А она чувствовала себя прекрасно от того, что делала. Вскоре солдаты покинули ее, но оставили после себя страшный дар. Ее младший сын начал болеть и чахнуть, а к зиме и вовсе угас, как свечка. Он стал двойником тех солдат, которых она приняла. Только сын ее прошел их путь до самого конца. Она подумала, что если бы не была милосердной, ее сын, ее отрада, до сих пор был бы жив. Но не пожалела о совершенном ей поступке, и если бы можно было вспять пустить судьбу, не отказалась бы приютить солдат в своем доме.

Я замолчала, посмотрела на него, увидела в его глазах живой и безжалостный интерес и спросила:

— Почему?

— Потому, что она сошла с ума от горя?

— Нет. Потому что даже у милосердия есть цена.

Он улыбнулся, потом склонился ко мне и прошептал:

— В этом все вы, принцепсы. Все у вас определяется ценой, почему бы и милосердию ее не иметь?

Мне показалось, он сейчас поцелует меня. Я смутилась и испугалась, выпалила:

— Разве у вас не говорят, что за все нужно платить?

Прежде, чем он ответил, я услышала голос сестры:

— А кроме того, это история о том, что женщина променяла одно удовольствие на другое. Удовольствие быть матерью на удовольствие быть милосерднее всех.

Мы с Грацинианом обернулись. Сестра стояла, прислонившись к стеклянной двери, смотрела на нас с любопытством. Я улыбнулась ей, я была рада ее приходу.

А потом я взглянула на Грациниана, и то, что я увидела, мне не понравилось. У него был голодный и жадный взгляд, которым часто провожали сестру, вот только было и еще что-то.

Казалось, словно сейчас он упадет перед ней на пол и будет целовать ей туфли. Как будто что-то в нем сломалось мгновенно и бесповоротно.

Но в то же время в нем была такая воля, такое желание, которое могло выжечь его дотла.

Такое желание, которое искала в себе сестра, чтобы сравняться с нашим богом. Именно так и должно было выглядеть разрушительное и своенравное божество, когда видело мир, который способно поглотить.

Я разложила на столе сухоцвет и чертополох, и эти нежные фиолетовые цветы смотрелись на темном дереве странным, не совсем подходящим образом.

Что-то столь хрупкое и яркое в этом рабочем кабинете, созданном для того, чтобы любой находящийся здесь был серьезным, смотрелось как насмешка. Я перебирала цветы, трогала неприятные стебли чертополоха прежде, чем набрать номер.

Половина стола была занята моей добычей. Теперь, когда сестры не было так долго, я вдруг захотела, чтобы у меня были сухие цветы, которые она любила. Но мне было безудержно жаль розы и фиалки, лилии, камелии, словом все цветы, которые окружали меня с самого детства, они казались слишком неудержимо красивыми для смерти.

Мы с Ретикой и Кассием поехали за город и собрали полевых цветов, но теперь и они вызывали у меня жалость. Сорванные, они словно стали еще ярче.

В кабинете пахло лугом, свободой и особенной вольностью, которую испытывают люди, оставшиеся посреди бесконечного пространства, наполненного ветром и травами. Наверное, это можно назвать счастьем.

Как же мне стало больно за эти цветы. Я почти ненавидела себя за то, что рвала их. Я гладила пальцами фиолетовые лепестки и с тоской смотрела на еще не тронутые смертью, будто не осознавшие, что они мертвы, соцветия. Мне хотелось в далекие земли на западе Империи, тонуть в чертополохе и вереске во искупления зла, которое я причинила цветам сегодня.

Наконец, я все-таки решилась набрать номер. Прошло два месяца с той страшной ночи, когда у меня были галлюцинации. Больше они не повторялись, Аэций остался лишь на день и уехал, но я не забыла его помощи.

Разумеется, я не полюбила и не простила его, но я почувствовала благодарность и решила, что это отличный повод для того, чтобы попытаться лучше его понять. В конце концов, именно с этим человеком мне предстояло провести некоторую часть жизни. Возможно, даже всю жизнь. В следующий раз, когда он позвонил, я попросила Ретику дать мне с ним поговорить.

Мы вели ни к чему не обязывающие разговоры, которые становились все длиннее и проще с каждым днем. Я поняла, что он интересен, а интерес может заменить симпатию. Кроме того, когда нас разделяли километры, было легче слышать его голос. Можно было отстраниться, представить, что это совершенно другой человек.

Я натаскивала себя, тренировала, словно собаку. Разговаривая с ним, я старалась приучить себя к звуку его голоса и словам. У меня получалось, и я вознаграждала себя за каждый телефонный разговор. Я должна была научиться быть счастливой рядом с ним и без сестры. Если я жила из чувства долга, это не значило, что моя жизнь должна была быть адом.

Страшнее всего было набирать номер. Я чувствовала, как кровь волнами находит на сердце, и мне было до слез неприятно от гудков. Затем все становилось легче. Вот и сегодня он сказал:

— Здравствуй, Октавия.

Каким-то образом Аэций всякий раз предугадывал мой звонок, хотя у нас не было

строго определенного времени для разговора.

— Здравствуй, — сказала я. — Сегодня мы ездили за город, собирали цветы, и Кассий убил лягушку. В этом заключается главная новость. Как ты?

— Сегодня я занимаюсь проектом национализации банков, убивая тем самым сенаторов.

Можно было предположить, что он шутил со мной, но это было не так. Аэций иногда выражался забавно, пытаясь копировать словесные конструкции собеседника, но делал это не из намерения казаться смешным, а из желания казаться и быть нормальным. Словно копируя структуру чужих предложений, он приближался к чистоте разума.

Смеяться над ним не стоило, и я сдерживалась.

— Как ты себя чувствуешь? — спросил он. В голосе его всегда был интерес врача или психотерапевта, необычайно глубокий и внимательный, отчасти это подлинное любопытство могло заменить ласку.

— Все хорошо, — ответила я. — Спасибо.

Я никогда не говорила о своих переживаниях, разговоры старалась вести предельно нейтральные. Аэций никогда не слышал от меня ничего о моих ощущениях, какими бы прекрасными или неприятными они ни были. Я могла бы рассказать ему о том, как тяжело вставать по утрам, и что иногда очень болят ноги, но не видела в этом никакого смысла. Я могла бы рассказать ему о прекрасных переживаниях растущей жизни внутри меня, но и это было бы глупо.

Две недели назад я почувствовала, что ребенок во мне реальный, настоящий, не плод моих фантазий, не неизвестная болезнь — действительное, живое человеческое существо, шевелящееся и имеющее собственную волю, спящее и бодрствующее, как и все другие люди, чутко реагирующее на все, что я чувствую, на мои страхи и радости, на боль в порезанном пальце и восторг от нежных морских волн.

Переживание было чудесное, настолько, что мне ни с кем не хотелось делиться им. Я ощущала свою неразрывную связь с новым существом, какого прежде не было на свете и какое не появится после, и это казалось мне прекрасным. Я прислушивалась к каждому его шевелению, чтобы лишний раз убедиться — он вполне реален.

Вряд ли можно было назвать это время в жизни женщины приятным с физиологической точки зрения, однако радость ожившего творения искупала для меня все. То, о чем я прежде только фантазировала теперь имело чувственную природу.

— Два месяца прошло, — сказал Аэций. — Ты собираешься возвращаться домой?

Он просто интересовался, и эта фраза, которая будучи сказанной чуть иным тоном могла бы показаться грубоватой, звучала у него очень просто.

— Да, — сказала я. — Завтра вечером у меня самолет.

Он молчал, и я молчала. Такие паузы у нас повисали довольно часто, и все мои успехи тонули в них. Я понятия не имела, что нужно говорить в подобные моменты. Разговор для меня всегда был игрой на двоих, но Аэций слишком быстро сдавался.

В этот момент я ощутила, как шевелится ребенок, и это снова привело меня в восторг. Хотя это чувство нельзя было назвать приятным, его значение, символизм, стоящий за ним были потрясающими. И, неожиданно для себя, подхваченная радостью, я спросила у Аэция кое-что личное и не совсем вежливое.

— Ты сказал мне правду? В тот раз, когда приехал ко мне? Правду о том, кто ты такой и как пришел в Империю?

Об этом действительно было мало что известно. Если война была задокументирована с невротической, вызванной страхом точностью, сам Аэций был человеком из ниоткуда. Из прошлого у него оставалось только имя.

— Нет, — сказал Аэций. — Просто я растерялся. Я не слишком хорошо придумываю истории, хотя способен к импровизации. Но послушай, как все было на самом деле: я родился в семье военного, верного Империи. Он так и остался рядовым, хотя верно служил своей стране. Ему не нужно было большего. Его погубили не пуля и не взрыв, а шпиономания парфянской войны. Преторианский меч отсек ему голову, а его объявили предателем. Его сожрали свиньи, которым он служил. Когда его погребли под звездами, я поклялся отомстить. Я сказал себе, что разрушу до основания чудовищную и порочную машину Империи, низложу несправедливость и создам прекрасный мир, в который верил отец, но которого на самом деле еще не существовало.

Я замолчала. По его словам и тону было совершенно непонятно, говорит он искренне или издевается. Его голос всегда был отстранен, словно я слушала аудиокнигу, так что никаких выводов сделать было нельзя.

— Мне так жаль, — сказала я. — Если только ты этого не придумал.

— Какая разница? — спросил он, и в этом вопросе не было броского цинизма, он действительно интересовался.

— Я хотела бы узнать правду.

— Ни ты, ни я не знаем правды. Любые чувства и воспоминания превращаются в ложь со временем.

Я зажала телефон между щекой и плечом, запустила руки в цветы, словно погрузила в воду, и полевой аромат, казалось, усилился от того, как я перебирала соцветия. Мне вдруг захотелось уничтожить, разорвать, сжечь эту красоту. Обратная сторона восхищения — ненависть. Ненависть — обратная сторона всего, потому что в терминальном проявлении все чувства болезненны.

А боль причиняет страдание. Страдания же вызывают ненависть.

В этом смысле Аэций был со мной честнее сестры. Ненависть к нему была открытой частью моего сознания, ненависть к сестре же одолевала меня в горькие минуты от бесконечной любви.

— Просто я ничего о тебе не знаю, Аэций, — сказала я. — Но мы связаны, и я хочу знать. Мне не нравится, что ты слепое пятно в моей жизни.

— Ты знаешь, какой у меня цвет глаз, и что я не ем фундук.

Я засмеялась, потом вздохнула:

— Да, еще я знаю, что ты националист, любишь детей и избегаешь животных.

— Я не националист.

— Разве ты не делаешь все ради своего народа? — спросила я. Я почувствовала, что, наконец, могу узнать хоть что-то о его мыслях и чувствах и ухватила за тоненькую соломинку глупого вопроса.

— Конечно, — сказал он. — Но я делал это ради всех народов. И ради вашего тоже. Унижение целых этнических групп не просто развлечение для правящего класса наряду со скучными фуршетами и охотой на лошадях. Это бомба, которая рано или поздно уничтожает всю исходную культуру, разрывает ее ядро. Я спас и твой народ. Я провел операцию. Она была болезненной. Но промедление означало смерть.

— То есть, ты убеждаешь меня в том, что ты хотел помочь моему народу, проливая его

кровь?

— Я пролил меньше крови, чем мог бы пролить настоящий националист. Представляешь себе силу ярости униженных и оскорбленных?

— Я полагала, что ты ее воплощаешь.

— Нет. Я даже не могу сказать, что восхищаюсь культурой моего народа. Наоборот, есть вещи, которым стоит поучиться у принципсов. Варвары, как вы называете нас, воспринимают мир трагически. Есть бог на небе, разъединенный в нас, и нужно его собрать. Но для этого должен однажды кончиться мир. Мы смотрим на мир в перспективе его заката. Ты думаешь, принципсы и преторианцы — великие нации, владеющие дарами, способными поработить живых, мыслящих существ? Нет. У каждого народа была своя причина не воевать. Однажды, терпение людей бы лопнуло помимо всех доводов и идеологий. Но у всех идей, удерживающих людей у вас в подчинении еще был потенциал развития. И они не были связаны с вами, понимаешь, Октавия? Варвары, к примеру, видят смысл в мироотречении. Познавай себя, смотри на небо, не участвуй во зле, которое являет собой мироздание. Запредельный идеал нашей культуры — человек в состоянии глубокой идиотии, который уже не осознает мира вокруг. Для него материи нет. Но нет и жизни, нет процветания. Ты думаешь, Бедлам выглядит, как лес, потому что мы не способны вырубить деревья? Жить хорошо, красиво — блажь. Жить нужно плохо. Кое-как. Мир не должен быть приспособлен для человека, он античеловечен. Вы же — ушные, благоразумные, желающие обустроить свой мир как можно уютнее и чище, потому что вы охвачены страхом перед пустотами и всяким отсутствием. Ведьмы бесплотно идеалистичны. Преторианцы несдержанны и горды. Воры не способны задуматься о будущем, полагаются на удачу и лишены амбиций. Это не просто менталитет, это нечто большее. Но вместе, все вместе, мы кое-что сможем.

— Что? — спросила я зачарованно.

— Вернуть свою истинную, первоначальную и неискаженную природу.

Я хотела спросить еще что-то, но не успела. Аэций сказал:

— Впрочем, это на самом деле риторика. Я просто подумал, что национализм приведет тебя в ярость, так что решил выбрать универсализм. Я способен придумать речь в среднем за полторы минуты, так что надеюсь, тебе понравилось. Ты должна быть спокойнее в этот ответственный период.

Когда Аэций говорил, его слова казались мне искренними и глубокими. Однако, когда он собственноручно вскрыл собственную речь, обозначив ее как пустую риторику, она и мне показалась напыщенной и ненатуральной. Я думала, что понимаю что-то о нем, его визионерских настроениях и желании сделать людей счастливыми и человечными. Оказалось, я не понимаю ничего.

Разве что узнала, что речь его вполне соответствует выпускнику, скажем, философского факультета.

— Ты раздражаешь меня больше всех людей вместе взятых.

— Да? — спросил он.

— До свиданья, — сказала я и придавила телефонную трубку к рычагу, как будто хотела перерубить эту связь.

Уезжать из Делминиона не хотелось. Теперь я удивлялась, как могла жить дома после смерти сестры и не представляла, как вернусь туда. Кроме того, ребенку явно полезнее чистый, морской воздух. Может быть, стоило и задержаться, по крайней мере, пока он не появится на свет.

Мне захотелось расслабиться, словно я работала, а не разговаривала. Я решила почитать книжку в тишине и прохладе. Погода уже становилась жаркой, даже слишком, а сейчас как раз был полдень, солнце находилось на пике своей силы, заставляя мир вскипать.

Я вышла из кабинета и обнаружила в комнате Ретику. Она крутилась перед большим зеркалом. На ней было короткое платье с нарисованными на нем ягодками. Наряд, украшенный фривольно, с полагающейся лишь девочкам игривостью, однако крой был скорее уже женский. Это платье как нельзя лучше олицетворяло фазу неопределенности и потерянности, которую проходила Ретика.

— Октавия, а я красивая?

Вопрос застал меня врасплох. Было даже более неловко, чем когда Ретика попросила потрогать мой живот. Она задавала мне вопрос, который должна была однажды задать маме. Только мамы у нее больше не было.

Ретика застыла перед зеркалом, стала вглядываться в свое лицо с каким-то презрительным любопытством. Словно уже знала ответ, который ее расстраивал.

— Давай присядем.

— Настолько страшная, что мне лучше сесть?

Я засмеялась, покачала головой. Мы сели на кровать, и я внимательно посмотрела на нее. У нее были чудесные глаза сказочного существа, тонкие губы и нежные, хотя и несколько неправильные черты. Она была чудесной девочкой из забытой, хрустальной истории о лесах и их обитателях.

— Ты особенная, милая.

— Это значит, что не красивая?

— Это значит, что ты красивее всех. Как и каждый человек, если подходить к нему с индивидуальной меркой.

— То есть, все-таки не очень?

Я протянула руку и погладила ее по голове.

— Если бы я была молодым человеком, то непременно потеряла бы голову.

— Думаете, красавчик мой? Кстати, как его зовут?

— Какой красавчик? — спросила я. — И откуда я знаю, как его зовут?

— Красавчик сказал, что он ваш знакомый. Кассий его к вам не пустил. Они сейчас в холле, и Кассий пытается установить правду.

Слово "правда" Ретика сопровождала ударом кулачка по тощей коленке.

— Тогда давай я причешу тебя, и мы посмотрим на него.

— Я думаю стать невидимой. А можно взять вашу помаду?

Подростки, подумала я. Если она хочет, чтобы он ее не увидел, зачем ей помада?

Нежданный гость заинтриговал меня. Я не представляла себе знакомого масштаба такого крошечного, чтобы его мог остановить Кассий.

— И все-таки меня причешите, — сказала Ретика. Я вздохнула. Она встала у зеркала с подкупающей неподвижностью, и я взяла расческу. Мне нравилось трогать ее волосы, словно она была куколкой. И хотя сравнение было очаровательное, я не любила себя за эти ощущения. В конце концов, Ретика мне нравилась, а такое отношение к ней расчеловечивало ее, делало моей вещью. Принцепсы и преторианцы очень долго считали иные народы своей собственностью. Были времена, когда мы держали во дворцах варваров, вовсе не считая их людьми. Они были шутами, ментальными уродцами, имевшими столько же прав, сколько домашние животные. Мне нужно было учиться восприниматься Ретику, как субъект, а не как

объект. Хотя я полюбила ее и заботилась о ней, в моем сердце не хватало того, что делает окружающих нас людей равными нам. Не хватало понимания, способного поставить ее рядом со мной и убедить меня в том, что это — настоящая девочка, а вовсе не диковинная сиротка, о которой можно заботиться, словно о собачке. Она такая же, какой была когда-то я и стоит того же.

Словом, я вскрывала себя, чтобы посмотреть на отвратительные установки, вращавшие мой мир. Теперь, когда рядом со мной была Ретика, и когда я носила в себе ребенка, у которого будет совсем иной бог, мне нужно было изменить себя. Я хотела этого.

Я расчесывала длинные волосы Ретики, думая, что в этом деле у меня есть слабо объяснимое преимущество перед самой Ретикой. Казалось, она никогда не расчесывалась самостоятельно, и всякий раз мне приходилось, перехватив ее пряди, чтобы не сделать больно, вычесывать колтуны.

Мои мысли снова вернулись к Аэцию. Я не могла понять его, что бы ни спрашивала и как внимательно ни слушала бы. Аэций был загадкой, безличной точкой, где встречались противоречивые дискурсы, воплощением идей. Он сам по себе являлся психотической ямой, и я готова была поверить, что у него нет тела, что он не ощущает его границ, что он вовсе не человек и состоит исключительно из слов, которые ничего не значат, потому что Аэций не имеет собственной, свойственной людям, позиции.

Он не просто был скрытным, он ускользал от прочтения, спрятавшись за громоздкими словесными конструкциями. Я могла бы поверить в то, что Аэций не существо из плоти и крови, он дух, вызванный к жизни противоречивым и разбитым сознанием его народа, продукт их странного дара, их исполняющего желания бога.

И именно этот растворяющийся по приближении мираж, казавшийся его личностью издалека, и интересовал меня. Аэций был филологической загадкой, исторической задачей, которую мне хотелось решить. Но в этой задаче не было констант. Его ужасающая жестокость растворялась в его самоотверженном гуманизме, который, в свою очередь, разрушался напором его лживого цинизма. В этой цепи было множество звеньев, но в конце не оставалось ничего. Я была рада этому неожиданно нахлынувшему исследовательскому интересу. И не была уверена в том, что если однажды он покорится мне, я испытаю радость. Страсть и поиск, как часто говорила сестра, слаще любой награды, а слаще исполнения самой прекрасной мечты — путь к ней. Она исполнила множество своих желаний, и у меня не было причин не верить ей. Исполнившиеся желания вызывают тоску и усталость, внутреннюю пустоту, сравнимую, наверное, с посткоитальной грустью.

— Не косу, а хвост! Я же ненавижу косы!

— Прости, моя дорогая, я задумалась.

Волосы Ретики пахли обаятельно ненатуральной пародией на клубнику, и я видела в них крохотные блестки. Забавно было понимать, что эта девушка, так желающая понравиться какому-то красавчику, все еще пользуется шампунем для маленьких девочек. Наконец, волны ее волос стали податливыми и мягкими, шторм, с которым она пришла ко мне, прекратился, и я заплела ей хвост.

— Ретика, я же говорила тебе, оставлять дверь номера открытой, когда приходишь сюда — неприлично, — сказала я. Мне не нравилось, когда кто-то поступает не по правилам, но на Ретику я не могла по-настоящему злиться.

— Я закрывала дверь, — сказала Ретика с интонацией, которую мне сложно было определить. Волнение мешалось в ней с радостью, и они образовывали нечто новое,



совершенно мне непонятное. Я не успела ответить, потому что услышала голос Кассия.

— Октавия! Этот ублюдок сбежал! Я с ним еще не закончил! Он у тебя!

Тогда я поняла, кто именно пришел сюда сегодня, и сердце мое забилося в тревоге. Я оказалась в бессловесном заговоре с моим невидимым знакомым, поэтому сказала:

— О ком ты, Кассий?

— То есть, он не к вам направился?

— Кто направился?

Кассий с гордостью прижал кулак к груди.

— Это все моя заслуга. Я спровадил незваного гостя. Наверное, так хотел сбежать от меня, что...

— Верни его, Кассий. Найди его и верни. Я не хочу, чтобы ты спроваживал моих гостей, пусть даже незваных. Пусть Ретика тебе поможет.

Кассий нахмурился, и эта гримаса тут же сделала его младше, словно бы прежним Кассием, которого я знала еще совсем мальчиком.

— Старайся для вас, — сказал он.

— Столь извращенное проявление заботы все равно меня порадовало. Но найди моего гостя.

— Ладно. Я тогда правда Ретика возьму. А вы ее не видели?

Я закрыла глаза. Значит, Ретика решила остаться здесь, и теперь в моей комнате было двое невидимых молодых воров.

— Нет, — сказала я. — Не видела. Посмотри на пляже.

Когда Кассий закрыл за собой дверь, я прошла в кабинет, взяла телефон, с таким презрением отброшенный мной недавно, и заказала в номер лимонад. К тому моменту, как я вернулась в комнату, Децимин уже сидел в кресле. Его невероятная красота снова ослепила меня, и мне захотелось упасть перед ним на колени и смотреть, смотреть в синюю бездну этих глаз, как смотрел на самого себя Нарцисс, пока я, напившись этим великолепием, тоже не превращусь в цветок.

— Здравствуйте, — сказал он через полминуты, когда понял, что я так и не произнесу ни слова, если он не прервет этот контакт, установившийся между мной и его красотой. Децимин привык к подобной реакции, лицо у него мгновенно стало скучающим, казалось, он сейчас взглянет на часы, чтобы засечь, сколько времени понадобится мне для возвращения в реальность.

— Добрый день, Децимин. Ты принес мне новости от Северина и Эмилии?

Взгляд у него стал очень серьезным, а затем болезненным. Он кивнул, затем покачал головой. Децимин казался таким неуверенным, запутавшимся. Я чувствовала себя готовой сделать все для него. Красота, пожалуй, даже не вызывая влечения, может пленять разум.

**Больше книг на сайте - [Knigolub.net](http://Knigolub.net)**

Децимин скинул модный пиджак, стал расстегивать свою дорогую рубашку. Она не сияла белизной. На ней были неаккуратные полосы крови, словно от звериных когтей. Я вздрогнула, в равной степени от чудовищности самой идеи боли, которую можно причинить этому совершенному существу, и от стука в дверь. Принесли лимонад.

Я потерела пальцами пуговицы на своем платье, призывая его одеться, и пошла открывать дверь. Не хватало, чтобы императрицу застали с юным, окровавленным мальчиком. Что ж, у беременных свои причуды.

Я засмеялась, подумав, что так могла бы называться дешевая статья в желтой газетенке.

Быстро сунув лакею чаевые, я взяла поднос с лимонадом сама, вызвав его удивленный взгляд. Он быстро поправил круглые очки с линзами слишком тонкими, чтобы проблемы со зрением мешали ему работать. Наверное, просто считал, что в очках выглядит представительнее.

— Спасибо, — сказала я и развернулась, позволяя ему закрыть дверь.

Децимин смотрел на меня внимательно, казалось, он сейчас рассмеется, но он ограничился улыбкой, готовой застить полуденное солнце. Я разлила лимонад по бокалам, третий поставила на тумбочку у кровати, зная, что и он будет опустошен.

Децимин сделал вежливый глоток, однако его явно интересовали напитки крепче и дороже.

Я села в кресло перед ним, махнула рукой, а потом поняла, каким образом это выглядит. Словно старая развратница велела ему раздеваться. Однако, Децимин к подобному обращению был более, чем привычен. Я ожидала, когда он расстегнет рубашку с восторгом и стыдом. Мне показалось, что увидев это тело в его первозданном совершенстве, я готова была умереть.

Больше ничто не держало бы меня в этом мире, потому как я познала бы абсолютную, превосходящую саму реальность, красоту. Бескрайняя свобода и синева моря уступали синеве этих глаз. Золото солнца тускнело на фоне золота этих волос. И эта кожа равнялась своей белизной чистейшему снегу на вершинах высочайших гор.

Совершенными в своей красоте были и линии его тела, столь искусно созданные лотереей генов, что в случайность их комбинации невозможно было поверить. Но это тело было изуродовано десятками порезов. Все они были неглубокими, не представляли опасности для его жизни, но покрывали его кожу от шеи до низа живота.

Это было святотатством, я почувствовала, как кружится голова, глубоко вздохнула.

— О, мой бог! Децимин, сейчас я схожу за аптечкой.

— Не нужно. Это не опасно, — сказал он. Голос его не был стыдливым, однако ему явно, как и всякому человеческому существу, неприятно было демонстрировать свою уязвимость.

— Мне так жаль, Децимин, — прошептала я.

— О, мне тоже, — усмехнулся он. Своей безразличной жесткости он, по крайней мере, не терял. Я смотрела на Децимина со слезами на глазах, мне казалось, что я не способна думать ни о чем, кроме этих тонких порезов, испортивших совершенство. Словно картину в музее расцарапали ножом для бумаги. Святотатство этого поступка не знало границ.

— Прежде они никогда не делали такого, — сказал он. — Я спал с ними, но это и все. Знаете, я получал за это много денег. Мне нужны были деньги. Я не хотел жить, как мои родители и родители их родителей. Но, оказалось, я никем не могу стать. Не могу выучиться. Не могу работать. Что мне было делать? Вернуться домой и сказать им, что они все были правы? Я пообещал себе, что буду жить совершенно по-другому. И я жил совершенно по-другому. Я ни о чем не жалею.

Сначала он говорил с демонстративной, задиристой самоуверенностью, но чем дольше он пытался сохранить ее, тем отчетливее я видела, как она превращается в реквизит, с ним неловко и отчаянно пытался сладить юноша, которому слишком дорого давались эти слова. Корона оказалась картонной, а скипетр был сделан из найденной на земле палки.

Я отвела взгляд. Разумеется, то, что Децимину пришлось делать самому и позволять другим делать с собой, было продуктом системы, которую я поддерживала.

И я даже знала о том, что так бывает. Но никогда прежде передо мной не сидел юноша из плоти и крови, рассказывающий о том, что ему некуда было пойти. И Децимину не встретился никто, ни один человек, который отнесся бы к нему с должным уважением. При всей своей холодности и напускном спокойствии, он был всего лишь юным человеческим существом, лишенным поддержки и очень одиноким.

— Вы что плачете? — спросил он. — Это гормоны?

Спросил нарочито грубо, словно не понимал, зачем люди вообще плачут.

Дело было, конечно, не в гормонах. Дело было в вине, с которой я заслужила столкнуться лицом к лицу.

Я утерла слезы платком, потом сказала:

— Прошу прощения, Децимин. Пожалуйста, продолжай.

Он посмотрел в окно, вскинул голову, и солнце позолотило его скулы, сузило зрачки, превратив их в две крохотные точки в синеве.

— В общем, ничего особенного. Вполне можно жить. Я не подписывался на всякие их развлечения, знаете, с плетками и ножами, и всем таким прочим. И они никогда не настаивали. До вчерашнего дня.

— Ты можешь остаться жить здесь.

Я тут же осеклась.

— То есть, я имею в виду, что сниму тебе номер в этом отеле, а не предлагаю тебе...

— Я понял, — сказал он быстро. А потом вдруг зашипел, словно от боли, и засмеялся. Сначала я подумала, что от горя он сошел с ума, а потом вспомнила, что когда воры невидимы, то, что оказывается у них в руках тоже становится невидимым. Ретика обрабатывала царапины, я смотрела, как будто сама по себе исчезает вокруг них запекшаяся кровь.

— Да прекрати! Ну ты чего? — говорил Децимин. Казалось, он безошибочно видел Ретику, смотрел на нее. Хотя, я знала, воры остаются невидимыми и для других из своего народа.

Децимин глубоко вздохнул, потом снова засмеялся. Впервые он показался мне по-настоящему теплым, и я поняла, что он может быть и очень хорошим человеком, не только прекрасной картиной.

Вдруг он снова стал серьезным, резко, будто сменилась картинка на телеэкране.

— Однажды такое все равно бы случилось. Это даже не был особенный день. Но я все равно не был готов. Короче, спасибо. Я правда хотел бы здесь пожить. Какое-то время. Теперь-то все можно сделать, даже работу найти. Так что я потом свалю.

— Ты можешь не спешить, — сказала я. — Император Аэций тоже будет рад тебе помочь.

— Ну да. Точно. Проблема в другом. В общем, мне пришлось по-быстрому отсюда сбежать. То есть, правда очень по-быстрому. Я не успел прихватить кое-что из своего тайника. Кое-что очень и очень важное.

— Если ты о деньгах, то можешь не беспокоиться о них.

Я наблюдала за тем, как очищаются его царапины, теперь, без корок запекшейся крови, они казались почти орнаментом.

— Нет. Это не деньги. Я знал, что я работаю с опасными людьми. Там фотографии и диктофон. Они мне нужны. Очень.

— Теперь тебе не нужно никого шантажировать, Децимин.

Он вздохнул.

— Вы не понимаете, да? Совсем ничего не понимаете? Теперь они мне нужны не для этого. Я просто хочу, чтобы их там не было. Сколько еще Северину и Эмилиии жить, в том доме? Они их найдут. А если они их найдут, меня убьют.

— Ты...

— Не говорите мне, что я в безопасности. Если они захотят, меня здесь не будет.

Я не хотела его обнадеживать. Пусть сейчас конкретно эта коммуна переживала нелегкие времена, были и другие, более влиятельные. Если Северин и Эмилия его не достанут, их единомышленники не поспеют на хорошего убийцу. А по-настоящему хорошего убийцу, как известно, не остановишь.

Я знала, что последователи Пути Зверя были безжалостными, они любили и умели убивать. И Децимин это знал, даже лучше, чем я.

Разумеется, мне не хотелось встречаться с ними. Но я не могла никого послать. Никто не должен был знать, где они.

— Если бы только вы съездили туда, вроде как проверить их, и забрали из моей комнаты эти вещи. Я храню их в чьей-то шкапулке. Я подумал, они не станут трогать чужую вещь первым делом. Подумал, что там безопасно. Но теперь я понимаю, какая это была тупость! Понимаете, они могут меня обнаружить. Они купили у ведьм проклятье для меня, я не могу быть невидимым для них! Я не могу их выкрасть!

К концу своей речи, он уже не скрывал паники, и страх преобразил его лицо снова — сделал беззащитным, совсем юным. Я не была уверена в том, что проклятье ведьм могут быть настолько сильны, чтобы перечеркнуть дар богини воров. Но, в конце концов, это был вопрос для теологов и метафизиологов, и я не могла подвергнуть жизнь Децимина опасности из-за спорного прецедента между богами.

— Где ты жил?

— Второй этаж, моя — последняя комната, по коридору направо.

— Это моя комната.

Он засмеялся, но почти тут же перестал.

— Пожалуйста, — сказал Децимин. Глаза его были отчаянными, в них были нежность и благодарность, порождаемые страхом. На самом деле, конечно, я не могла не согласиться. Все было уже решено, как только он предстал передо мной. Отчасти, суть была в его красоте. Она подчиняла, лишала воли, крала силу, ставила на колени и заставляла склонить голову.

Все было ничем перед этой красотой.

И я бы помогла ему, даже если бы дело было только в нем. Но во мне вдруг проснулось желание искупить свою вину перед ним и перед такими как он, через него. Я захотела сделать нечто реальное и значимое. Вправду помочь ему, не своими деньгами, которые заработала не я, а делом.

Я не видела в этой поездке ничего опасного. В конце концов, было бы ожидаемо, если бы я проверила Северина в собственном доме, который доверила без особенного на то желанья. Тем более было бы ожидаемо, если бы я переночевала в собственной комнате. Все представлялось очень простым, настолько, что стало даже обидно, что моя помощь столько значит для Децимина, но ничего не стоит мне самой.

— Хорошо, Децимин. Оставайся сегодня в моем номере. Завтра днем я вернусь, и мы подумаем, отправишься ты с нами в Город или останешься здесь. В любом случае, я тебя не

брошу. Сейчас я поеду к ним, постараюсь забрать твои вещи, а ты пообщайся с Ретикой и Кассием.

— Я уже общался с Кассием. На сегодня достаточно.

— Хорошо тебя понимаю. И все-таки постарайся чем-то себя занять.

Он улыбнулся, а потом сказал:

— Спасибо вам.

В улыбке его были облегчение, благодарность, которые утешили мою внутреннюю боль. И я знала, что навсегда запомню эту улыбку, она была моим дорогим и невероятно красивым подарком, который сохранит свою ценность на долгие, долгие годы.

Наверное, так чувствуют люди, которых запечатлел в своей картине гениальный художник. Я была запечатлена в зрачках Децимина всего секунду, но этого, я была уверена, хватит на целую вечность.

Я взяла деньги и документы, надела шляпку и темные очки, которые скорее внушали мне чувство безопасности, чем делали меня неприметной, и оставила Децимина и Ретику.

Уходя, я услышала голос Ретики. Она сказала:

— Привет, — особым образом, тронувшим мое сердце. Я надеялась, ее голос тронет так же хрустальное и запачканное сердце Децимина.

Я знала, что они будут вместе с самого начала. Часто видела их рядом, замечала, как Грациниан и сестра смотрят друг на друга, ревновала, сама не понимая, кого именно. Мы часто проводили время втроем. Мы были молоды, милый, мы были богаты и удивительно счастливы. Мне нравилось наблюдать за сестрой и Грацинианом. Я не чувствовала себя своей на шумных вечеринках и чопорных приемах, однако я смотрела за ними, и они вдохновляли меня.

Затем я целыми днями записывала свои наблюдения, думала, рассуждала, спрашивала. Я написала работу по социальным практикам в высшем свете, не сказать, чтобы она была потрясающей, но кое-чего, на мой взгляд, стоила. Некому был оценить меня, кроме меня самой. Диссертационный совет в любом случае пришел бы в восторг, что бы я ни написала. Поэтому я была себе и самым строгим критиком и самым добрым учителем.

Я не помню, мой милый, сколько я вообще спала. Дни я проводила за работой, ночи же сливались в хрупком блеске фар машин, хрустальных люстр, дорогих украшений и зажженных сигарет. О, они побывали везде, на приемах в пятизвездочных отелях, роскошных и безвкусных, и в тесных клубах, где было не продохнуть от клубов дыма, на сверкающих палубах яхт, и в частных самолетах, взлетающих лишь для того, чтобы вечеринка удалась.

Сколько же о сестре писали в газетах. Она была скандалом почище тебя, мой дорогой. Будущая императрица, хлеставшая вино, как вакханка и пудрившая его кокаином, будто уличная девка. Родители не знали, что с ней делать.

Грациниан знал. Мне казалось, она счастлива с ним, хотя причина ускользала от меня. Сестра окунулась в ту страсть, о которой мечтала, и кто я была такая, чтобы мешать ей?

Я сама не пробовала ни наркотиков, ни даже сигарет. Позволяла себе два-три бокала вина, и всю ночь смотрела на то, что делают другие, как исследователь, а не как юная девушка. Я чувствовала себя потрясающей, ведь я противостояла искушению. Я чувствовала себя сильной и верной нашему богу.

Впрочем, это было не совсем правдой. Я не ощущала соблазна в том, что касается алкоголя и наркотиков, мысли о них лишь вгоняли меня в тоску.

Страшные фантазии, которые все еще посещали меня, фантазии о причинении боли, убийствах, самоубийствах — о действительно разрушительных вещах были куда притягательнее, чем что-либо из невинных развлечений для юных, нестойких сердец. Полагаю, дело было в том, что я не считала их достаточно запретными, поэтому и не ощущала никакого влечения к этим милым забавам.

В то время я была очень и очень счастлива, и хотя я ревновала, Грациниан все равно мне нравился. Он был чудесен в своей внимательности и искрящемся обаянии.

Домициана, казалось, не существовало. Я была уверена, что он все видит, но не хочет брать на себя роль обманутого мужа, предпочитая игнорировать очевидное и целые месяцы проводить в поездках по стране.

Во время очередного его отъезда, летнее путешествие предприняли и родители. Мне, ради сестры, пришлось умолить их взять Грациниана. Несколько недель я убеждала их в том, что это будет грамотный политический ход, демонстрация доверия. Они ведь позволяют знатному парфянскому юноше дружить с их дочерьми, разве может что-то быть более

показательным?

Родители, конечно, понимали, в чем заключается дружба Грациниана и сестры, и сколько проблем она приносит им, но оставить их здесь, в Городе, одних было бы менее дальновидным ходом. Кроме того, родителей всегда больше интересовали дипломатические отношения, чем чувства их дочери.

Они сдались за день до поездки, но когда я сказала об этом Грациниану, его вещи уже были собраны.

— Ты был так уверен, что тебе разрешат отправиться с нами?

— О, я бы все равно отправился с вами, только отдельно, — небрежно сказал он. И отчего-то эти совершенно обычные слова меня испугали. Грациниан вдруг напомнил мне хищника, готового преследовать свою жертву, куда бы она ни направилась. Показалось, что глаза у него шальные от голода и страсти.

Но, конечно, это было не мое дело. Я, как и Домициан, убеждала себя в том, что неведение — благо. Чуть позже я увидела, что именно их связывает, и долго-долго жалела о тех временах, когда могла думать, что ничего особенного не происходит.

Словом, мы отправились в Британию, на родину ведьм, на окраину страны столь неустроенную и дикую, что она притягивала лишь самых богатых туристов. Изумительная природа Запада поразила меня, ведь тогда я увидела ее в первый раз.

Все цвета были столь насыщенными и яркими, что некоторое время я не могла поверить в то, что не сплю. Солнечные италийские луга уступали вересковым полям, одурманившим меня навсегда. Густые, холодные леса были населены дикими зверями, ради которых папа и приехал сюда. Он любил охоту, любил выслеживать и стрелять, загонять дичь собаками. Иногда ему нравилось менять декорации.

Я была в восторге от холмов таких зеленых, что болели глаза, от тусклого солнца и северного моря, с безнадежностью бросающегося на скалы. О, какое это было место, мой дорогой. Ты непременно меня поймешь. Яркое, дождливое, с невозможными, словно из стекла сделанными, озерами и поросшими красными и желтыми цветами каменными мостами, с безграничными пастбищами, на которых отдыхали тучные, пушистые, как облака, овцы. Поистине райское место, практически не тронутое городами. Хронический аграрный лимитроф, ничего не значащий в политическом плане, но столь восхитительный, что умирая, я хотела бы видеть то небо, и тот вереск, вползающий сиреневым в глаза и сладостью в нос.

Мы проводили чудесные дни в этом запредельном месте, я много спала, но даже во сне не переставала восхищаться этими землями. Даже воздух, полный сладости, приводил меня в восторг. Прежде я совершенно не понимала, что значит выражение "прозрачный воздух". Я думала, всякий воздух прозрачен, но как же я ошибалась.

Долго еще я не могла снова привыкнуть к сероватому воздуху, наполнявшему Город после звенящей чистоты Британии. О, Британия, о долгие дожди и свинцовое море, великая влага, питающая цветы и зелень, и тусклое солнце, не отбирающее у них жизнь. Мы вернемся туда летом, мой милый, и я покажу Марциану, как изумительно хорош мир.

Словом, я наслаждалась. Писала монографию, снова посвященную поэзии прошлого века, и она казалась мне прекрасно написанной, словно и я впитала красоту этих земель, сумела превратить ее в слово.

Папа с друзьями много охотился, и вечерами мы ели оленину с железным привкусом смерти.

Дни же проводили на вересковых полях, у глубокого моря лесов, в которые погружался отец. Мы устраивали пикники, и я любила лежать и читать книги, вдыхая горьковатый мед вереска и иногда посматривая на вечно хмурюю синеву неба, делавшую только ярче эту невероятную землю.

Впрочем, были и другие дни. Воистину летние, хотя по сравнению с итальяскими казались прохладными. Дни вымученной болтовни, кружевных парасолей, холодного чая с местным медом в затуманенных стаканах и серебряной чаши с изысканной карамелью и пастилками.

Мамины родственницы, в равной степени порядочные и завистливые женщины, так что в какой-то степени их главные качества нивелировались друг другом, с восторгом обсуждали последние новости Империи, любимое мамой искусство и благословенное прошлое.

Сестра скучала. Грациниан был на охоте с отцом. Он хорошо обращался с лошадьми и собаками, непревзойденно вскрывал олени туши, чем полюбился папе. Утром сестра провожала его взглядом. В идеально подогнанной охотничьей одежде, стегающий стеком вороного коня, он выглядел удивительно диким и вместе с тем притягательным.

Они с сестрой играли в древнейшую игру юношей и девушек, называемую "разлученные влюбленные". Смотрели друг на друга голодными взглядами, одаривали случайными улыбками и сгорали от страсти.

Сестра томилась и скучала, щеки ее розами горели от мыслей о Грациниане, но, казалось, никто кроме меня этого не замечает. Я не так уж сильно тосковала, и хотя разговоры о политике были, как и всегда, утомительными, о прошлом я слушать любила.

Помню, в тот день мама рассказывала о шуте своей прабабушки. Она наслаждалась сливочными пастилками, похожими на пудру из крема и по-своему вкусными, запивала их холодным чаем и, покручивая тросточку парасоля, говорила:

— О, это был прелестнейший экземпляр. Острый на язык, но с просто чудесно изуродованным разумом. Никто лучше него не отмечал слабостей ее собеседников. Благодаря ему она всегда знала, на что давить. И в то же время он был капризное животное. Он даже имя свое забыл, прабабушка называла его мышиный царь. Он любил прятаться в яме, в земле, смеялся и плакал. Ей было с ним тяжело, но он был незаменим. Никто не воспринимал его всерьез, однако его осмотрительности можно было позавидовать. Бабушку в детстве он очень пугал. Скалился, словно зверь, а потом начинал плакать, как ребенок. Эти варвары могут здорово взволновать. А как он танцевал! Это было похоже на конвульсии, но рассказывали, что в этих движениях сила была совершенно магическая. Это было воистину примечательное существо, тощее, в чем только душа держится, бледное и словно бы не совсем похожее на человека. Прабабушка одевала его в алый, и он казался призраком. У нас в родовом поместье и до сих пор висит его портрет. Жаль, конечно, что такая интересная традиция ушла в прошлое. Еще раньше, говорят, брали варварских детей. Ведь такой сюрприз увидеть, что из них вырастет.

— По-моему, довольно опасный народ, — сказала госпожа Ливия. — Я бы не стала брать себе шута, не знаю, как люди в прошлом на это решались.

Прости мне, дорогой мой, эту слабость. Я не могу отказать себе в удовольствии вспомнить этот разговор. Моя мама говорила о том варваре, может даже о твоём дальнем родственнике, как о домашнем животном ее прабабушки, словно у него не было ни личности, ни свободы.

Вот кем вы были для нас. Нашей собственностью, интересными игрушками, забавными



и опасными безделушками.

Я была бы не против, мой дорогой, водить тебя, наряженного в одежду лишь подобную человеческой, на поводке и слушать твои занятые комментарии, смотреть, когда мне скучно, на проявления твоего больного сознания. Ты опозорил меня и причинил мне боль, я бы не отказалась лишиться тебя свободы и даже личности, как в старые добрые времена.

Однако, я не хочу подобной судьбы моему милому сыну. И я понимаю, за что ты сражался.

Теперь ты, прежде способный попасть в Вечный Город лишь в качестве чьего-то уродца, правишь и твои люди — такие же люди, как и все. Разве не чудесно? Впрочем, не будем об этом, мы слишком много говорили о вещах сложных и политических. Теперь мы поговорим о чувствах.

Сестра, когда мама закончила свой рассказ, вежливо похвалила его за увлекательность и уведомила маму о том, что ей стало мучительно жарко, и она, пожалуй, искупается в озере. Было раннее утро, вода еще не разогрелась, однако купание было всем известным предлогом для того, чтобы ненадолго покинуть общество. Все знали, как быстро сестра утомляется от разговоров и многие, наверняка, догадывались с кем она отдыхает.

Сестра неторопливо нырнула в густую рощицу за вересковым полем. Наверное, она уже вышла на дорожку к озеру, когда я решила пойти за ней. Не знаю, что меня так взволновало. Может быть, я вспомнила ее бледные губы или мне не понравилась ее походка, однако я не знала, стоит ли реагировать. В конце концов, наверняка сестра хотела встретиться с Грацинианом. Если бы я нужна была ей, она бы дала мне знать.

И все же волнение не отпускало меня. О, дорогой мой, лучше бы я переборола чувство вины и осталась дальше слушать о том, как издевались над твоим народом. Я боялась, что у нее приступ. Боялась, что буду виновата, если Грациниан узнает, что она больна пустотой.

В конце концов, я тоже отпросилась искупаться. Мама отпустила меня с видимым облегчением. Видимо, радовалась, что я испорчу свидание Грациниану и сестре.

Я не хотела этого. Или думала, что не хотела. Все мы, милый, живые люди, и наши мысли и чувства далеко не чисты.

Я пошла вслед за сестрой, окунулась под душную сень леса и вступила на землю, укрытую нежным мхом, что был много мягче моей постели. Роща была темная, ветки деревьев сплетались друг с другом. Это были грубые деревья, широкие дубы, сравнимые по своему облику разве что с крепкими сабинскими крестьянами. Однако их ветки касались друг друга так нежно, словно они замерли в начале салонного танца, невероятно утонченные прикосновения этих гигантов друг к другу завораживали меня. Эта целомудренная любовь могла длиться уже не одно столетие.

Дорожка пролежала между покрытыми мхом кочками. Возможно, это были камни, до полной неузнаваемости одетые зеленью. Кружевами раскинулся папоротник, смотревшийся в полумраке, будто кусок отброшенной дамской шали.

Сочетание грубости и естественности с потрясающей природной утонченностью всегда потрясало меня в этой дубовой роще, и я почти с сожалением выходила к озеру. Озеро являло собой хрустальный буфер между рощей и глубоким лесом, в котором охотился папа. Словом, оно судьбой было предназначено для встреч Грациниана и сестры. Над озером снова открывалось небо, чуть помрачневшее за время моего короткого похода сквозь рощу, в Британии такая резкая смена погоды не была редкостью. Это небо придавало воде темный, зеркальный блеск. Меня отделяли от открытого пространства лишь ежевичные заросли. Я

увидела сестру. Она стояла у воды, из одежды на ней были лишь перчатки, сапоги и вуалетка. Белье и платье валялись на земле.

Неожиданно для себя, хотя мы совершенно не стеснялись друг друга, я упала на колени, спряталась за ежевичными кустами. Прямо перед моими глазами набухли черные капли ягод, но в просвете между колючими ветвями я видела сестру. Она была бледна, и я безошибочно определила — приступ начинается. Ее движения, когда она касалась руками бледных губ казались раскоординированными. Она прошла вдоль кромки воды, как и всякий раз, стараясь движением отогнать нарастающую немоту внутри. Выглядело так, словно она не слишком понимает, как это — ходить.

Когда появился Грациниан, она сказала:

— Ты долго.

А он кинулся перед ней на колени, стал целовать ее сапоги. В этом было что-то унижительное для обоих. Он грубо сжимал ее бедро, а она запрокинула голову, глядя в небо.

— Мне плохо, — сказала она так тихо, что я едва слышала, хотя была совсем не далеко. Я смотрела на нечто личное, глубокое и совершенно чужое. Опавшие ежевичные ветки кололи мне колени, но я не двигалась. Во-первых, я боялась себя выдать. Во-вторых я, подсматривающая за своей сестрой, заслужила эту боль, и еще больше боли.

О, не сомневайся, я ее испытала.

— У меня для тебя кое-что есть, моя любовь, — сказал он. Грациниан произносил эти слова с такой искренностью, которой прежде я не слышала ни у кого. Он достал из кармана легкой охотничьей куртки флакончик — золотой, восточный, с узким горлышком и тонким орнаментом. Открыл его и поднял руку, давая сестре вдохнуть аромат. На ее лице отразилось удовольствие, хотя и слабое — пустота мешала ей ощущать.

— Что это? — спросила она. Грациниан засмеялся. Он достал из сумки на поясе нож с тонким лезвием, повалил сестру на землю и раздвинул ей ноги. Я увидела порезы, складывавшиеся в орнамент, схожий и одновременно иной, чем на флаконе.

Он оставлял на ней столько боли. Я почувствовала ревность и отвращение. Грациниан провел ножом по тонкой, незащитной коже ее бедра. Узкая, неожиданно глубокая линия довершила часть орнамента, он словно сразу обрел художественный смысл, одна линия как будто изменила пропорции, и я увидела, что это красиво.

Что Грациниан творил на ней? Он оставил пару капель из флакона на ране, и сестра зажала рот, чтобы не закричать, от ее приглушенного стога взметнулась в негостеприимное небо пара лесных птиц.

— Как больно! — сказала она, и в голосе ее были слезы. Ощущение мгновенно отбросило назад поглощавшую ее пустоту. Обычно мне требовалось на это не меньше десяти минут.

Грациниан справился за несколько секунд.

— Я никогда не испытывала такой боли, — глаза сестры загорелись страстью и надеждой.

— О, я не сомневаюсь, — сказал Грациниан. Он поцеловал ее, коснулся пальцами раны, надавил. Все это было в его понимании прелюдией, лаской. — Я несколько дополнил его. Было сложно, но я хотел добиться чего-то потрясающего. У меня получилось, правда?

— Оно жжет меня изнутри.

— Так и должно быть.

Некоторое время они целовались. Я смотрела на свои коленки, перепачканные в соке

упавших ягод. Мне было стыдно, и в то же время я ощущала знакомую тяжесть внизу живота.

Насытившись лишь настолько, чтобы раззадорить аппетит, они явно не спешили приступать к главному, дразня друг друга. Грациниан слизал свежую кровь с ее бедра, сестра зашипела от боли, наверное капли жидкости еще оставались на коже, затем отстранился, вскочил на ноги.

— Ты невероятно разбираешься в ядах, — выдохнула сестра. — Я восхищаюсь этим.

— В Парфии это не такой уж редкий талант. А это, кстати, не яд. Если только у тебя не слабое сердце.

Сестра медленно прошлась рукой по своим ребрам, скользнула к животу, затем к груди. Грациниан медленно снимал с себя одежду, наблюдая за ней.

— Я принес тебе и еще кое-что. Чуть менее ценное.

Он прошелся по траве, поднял, валявшуюся там лисью шкуру. Наверное, бросил ее там, когда устремился к сестре, а я и не заметила. Шкура еще сочилась кровью, а изуродованная голова, лишенная нижней половины черепа, казалось, еще могла видеть и страдать.

Обнажившись, Грациниан накинул шкуру себе на плечи, испачкав свою золотистую кожу кровью. Движения его стали первобытно ловкими, притягательно опасными. Сестра завлекательно улыбнулась ему.

— А как же малышка Октавия? Неужели, мы никогда не возьмем ее третьей?

— Малышку Октавию не интересуют отношения, милый. Ее возбуждает быть в стороне. Пусть занимается своей наукой, хотя она была бы счастливее, если бы могла писать стихи.

Затем улыбка сестры стала холоднее.

— Ты ее не достоин.

Грациниан только засмеялся, запустил пальцы в остатки лисьего черепа, попробовал на остроту окровавленные зубы. И это отвратительное действие выглядело у него естественно и красиво. Он подмигнул сестре.

— Ты совершенно не боишься смерти, — сказала она. — Для многих даже видеть смерть — чудовищно.

Глаза Грациниана засияли.

— О, смерти я жду. Мы все возвратимся в мягкую землю, из чьих соков вышли когда-то. Разве не прекрасно возвращаться домой?

Последнюю фразу он сказал словно бы за мертвую лисицу, потешно двигая ее изуродованной головой.

— В таком случае, — сказала сестра. — Я попрошу у тебя кое-что.

— Проси осторожнее, любовь моя, потому что я выполню любое твое желание.

Если бы я только знала тогда, о чем они говорят. О, если бы я знала это, или если бы я не слышала этого разговора вовсе.

Все было бы лучше, мой дорогой, за все иное я бы себя простила.

В целом поездка была скорее приятной. Я взяла в аренду машину настолько неприметную, насколько возможно, и ехала по чудесной иллирийской дороге вдоль блестящего, как сапфир, под ослепительным солнцем моря.

Совершенно романтический пейзаж успокаивал меня. Я водила редко, но всегда с удовольствием. Согласно статусу мне полагался личный водитель, и я исполняла это немое требование, однако как только представлялся случай, я любила ездить по длинным, практически лишенным движения трассам, по замершим италийским артериям, ведущим в никому не нужные, почти заброшенные городки. Иллирия, где жизнь была тесно сгруппирована вокруг нескольких туристических центров, представляла собой идеальное место для автопрогулки, и я удивилась, как не додумалась до этого раньше.

В салоне чуть заметно пахло кожей и легким пудрово-апельсиновым освежителем, который напомнил мне о сливочном мороженом с цитрусовой глазурью. Я вдруг почувствовала себя отлично. Живот еще не мешал, и я вела машину с легкостью и удовольствием, какое возможно лишь на совершенно пустой дороге и лишь таким изумительно живописным днем.

Кондиционер в машине работал исправно, и я ощущала несовместимую с палящим солнцем за окном легкую прохладу. Дорога то поднималась выше, взлетая по выбеленным солнцем скалам, то шла вниз, но переходы были плавные, как и все в этом налитанном жизнью краю. Солнце следовало за мной своим золотым кругом и сиянием, упавшим на море. С другой стороны вздымались блеклые, уже утомленные начинающимся летом кипарисы и теснились друг к другу домики с рыжей шевелюрой черепицы. Все было прекрасно, и я знала, что живу ради таких часов, когда с совершенной ясностью осознаешь, зачем стоило родиться на свет. Мне хотелось показать этот чудесный мир моему собственному ребенку, который, в тепле и тесноте моего тела, еще не знал о том, сколь чудесно будет море и сколь жарко солнце.

— Вот, мышонок, — сказала я. — Вот ради чего мы живем на свете. Ты увидишь.

Когда я обращалась к нему, а это случалось редко, то не зная, мальчик это или девочка, я называла его мышонком. Я не знала, почему выбрала именно это прозвище, оно просто казалось мне подходящим.

Я не сразу поняла, что радуюсь не только красоте вокруг, но и возможности сделать доброе дело. Эта перспектива словно утоляла мой вечный голод. Мне было тяжело с собой — я была мелочной, излишне привязчивой, страдающей от вечно задетой гордости и от жутких желаний, одолевавших меня, я тосковала и грустила, раздражая саму себя, я не считала, что в достаточной степени владею искусством любви и все время нервничала. Я не нравилась себе, и мне было тяжело признавать, что я это я, как бы сильно я не менялась с годами, меня никогда не устраивал результат. Словом, если бы можно было быть кем-то другим, без сомнения я стала бы своей сестрой.

Быть собой мне не нравилось. Но только в моменты, когда я знала, что я нужна кому-то и что я действительно могу что-то сделать, я готова была простить себе все, я искупала свою вину перед самой собой и всем миром, и мне, наконец, становилось спокойно.

Словно я могла гордиться тем, что я — это я.

Постепенно иссякли домики, уступили место шербатым скалам. Я пересекла границу своего владения. Было странно знать, что на земле больше не осталось никого, кому принадлежала бы эта земля, со всей красотой на ней, кто владел бы каждой песчинкой, каждым чахлым деревцем здесь. Безлюдное, оставленное место, слишком большое для меня одной.

Вскоре все здесь будет принадлежать и еще одному человеку, которого я пока не знаю. Смогу ли я полюбить его по-настоящему, когда он станет отдельным от меня существом и если будет похож на Аэция? Этого никто знать не мог. Но я была рада, что кем бы он ни был и как бы ни сложились наши отношения, мой ребенок разделит со мной одиночество этой земли.

Исчезли редкие магазинчики и заправки, не было и рыбаков, которых качало в белых колыбелях лодок. Никого не было на многие и многие километры. Как же хорошо я знала эту дорогу. Я помнила каждую поездку с такой точностью, словно выросла в них.

Сердце затрепетало, когда я увидела заветный поворот. Я въезжала в страну садов. Вишни и яблони по обе стороны дороги источали такие ароматы, что я открыла окно, впусив зной и пыль, но с жадностью вдыхая сладость. Разные сорта волнами сменяли друг друга, одни тонули в цветущем, другие уже предлагали свои сочные плоды. Сады растянулись далеко-далеко, окутывая поместье облаком сладости, которое, я хорошо помнила, докучало некоторым склонным к аллергии служанкам.

Я увидела забор, вырывающий из хватки деревьев дом и огромный внутренний сад. Дом наш был построен в колониальном стиле времен Кофейной Войны, хотя, конечно, проектировался намного позже. Папа любил Запад, его привлекала загадочная и красивая природа этого края, а также его интересные народы, которые, хотя и отвоевали свою независимость, нуждались в нашем чутком руководстве. Папа с восторгом рассказывал, как люди на Западе поклоняются Великому Солнцу, и будто бы они управляют огнем. Запад считался опасным местом, и мама переживала, что поездки туда могут сгубить папу. Однако, папа считал, что он не хуже, чем моряки торговых кораблей и миссионеры справится с опасностями.

Мы с сестрой любили слушать его истории. А сгубил папу отнюдь не Запад. Пожалуй, Запад был его единственной страстью, он любил это место больше мамы и нас вместе взятых, и ему исключительно повезло. Не каждый в жизни находит нечто столь сильно любимое.

Мне тоже повезло — у меня была сестра. Теперь ее не было, но что ж — кому больше дано, с того больше и спрашивается. Грусть накатила неожиданно, наверное, так подействовал на меня дом нашего детства, в котором мы, когда я в последний раз здесь была, все еще были вместе.

Тяжелые кованые ворота оказались не заперты, и я проехала по аллее, слушая мягкий шорох шин по асфальту. Припарковав машину там, где это всегда делал папа — на площадке далеко за домом, я пошла к главному входу.

Сад казался мне неухоженным. Конечно, я сказала управляющему, что не нуждаюсь в услугах садовника, но неужели Северин и Эмилия не могли содержать мой дом в порядке? Нужно было потребовать от них этого, но я не додумалась.

Теперь уже было поздно. Разрослись кусты, цветы погибали от недостатка воды, и неестественная для этого климата зелень нашего сада угасала. Даже лабиринт с фонтаном в центре терял свою форму. Плющ, которому полагалось виться на балкончиках, спускался по

колоннам вниз, торжествуя.

Когда я решу, что делать с моими гостями в долговременной перспективе, нужно будет пригласить садовника, чтобы он привел все надлежащий вид, подумала я. Досада была сильной, куда более острой, чем стоило бы.

Я поднялась на крыльцо и нажала на звонок, искреннее надеясь, что дома они, по крайней мере, соблюдают чистоту. Мне открыли не сразу, более того, я практически решила позвонить во второй раз, а ведь это решение всегда давалось мне трудно. Слава моему богу, я так и не смогла претворить его в жизнь.

Сначала я испугалась, отпрянула, схватившись за перила, чтобы не упасть. У существа, стоявшего передо мной, была чудовищно искаженная звериная морда с оскаленными, бритвенно-острыми зубами. Мне понадобилась секунда, чтобы понять, что это маска, однако в ней было нечто настолько страшное и неприятное, что легче не стало. Металл и кожа тесно переплелись в этой маске, оскаленные металлические зубы казались лезвиями. Пропорции были грубо нарушены, не от неумелости изготовителя, но в насмешку над природными формами, так что сложно было сказать, что за существо задумывалось изначально. Наверное, никакое, не существо из этого мира.

Мне стало неприятно и жутко, хотя я уже поняла, кто передо мной. Малыш внутри зашевелился активно, недовольно, словно ему передан мой страх, и он сам боялся. Я положила руку на живот, чтобы успокоить его, но успокоить саму себя оказалось сложнее. Я отвела взгляд с трудом. Несмотря на то, что я понимала — это всего лишь маска, беспокойство меня не оставляло. Было в ней нечто странное, отталкивающее и противоестественное, связанное не только с ее видом, но и с сутью этого послания.

Может быть, часть бога, элементом поклонения которому она являлась, просто была мне чужда.

— Моя императрица! Да еще и вместе с будущим наследником! Добро пожаловать к нам! То есть, так я, разумеется, сказать не могу, ведь это ваш дом. В таком случае: добро пожаловать домой! Я не испугал вас?

— Что вы, все нормально. Здравствуйте, господин Северин.

Северин стоял передо мной в совершенно не подобающем виде — на нем был атласный халат, цветом не определившийся между красным и розовым, домашние, явно дорогие, но измятые брюки и эта чудовищная маска. Голос его звучал весело и приветливо, но не успокаивал меня.

Северин хлопнул себя по лбу, словно забыл самое главное, а затем отошел от двери, впуская меня в дом. Я вошла, подумав, что здесь много темнее, чем я помню.

— Только не говорите, что покинете нас, не оставшись на вечеринку! — сказал Северин.

Я планировала потянуть время, чтобы провести здесь ночь, когда окажется, что поздно ехать обратно в Делминион, однако Северин упрощал дело.

— Посмотрим, — сказала я. — Я просто хотела проверить, как у вас дела и содержите ли вы в порядке мой дом.

— Неужели, вы думаете, что мы стали бы с неуважением относиться к вещам нашей императрицы? К ее дому. К ее земле.

— С последним, господин Северин, вы прогадали. Как я понимаю, сад вы запустили.

— Мы просто не решались ничего портить.

Я вошла в гостиную. Все здесь осталось как было, даже мамины статуэтки над камином,

серия элегантных фарфоровых балерин, совершающих замысловатые па. Театр и балет были маминой страстью, и ее плоды пережили ее.

Ничто не изменилось, и я вспомнила, как мама сидела здесь в день, когда мы узнали о смерти Тита.

В кресле, где я увидела Эмилию, мама тогда сидела. Эмилию я узнала по копне ее рыжих, блестящих волос. На ней тоже была маска, морда которой была чуть более вытянутой. В гостиной были еще четыре человека. Все фривольно одеты, и все с закрытыми масками лицами. Маски были разные, но ни в одной не было сходства с земными зверями. И все же я постаралась домыслить его, хотя получилось не слишком хорошо. В этих масках не было ничего настоящего и естественного, и они плохо поддавались сравнению. Однако безличные люди пугали меня, и я поспешила дать им имена.

Девушка со смуглой кожей, на которой было только белье, получила прозвище Кошка, две сублильные женщины в алых корсетах и длинных юбках, стоявшие у камина, теперь назывались Волчицей и Зайкой, а человек в легком охотничьем костюме с шей и руками, испещренными шрамами — Кабаном.

Когда я вошла, они все поклонились, но несмотря на их вежливость, моя неприязнь только росла. Действительно, здесь было темнее, хотя занавески остались прежними.

Было даже чисто, не идеально, однако аккуратно. Мне не на что было пожаловаться, по крайней мере в гостиной. И все же что-то тревожило меня, и еще сильнее оттого, что я не могла понять, почему.

— Здравствуйте, господа, — сказала я. — Прошу прощения за беспокойство.

Я заметила, что никто не пьет и на столе нет еды. Это показалось мне странным, в конце концов, люди, идущие по Пути Зверя любили все удовольствия, предоставленное им жизнью. Северин, наверное, поймал мой взгляд.

— Дело в том, что наш бог возвеличивает жажду и желание, поэтому когда мы проводим служение, мы не едим и не пьем, чтобы желание было мучительным.

— Я не имела в виду...

— Все в порядке, — сказала Эмилия. — Вполне естественно испытать любопытство в непривычной среде. Вы пришли вовремя, императрица.

— Думаю, я наоборот отвлекла вас от важного дела.

— Мы совсем не против гостей! — сказал Северин. Мне не нравилось, что они в масках еще и потому, что я не видела выражений их лиц, и мне было неприятно, что я была для них открыта, а они оставались для меня загадкой.

— Может быть, вам принести еды или воды? — спросила Кошка. — Вы ведь не обязаны соблюдать наши обычаи.

— Да, пожалуйста. Я бы не отказалась от фруктов.

Она показалась мне милой, почти заботливой, и я впервые за последние пять минут испытала нечто приятное. Присмотревшись к ней, я заметила на ее маске застежку, при необходимости скрывавшую рот. Такая же обнаружилась и у остальных.

Отвратительная смесь из садомазохистских практик и тошнотворных образов, приходящих в ночных кошмарах. Идущие Путем Человека исповедовали красоту, не так, как воры, конечно. Мы полагали, что красота, это часть мира. Кто-то, как мама, любил искусство, я, к примеру, наслаждалась природой. Мы стремились к гармонии, к тому, чтобы мир нам нравился. Идущие Путем Зверя были заморожены некоторым уродством. Я вспомнила страсть сестры к мертвым цветам и насекомым. Ей нравилось умирание. Я тоже

находила в нем прелесть, но она всегда была для меня запретной.

В этих масках было другое, не земное уродство, а нечто пришлое. Я подумала, была ли у сестры такая маска. Если да, то как она выглядела и сохранилась ли? Отчего-то мне казалось, что они никогда не повторяются, кроются каждым человеком для себя в порыве яростного и не совсем нормального вдохновения.

Связь идущих Путем Зверя с нашим богом была неизмеримо ближе, чем моя. Может, дело было в том, что иррациональные стороны бога и людей, которым они посвящали себя в целом чувствительнее.

Я прошла к окну, чуть отдернула занавески и увидела солнце над головой. Однако, в помещении светлее не стало. Ощущение было странное. Даже экран телевизора дает освещение, пусть и блеклое, ненадежное, так что солнце за окном при всей своей реальности казалось мне картинкой в книжке. Мой мозг словно не мог считать эти противоречивые сигналы, солнце было настоящим, но свет его оставался снаружи. Я задернула шторы, посмотрела на Северина, но не решилась задать вопрос.

Он сказал, снова легко поняв мой взгляд.

— В дни наших служений случаются некоторые аномалии подобного толка. Это эффект присутствия. Но вам нечего бояться, моя императрица. Ведь это и ваш бог.

— Я не боюсь, — сказала я. — Просто удивилась.

Я и вправду не боялась. Тревожилась, а кроме того, мне было противно. Дом моего детства с милыми вещами, окружавшими меня, словно наполнялся какой-то невидимой субстанцией, как будто мироздание здесь дало течь.

Итоговое сочетание чувств могло напоминать страх, но им не было. Я никогда прежде не видела, как служат богу-Зверю, и в то же время моя сестра поклонялась ему, это происходило рядом со мной, но без моего присутствия. Было привычно, и в то же время ново.

Неприятные же чувства вполне объяснялись моей собственной верой. Ребенок был спокоен, но я не хотела класть руку на живот, словно показала бы этим свою слабость. Я вдруг почувствовала себя среди зверей, и мне не хотелось быть беззащитной.

Вернулась Кошка. У нее в руках был поднос с фруктами, и я узнала тот самый, который стоял на столе, когда мама пила кофе и рассказывала нам о смерти нашего брата. Приход Кошки отчего-то меня успокоил, у меня пропало ощущение, что все здесь — мои враги.

Все они были моими должниками, и от меня зависели их жизни.

Кошка принесла виноград, нарезанные апельсины, арбуз и дыню, сочную черешню и рубиновую клубнику. Все это было таким аппетитным, таким безупречно красивым, и я подумала, что внешний вид и соблазнительность фруктов играют роль скорее не для меня, а для них, для тех, кто голоден и страдает от жажды.

В этом была своя ирония — ограничивать себя в главном из желаний, несущем жизнь в твое тело, удовлетворяя прихоти. Я не считала происходящее вполне подобающим, однако же мне хотелось остаться.

Отчасти из-за естественного темного любопытства, мне хотелось увидеть, как служат нашему богу такие близкие, и в то же время такие далекие принцепсы, идущие Путем Зверя. В конце концов, я могла быть одной из немногих, кто встретился с темной частью своего народа лицом к лицу.

Разумеется, это вызывало интерес. С рациональной точки зрения я чувствовала себя в полной безопасности. Вряд ли они могли чем-либо меня шантажировать, ведь это я



укрывала их, я владела самой главной их тайной — местонахождением.

О том, что они могут причинить мне вред и речи быть не могло. Моя жизнь была жизнью Империи, а люди, идущие Путем Зверя, при всей опасности их дороги — не самоубийцы. Я была в абсолютной безопасности, и я понимала это.

В то же время иррациональная тревога только больше раззадоривала пожар любопытства. Мне хотелось проверить себя на прочность, доказать, что я не боюсь собственной тени и способна на то же, на что и сестра. Хотя бы смотреть.

Сестра. Вот в чем была суть, начало и конец всего. Эти люди были последним, что связывало меня с ней, и я хотела быть причастной к той жизни, которой жила она.

Я хотела увидеть то, что она скрывала от меня.

От этой мысли все стало легко и приятно. Я протянула руку и взяла вишню. Косточка из нее была хирургически точно вынута, так что ягода даже умудрилась сохранить свою форму. Фрукты были искусно разрезаны, очищены от всего, что могло бы вызвать неудобство и разложены практически в художественном порядке, так что смена красок и форм на широкой тарелке играла роль, словно кусочки ягод и кусочки фруктов были мазками на картине.

Взяв хоть что-то, эту картину с неизбежностью предстояло разрушить. В этом и была суть.

— Почту за честь посмотреть на ваши обряды, если вы приглашаете меня остаться, — сказала я.

— Моя Императрица, — сказал Северин. — Для нас честь даже видеть вас. У меня будет к вам просьба. Не нарушайте молчания, ведь там, откуда пришел наш бог, не говорят.

Я ожидала, наверное, чего-то более впечатляющего. Люди Зверя представлялись мне запредельно развращенными, какими-то карикатурными аристократами из чувственных фильмов, однако их ритуал оказался проще и сложнее одновременно.

Сначала я подумала, что меня ожидает самая скучная вечеринка на свете. Никто не произносил ни слова, и очень быстро тишина стала для меня приятной. Эти люди, казавшиеся мне чудовищами, просто отдыхали в гостиной. Северин перебирал густые и прекрасные волосы Эмилии, Кошка не спеша курила, растягивая удовольствие от сигареты и выпуская дым в сторону окна, Кабан полулежал на диване, расстегнув пиджак и рубашку, всем своим видом демонстрируя расслабленность, Волчица и Зайка пританцовывали, словно здесь была музыка, которую я не слышала. В этом танце, однако, не было ничего жуткого. Он не был ритуальным, не взывал к богу. Просто способ размять тело, получить удовольствие от своего физического существования. В этом не было ничего зловещего, ничего садомазохистского. Люди расслаблялись, приводили в порядок мысли, и я бы сама не отказалась к ним присоединиться.

Я и не заметила, когда все начало меняться. Переход был медленный, едва заметный. В какой-то момент люди Зверя один за другим застегнули прорези для рта на масках, но еще некоторое время расслабленная тишина продолжала успокаивать меня и их.

Волчица и Зайка стояли рядом, теперь они обнялись и некоторое время были похожи на по-человечески нежную пару. Потом я заметила, что Зайка касается плеча Волчицы, и что под ее ногтями расцветают линии порезов, заботливо-ровные, словно оставленные кистью художника.

Я не видела выражений их лиц, и от этого все казалось еще более сюрреалистичным — две девушки проявляли друг к другу нежность, но одна из них причиняла другой и боль,

которая однако не разделяла их и не пугала.

Потом я слышала громкий и хлесткий в тишине звук пощечины. Северин ударил Эмилию, но это не было проявлением неприязни, потому что она продолжала лениво гладить его плечи, затем сняла с него халат, скинув его на пол. И я поняла, они просто выполняют каждое свое желание, мельчайшие побуждения преобразуют в действия. Кошка сидела на коленях у Кабана, но в этом не было ничего сексуального. Она вдруг потянула руку к своей маске и вжала пальцы в лезвия железных зубов, оказавшиеся поистине острыми. Они оставили на ее пальцах набухшую, похожую на зернышки граната, кровь. Она с девичьей игривостью обернулась к Кабану и вытерла кровь о его некрасивое, покрытое шрамами тело. В их с Кошкой взаимодействии не было ничего подчеркнуто сексуального, даже кокетство казалось детским, однако зрелище казавшейся мне юной даже для принцепса, полуголой девушки на коленях у изуродованного мужчины все равно вызывало отвращение.

Постепенно люди Зверя становились все более расторможенными. Они ласкали друг друга и били, царапали ногтями и острыми, железными зубами масок. Танцы Зайки и Волчицы тоже изменились, теперь в них не было ничего ритмичного, а чувственность, которая сквозила в их движениях, скорее была родственна влечению, нежели искусству.

Я ела фрукты скорее от волнения, нежели от голода. Мне хотелось занять себя чем-то, чтобы не выглядеть так неловко. Со стороны, наверное, выглядело, словно я хочу развлечь себя, совместив угощение и зрелище, однако я не могла сказать, что испытывала удовольствие.

Но и не могла сказать, что не испытывала его. Это было особенное чувство, я находилась в известном мне прежде, только многократно усиленном состоянии между желанием быть там, причинять боль и удовлетворять желания плоти, и быть где угодно в другом месте и кем угодно, только не собой. Отвращение и влечение тесно смешались друг с другом, и я поняла, почему так тщательно соблюдают разделение между идущими Путем Зверя и идущими Путем Человека.

Как же сбивало с толку признавать, что я могла бы быть там и делать то же самое, а еще — вещи намного хуже и страшнее, и я могла бы найти в них удовольствие. Как же сложно было понять, чем я руководствуюсь, отказываясь от всего этого.

Казалось, все теряло смысл. И в то же время я не хотела быть такой, как они, я чувствовала тошноту при мысли о том, что мы схожи. Главный конфликт, руководивший принцепсами во все времена, стал для меня внутренней войной. В моей душе гремели взрывы и противостояли друг другу армии, а я только смотрела.

В какой-то момент я поняла, что свет исчезает, из тусклых сумерек, царивших в гостиной, постепенно рождалась ночь, хотя за окном все еще было солнце. Оно больше ничего не значило. Темнота приходила, просачивалась сквозь воздух. Дело было не в том, что они делали, а в том — как. Что они думали, как отпускали себя, насколько не контролировали.

Интересно, подумала я, случалось им убивать своих же? Скорее всего — да. Они ведь не останавливали свои желания. А в экстремуме все они приводят к одному.

Я знала, почему никогда не смогла бы исповедовать Путь Зверя. Я всякий раз стремилась бы довести дело до конца, до убийства. Я знала эту тайну: нет никого темнее, чем принцепсы, сдерживающие себя и строго идущие Путем Человека.

Темнота внутри, темнота снаружи. Я прислушивалась к той, что была в моем сердце, люди Зверя выпускали свою. Они словно играли в салочки, только на редкость

беспорядочные, постоянно меняли партнеров, и уже не было понятно, кто где. Я видела, как Зайка ожесточенно бьет Кабана головой об пол, и удивлялась, как хрупкое искалеченное тело может выдерживать это. Изборозжденные глубокими шрамами руки ходили по ее бедрам, то надавливая на кожу кончиками пальцев, то сжимая до синяков.

В мерзости и дряни была прекрасная свобода, которую я всегда боялась даже представить. Я видела, как Северин таскал за волосы Кошку, и как Эмилия и Волчица ласкали друг друга с ожесточенной нежностью.

И мне нравилось смотреть. Стоило признаться, я даже ждала, что кто-нибудь умрет. Я не собиралась переходить черту, но где-то внутри меня взрывалась правда обо мне.

Я любила жестокость.

Но я не была жестокой. Это были две разные вещи. Я хотела бы убить каждого из них, но, пожалуй, не решилась бы даже ударить. Я не знала, слабость это или сила, я просто смотрела, как все погружалось во тьму.

Я думала о том, что делала здесь моя сестра. От чего она получала удовольствие, кому причиняла боль, к кому проявляла нежность?

А потом Северин вдруг схватил из-под диванной подушки, так любимой моей мамой, пистолет и выстрелил в центральную из драгоценных фигурок балерин. Она разлетелась на осколки, и я от неожиданности только вздрогнула, не сумела даже ничего сказать. Белый фарфор в темноте казался почти светящимся, и его осколки были похожи на искры полыхнувшего белого огня.

Они сохранили все в таком порядке лишь для того, чтобы уничтожить это у меня на глазах, подумала я. Я хотела велеть Северину прекратить, но у меня не получилось, словно что-то сковало мой язык.

Молчание, все должно было происходить в молчании, вспомнила я. Что-то проникало сюда, но голосом его было не остановить.

Если уж быть совершенно откровенной, то это вовсе нельзя было остановить, ничем и никогда. Оно пришло сюда вне человеческой власти и уйдет только по зову того, кто...

Я не сумела додумать эту мысль до конца. Теперь, в темноте, я уже не могла понять кто и где. Черные маски стали вовсе неразличимыми, а тела двигались быстро и беспорядочно, так что никого было толком не рассмотреть.

Но кто и где, в сущности, было уже не важно.

Они были сцеплены, связаны силой желания, силой страсти, благословением нашего бога, его дурного лика. Я смотрела, как разлетаются на куски изящные фигурки, вспарываются подушки и обивки кресел, хваставшихся еще недавно своей безупречной вышивкой.

На пол рухнула люстра, отстреленная кем-то от потолка, под ножами всхлипывали обои.

Я не чувствовала боли, хотя, конечно понимала, что стоит их остановить. Я смотрела, как эти неприятные мне с самого начала люди разрушают мой мир. Разрушают то, что я так любила с самого детства. То, что было символом моего счастья.

Мои сокровища.

Они громили гостиную, но не приближались ко мне. Я сидела в своем кресле и смотрела на то, как в темноте исчезает все, что я любила. Я боялась, что однажды снова станет светло.

И в то же время я не могла разозлиться. словно эти чудовищные люди исполняли мое

собственное желание, спрятанное так глубоко. Словно я ненавидела здесь все, хотя и думала, что любила.

Словно после смерти сестры, я не могла ей простить, что она оставила меня, и не могла простить этого всему, что связано с ней.

Глухие удары, звон стекла, треск рвущейся ткани, все это ужасало меня, и в то же время я испытывала удовлетворение.

Я взяла клубнику и не спеша откусила кусок от крупной, вкусно пахнущей ягоды. Как же все это было прекрасно.

И как чудовищно. Я знала, что ничего не поправить. Конечно, за деньги я смогла бы восстановить здесь все, но что-то уходило навсегда.

Что-то символически исчезало вместе с моей сестрой. Я чувствовала себя царицей древности, укладывающей в ее могилу сокровища.

Эти сокровища не были золотом и драгоценными камнями, нет, они были еще дороже, они были нашими воспоминаниями, нашей жизнью.

Я поняла, что плачу, но слезы не были горькими. Они очищали меня, словно вместе с ними уходила и боль. Ощущение было такое, будто после болезненного спазма длиною почти в полгода, мое сердце расслаблялось, а я уже отвыкла его не чувствовать.

Грохот и шум прекратился. Люди Зверя подползали к столу на коленях, они брали окровавленными, натруженными руками фрукты. Прорези на их масках снова были открыты, и я увидела, как их губы пачкает ягодный сок, похожий на кровь.

Они ели жадно, не задумываясь о том, как выглядят и, казалось, вообще не обладая человеческим разумом в полной мере.

Я сидела, окаменев. Мне было плохо, и в то же время хорошо. В темноте я едва их видела, а в редкие секунды, в которые мое зрение выхватывало кого-то из напряженной черноты, они казались отвратительными.

Кто-то положил руку мне на плечо, и я вздрогнула.

— Пойдемте, императрица. Я провожу вас в вашу комнату, — сказала Эмилия. Голос у нее был утомленный, мягкий. Я поняла, что все еще не могу ответить. И что не могу подняться. И что не знаю, зачем мне идти в комнату. Я посмотрела на нее, подумала, что ощущаю себя нездоровой. Нет, хуже. Не существующей.

Не вполне реальной.

Не принадлежащей этому миру.

Мне с осторожностью и почтением помогли подняться с кресла. А ведь эти люди только что громили мою собственность, уничтожали то, что осталось у меня от семьи.

Я сделала пару неуверенных шагов. Ходить получалось, но я словно не была для этого создана.

— Осторожнее, — сказал Северин. — Вам лучше не делать резких движений. В темноте довольно сложно ориентироваться с непривычки.

Я как будто плыла по невидимым волнам.

— Что происходит? — спросила я, но поняла, что мне не так уж интересен ответ.

Мы куда-то уходили, но меня не волновало, куда. Я делала шаги, потому что помнила, что их полагается делать.

— Теперь я могу вам сказать, — прошептал Северин, склонившись ко мне, и я почувствовала его горячее дыхание на онемевшей коже. — Суть подобных праздников, конечно, в том, чтобы поднять настроение. Но самое главное — особое удовольствие. Это

может быть что угодно. Редкое лакомство. Убийство. Уничтожение произведения искусства. Захватывающий пейзаж. В мире много удовольствий, но это — должно быть необычным. Сегодня мы сделали то, что, пожалуй, не делал никто прежде. Мы уничтожали имущество императрицы у нее на глазах. Крушили ее дом, как какие-то спятившие бунтовщики. Разве это не прелесть?

Я понимала, что он насмехается надо мной, но это не имело никакого значения. Ничто не имело значения. Бессмысленность была огромна, как океан, и затапливала все.

Онемение. То самое, что приходит, когда у тебя не осталось невыполненных желаний. Только намного больше, намного сильнее.

— Вы не боитесь? Бояться не надо.

— Она не может бояться, Северин.

Мы поднимались по лестнице. Вокруг царила темнота, но я не думала, что упаду. Слишком хорошо все здесь знала. И оттого мой дом, поглощенной тьмой из места за пределами мира, был особенно горек.

Не разрушение, причиненное людьми, заставляло меня грустить. Но даже эта грусть не охватывала меня, словно ничто не могло проникнуть в мою душу, все стало ей чужеродным.

— К утру мы приготовим для вас нечто особенное, — сказал Северин. — За вашу помощь мы оплатим вам сполна. Ваша сестра подвела нас, но вы не подведете.

Темнота не уходила, она рассеялась по всему дому. Даже если бы я сразу же поднялась в свою комнату, не оставшись на служение, она бы все равно добралась до меня. Осознание это было страшным. Почти.

Я оказалась в своей комнате. Эмилия усадила меня на кровать, и я была благодарна ей. Больше не нужно было двигаться. Больше не нужно было ничего, наступил абсолютный покой, покой несуществования.

Они закрыли дверь на ключ, я услышала, как щелкнул замок, и мне вспомнилась Антония, которая запирала нас, если мы вели себя плохо.

Но мы всегда находили, чему порадоваться.

Я была в нашей комнате, сидела на своей кровати с лилией на изголовье. Я должна была с жадностью смотреть, но я даже не могла отвести взгляд от двери. Я поняла, что происходит со мной и что испытывала сестра.

Пустота. Пустота из пределов мира наполняла меня. Темнота была воздухом, которым дышал наш бог. Темнота была всем.

Мысли путались, и я не знала, сколько я просидела неподвижно. Я понимала, что Северин и Эмилия хотят сделать нечто чудовищное. Я поняла, что они издевались надо мной. Но не было ни унижительно, ни страшно.

Ничего не было, и я отчетливо вспоминала сестру в тот первый вечер, когда ей завладело ничто.

Даже мысли в голове стихли, и мучительная апатия превратилась в анабиоз. Боль, нужна была боль. Но я едва могла пошевелиться. Словно у меня вовсе не было причин двигаться, даже дышать было не обязательно. Я попыталась вспомнить хоть что-то, ради чего нужно было существовать.

Шкатулка. Мне нужна была моя шкатулка. Я даже не помнила, зачем. Я с трудом встала, меня шатало. Я помнила, где шкатулка. Я знала, что она мне необходима. В темноте я действовала на ощупь. За окном тоже стало черно, но высypали, как признаки страшной болезни, особенно яркие звезды.

Шкатулка легко легла в руку. Я почувствовала, как покидают меня силы, осела на пол. Я помнила, что мне нельзя падать, помнила, что нужно защитить ребенка. Но меня не хватало на то, чтобы довести эту мысль до конца — чтобы защитить ребенка нужно не быть здесь.

Я легла на пол, подтянула к себе шкатулку, как игрушку, обняла ее. Там было нечто важное, то, за чем я вернулась сюда. Я открыла шкатулку, пальцы онемели и не почувствовали замка, который прежде больно впивался в подушечки.

Внутри были только мои кольца, ракушки, безделушки из далекого детства, столь дорогие мне когда-то. То, что я любила прежде. Был камушек с дыркой посередине, в которую я задула свое давным-давно забытое желание. Были смешные карандаши и ластики. Были вещички, которые прежде составляли всю меня.

Не было того, что я искала. Воспоминание скользнуло по краю сознания — Децимин. Фотографии и диктофон. Все это должно было быть здесь.

Наверное, они уже забрали его вещи. Наверное, я должна была его спасти.

Я должна была. Осознание этого долга выбросило меня в мир хоть каких-то чувств. Мне было стыдно, страшно и холодно. Я взяла шкатулку и что было сил ударила себя по пальцам. Боль выплеснулась на меня, как холодная волна, но силы, производимой ею, хватило лишь на то, чтобы приподняться. Я снова ослабела, и ясность мышления уходила. Я прижалась ухом к полу и услышала далекие, неясные песнопения на неизвестном мне прежде языке.

Они были ритмичны и лишены всякой музыки и всякой гармонии. Внизу что-то готовилось, что-то совершалось, оно было глобальным и очень важным, и я не могла понять, как это связано со мной. Зачем я здесь? Почему в таком состоянии?

Время снова исчезло, я лежала и слушала оболочки слов, не понимая их смысл. Песни не заканчивались, периодически что-то с грохотом тащили, и осколки этого звука долетали до меня.

Я среагировала на стук только потому, что слух мой был обращен к далеким звукам, и когда кто-то постучал в окно, я удивилась этой новой, невероятной тональности, словно не слышала ничего подобного прежде.

И подумала, что я сплю. На балконе стоял Аэций. Казалось, он все еще захвачен мальчишеской магией покорения второго этажа. Я представила, как он, взрослый мужчина, император, пытается сюда залезть, цепляясь за колонны, перила и хитросплетения плюща, и не всегда понимая, куда поставить ногу, мне стало смешно.

Но засмеяться не получилось.

Я до крови укусила себя за запястье. Только почувствовав во рту железный привкус, я ощутила в себе силу доползти до балконной двери. Мне было мучительно стыдно перед Аэцием, и в то же время я была ему рада. Пальцы не сразу нащупали ручку, а кроме того нужно было открыть дверь как можно тише. Сначала я побоялась, что балкон тоже заперт на ключ. Но мне повезло. Наверняка, Северин и Эмилия не думали, что в таком состоянии я смогла бы сбежать, выбравшись со второго этажа.

Открыв дверь, я постаралась подняться, но не вышло. Аэций шагнул внутрь, мальчишеский задор в его движениях сменился серьезностью, он двигался очень тихо. Я с трудом позвала его по имени, но он приложил палец к моим губам. Я не соображала, что нужно быть тихой, в голове стелился туман.

Аэций мягко поднял меня на руки, отнес на кровать. Он прошептал мне на ухо, так близко, словно мы были в хоть сколько-нибудь интимной ситуации:

— Что они тебе вкололи?

Я покачала головой.

— Ретика звонила мне. Сказала, где ты, и что тебе угрожает опасность.

Но откуда Ретика знала, где я? Эта мысль показалась необычайно важной, но я должна была сосредоточиться на другом. На том, чтобы говорить.

— Это не наркотик. Это пустота. Наш бог. Откуда он. Они впустили ее. Здесь так темно.

— Я заметил. Не спеши. Ретика сказала что-то про ночь призыва. Ты должна знать. Это связано с вашим богом. Что это?

Призыв? Ретика? Мне казалось, я потеряла способность связывать слова друг с другом.

— Я не смогу идти. Двигаться не получается. Ты должен мне помочь.

Фразы получались рубленными, я заканчивала одну и делала передышку, чтобы произнести другую. Люди Зверя еще вели свой странный ритуал, я слышала его отголоски. У нас было время. Северин сказал, что все случится утром. У нас было много времени.

Аэций не спросил, как помочь, и что нужно делать, он просто ждал, когда я скажу.

— Боль. Мне нужна боль. У сестры такое бывало. Боль помогала ей. Сделай мне больно Очень.

Аэций посмотрел на меня. В темноте глаза его, казалось, были источником света, как фарфор маминых разбитых фигурок.

— Я не стану причинять тебе боль, — сказал он. — Это опасно.

— Нужно, — сказала я так веско, как только могла. На разумную, хоть сколько-нибудь, аргументацию меня не хватало. Я смотрела на Аэция с вызовом, но он явно не спешил исполнять мою просьбу. Тогда я снова попыталась укунить себя, но Аэций перехватил меня за запястье. А потом поцеловал в губы. Так осторожно, словно он и вправду был мальчишкой, который залез ко мне, девчонке, в комнату, и у нас был первый, незабываемый поцелуй.

Губы у него были теплые, а руки осторожные. Я испытала страх, и сердце забилося чаще. Я снова ощутила собственное существование с какой-то болезненной ясностью. Зародившийся во мне огонек был крошечным, угрожал потухнуть, а мне нужно было запалить большой костер. И тогда я стала отвечать ему. Я сама себя предала, чтобы ощутить боль и страх, ощутить их сильнее. Я все еще ненавидела его и только поэтому чувствовала себя живой. Он целовал меня долго и нежно, а мне было так противно, потому что я вспоминала, как он срывал с меня одежду. Потому что он варвар, безумный и неполноценный, даже не совсем человек. Потому что в последний раз, когда он был так близко, я видела свою мертвую сестру.

Я презирала его и презирала себя, стараясь ухватиться за чувства, за ощущения, за мысли. Я раскручивала, развинчивала, разбирала саму себя, ища то, что могло принести мне боль.

Я желала его. О, как я желала его. Я льнула к его теплу, потому что здесь, в этом страшном месте, в которое превратился мой дом, в этой удушающей саму жизнь темноте, он был мне самым родным на свете.

У меня не осталось никого, кроме него, и я желала его тепла. Любого тепла.

Я боялась, что из-за пустоты, которая поселилась во мне, что-то случится с малышом.

Я боялась, что сейчас сюда войдут Эмилия и Северин, и какой же позор я испытаю.

Я боялась, потому что понятия не имела, что такое ночь призыва, и что они готовили для меня.

Мне было больно. Боль возвращала меня.

Аэций был невероятно нежен. Я и представить себе не могла, что этот чудовищный человек может отдать мне столько тепла. И в то же время эта нежность, эта близость приносила боль.

Я чувствовала, будто каждое его прикосновение режет меня, и в то же время его ласка была исцеляющей. Я не знала, что могу испытать чувства столь противоречивые и яркие.

Аэций был вовсе не похож на то грязное животное, каким я видела и ощущала его в первый раз. Я могла бы представить на его месте другого мужчину, с легкостью — я всегда в совершенстве владела самообманом.

Но я должна была понимать, с кем я нахожусь, потому что боль этого осознания отрезвляла меня, приводила в этот мир, из которого меня едва не вырвала пустота. Я не представляла, как сестра могла жить с этим чувством внутри.

Аэций осторожно стягивал с меня платье, целовал мои плечи, легко, почти невесомо, коснулся губами груди. Я знала, что он все понимает. До последней ноты представляет гремющую между нами симфонию из страха, близости, ненависти и боли.

И только его нежность и ласка делали эти минуты выносимыми. Я неловко потянулась к пуговицам на его рубашке, стала расстегивать их, а когда ощутила под пальцами уязвимую кожу, впиалась в нее ногтями.

Аэций позволял мне делать ему больно, и я кусала и царапала его, выплескивая все, что хранила в сердце. И понимала, что даже если бы я убила его — я бессильна была бы уничтожить, стереть собственные унижение и ужас.

В какой-то момент я осознала, что руки двигаются легко, язык слушается меня, а мысли стали ясными, даже слишком. И это чудо торжества моей жизни над пустотным и безвидным пространством внутри вдруг вселило в меня желание, и я стала целовать Аэция. Он на секунду отстранился, посмотрел на меня с удивлением, словно я была актрисой в театре, которая играла совсем не ту роль.

— Я хочу, — прошептала я и не добавила, что хочу его. Но это было той самой унижительной правдой, которая заставляла мое сердце забиться сильнее. Аэций долго ласкал меня. Я совершенно не знала, что делать, поэтому я ловила его руки и целовала пальцы.

Я была неловкой маленькой девочкой, которой мне, честно говоря, стоило перестать быть много лет назад. Но я нуждалась в нем, как никогда. И он нуждался во мне.

Когда он коснулся губами моего живота, я ощутила, как двигается ребенок, словно знает, что частичку этого мужчины я ношу под сердцем. Сейчас я понимала, почему Аэций, давным-давно, говорил, что мы едины: я, ребенок и он.

Где-то там, внизу, творились чудовищные песнопения, вплетавшиеся в мой слух вместе с его прерывистым дыханием, но мне было все равно. Впервые я не чувствовала, что жизнь ускользает, хотя, возможно, она ускользала именно сейчас.

Возможно для нас всех уже было невыразимо поздно.

Я чувствовала, как горячий узел внизу живота сжимается все сильнее, так что скоро это стало бы больно, и когда Аэций проник в меня пальцами, я застонала от удовольствия и стыда.

Он ласкал меня, пока жар внутри не стал невыносимым, пока я не начала двигаться сама, не вполне отдавая себе в этом отчет, чтобы глубже впустить его пальцы.

То, что я считала постыдным занятием для животных, внезапно обрело смысл и цель. Он снова поцеловал меня, и то, что на этот раз он будто спрашивал разрешения разозлило и завело меня.



Аэций аккуратно поставил меня на четвереньки, теперь я едва держалась не потому, что мне было плохо, а потому, что было слишком хорошо.

Прежде, чем войти в меня, он вдруг погладил меня по голове с нежностью совсем иной, чем прежде, как будто жалел о чем-то.

Ощущать его в себе было приятно, и в то же время отвратительно. Он был осторожным и аккуратным, и теперь я понимала, что я для него — человек. Он заботился о том, чтобы мне было хорошо, давал мне привыкнуть к себе, ласкал. И от этого еще горше становилось то, что произошло между нами впервые.

Он не был диким животным, не знавшим любви. Он умел любить и умел оберегать.

Он двигался медленно, но это не только распалило мое желание, но и удовлетворяло его. Я ощущала себя цельной, живой и очень злой, но с благодарностью принимала эту нежность и бережность.

Я не знала, сколько мы делали это. Он мягко поддерживал меня, и чем дальше, тем больше удовольствие вытесняло все, а пульсация внутри становилась сладостнее с каждой минутой. И только иногда в секунды наивысшей, животной радости перед глазами всплывали картинки, а внутри вспыхивали ощущения нашей горькой встречи.

Я первой утолила свой голод, в какой-то момент его движения стали изумительно правильными. Ощущение было такое, словно он попадает в ноты, словно он нашел верные цифры в уравнении. Эта невероятная, физическая правильность привела меня к восторгу кульминации. Я едва не закричала, но он вовремя зажал мне рот. Мне было хорошо и бесконечно тепло, удовольствие пульсировало внутри, расходясь по всему телу. Когда все закончилось и для него, я снова ощутила, как болезненно напряглось его тело, руки его, сжимавшие мои бедра, на секунду причинили мне боль. Затем мы оба оказались без сил. Аэций поцеловал меня в затылок, поддержал, чтобы я не упала.

Некоторое время все было теплым и темным, я закрыла глаза и отдалась ощущению невероятного кружения. Когда я очнулась от томления, которого прежде не испытывала, оказалось, что я лежу на боку, лицом к нему, и мы почти соприкасаемся носами. Мы оба были обнажены, и это был первый раз, когда я видела его совершенно без одежды за почти полгода, когда он считался моим мужем.

У него был задумчивый взгляд, он явно переживал нечто личное, и я положила руку ему на лоб, словно хотела остудить его жар.

А потом вдруг заплакала, тихо и очень глупо. Аэций показался мне взволнованным.

— Я ведь знала, что они когда-то отравили сестру! Но я думала, что так бывает только с теми, кто выбирает Путь Зверя! Она говорила о посвящении, говорила, что согласилась сама! А если малыш пострадает, потому что это случилось со мной? Если ему навредит пустота?

Инобытие. Небытие. Ничто, из которого он так недавно вышел. Неживое превратилось в живое, и оно так хрупко.

Аэций пару секунд смотрел на меня молча, а потом сказал:

— У него есть свой бог, который защищает его.

А потом Аэций подался ко мне и поцеловал меня в лоб. В этом не было нежности мужчины к женщине, отца к матери его ребенка или даже друга. Мы были просто людьми, и этот поцелуй был тем древним способом, которым люди проявляли сопереживание, наверное, с начала времен. Аэций коснулся меня, как касаются человеческого существа другие такие же, когда хотят утешить и успокоить.

Как важно было быть соединенными, а не разделенными.

— Как ты узнал, что я здесь?

— Ретика позвонила мне. Она сбежала с мальчишкой, который отправил тебя сюда. Вернее, у них вышла ничья. Он уговорил ее сбежать, а она пристыдила его и заставила рассказать, что он лгал тебе, чтобы заманить сюда.

Аэций положил руку мне на живот, я прижалась к нему, снова ища тепла, уткнулась носом в его шею и поняла, что сладковатый запах, идущий от него, мне нравится.

Наверное, я сошла с ума.

— Я хотела помочь ему, — сказала я, и мне стало очень обидно.

— Ретика мне рассказала. Я бы, наверняка, тоже попался на эту удочку. Я всегда на нее попадался.

— Он и Ретика в порядке?

— Она сказала, что звонит из места, где их никогда не найдут. Она, конечно, не права. Все, что не разъято на части реально найти. Тем более, если оно имеет разум и перемещается. Кажется, что так сложнее. На самом деле так легче.

Голос его вдруг стал отстраненным, и эта интонация отдавала жестокостью.

— Но ты ведь...

Он тихо-тихо засмеялся. У него оказался очень красивый смех.

— Конечно, нет. Это же дети. Дети совершают глупости. Хотя, безусловно, я буду надеяться, что Ретика одумается.

Он обнял меня, и я сказала:

— Мы поступаем неправильно, да? Нельзя просто лежать здесь и ждать. Там, внизу, может твориться что угодно.

— Что угодно, это гипербола. Но есть несколько десятков вероятностей. Уж точно меньше сотни.

Аэций казался невероятно спокойным, словно времени не существовало и ничто не имело значения. И мне передавалось это спокойствие, оно утешало мои тревоги.

— Ты что просто приехал сюда? Один?

— Да, — сказал он невозмутимо. — Я хотел проверить, что здесь происходит и узнать, почему эти люди живут в твоём доме. Я подумал, может это для тебя важно.

Это было так нелепо и забавно, что я тихо засмеялась. Мы шептались, словно школьники, боящиеся, что их застанут.

— Ты понимаешь, что это безумный поступок?

— Я управляю государством. Должны же существовать области, где я декомпенсирован.

А потом он перевернулся, посмотрел в потолок, и глаза его были так светлы, будто еще ярче обычного.

— Ты хотела знать обо мне что-то. Что-то личное.

Он приподнялся, посмотрел на меня, затем склонился ко мне и коснулся губами моего соска.

— Хотела, — прошептала я, покраснев. — Но сейчас это не главное.

— Главное. Слушай. Я знаю кое-что о мире. О том, как он устроен. Когда ты не смотришь на вещи, они другие. Двигаются по неизвестным траекториям, искажаются, исчезают. Меняются. Все подвижно. Люди тоже не вполне реальны. Все растворяется, потому что мир не стабилен. Твой мозг лишь приводит его к определенному порядку, отсекая ненужные части. Галлюцинации, это реальность в ее многообразии, которое никто не в силах понять. То, что ты принимаешь за мир — иллюзия.

Я нахмурилась. Из умного, практичного, хоть и странноватого, человека, Аэций в секунду стал шизофреником, настоящим больным, связь между мыслями которого была безвозвратно искажена.

— Суть жизни — война против хаоса. Но я могу это. Могу удерживать вещи и явления в порядке. Контролировать их. Это мой маленький секрет. Я могу изменить мир. Потому что я владею его главной тайной. Я один это вижу.

Он улыбнулся, его белые зубы блеснули жутким образом, а улыбка казалась не связанной со словами, спокойной и безмятежной. Шуты, наверное, нужны были принцепсам не только, чтобы веселить, но и чтобы пугать.

— Мой бог вручил мне дар. Я контролирую весь мир. Но иногда в нем случаются вещи, которые мне не нравятся. Хаос прорывается, поэтому они случаются. Катастрофы. Или смерти. Я не могу отменить смерть. Но я могу изменить мир. Поэтому я взялся за это дело. Я единственный могу сделать хоть что-то. Нельзя отказаться, если ты видишь, что кому-то плохо, и только ты один можешь помочь. Мир подвержен разрушению, он дробится. Я вижу его настоящим. Я им управляю.

Он вдруг перевел взгляд на меня, и его расширенные в темноте зрачки показались мне окнами в мир еще более чуждый мне, чем тьма.

— Поэтому мы никак не можем опоздать, — сказал он. — Весь мир вращается вокруг нас.

Мне стало и смешно, и страшно. Правда оказалась вовсе не логичной, ничего не объясняющей и не дающей ответов, потому что крылась в лабиринте его сознания. Я сказала:

— Нам нужно выбираться отсюда.

Через пару месяцев после возвращения из Британии мое долгое детство, наконец, закончилось. В день нашего двадцатипятилетия мы с сестрой решили принять дар, завещанный нам богом.

Как странно, мой дорогой, в детстве я так мечтала об этом дне, представляла его во всех подробностях. В марципаново-мармеладных декорациях разыгрывалось тысячи раз главное представление моей жизни — принятие дара вечной юности.

Для иных народов мы лишь вкушаем слезу бога, и все заканчивается. Однако ты и сам прекрасно знаешь, что происходит внутри, если только испытал те же откровения, что и я. Прежде никто не прикасался к нашему дару, и мы посмотрим, дорогой, вкусишь ли ты вечной молодости и как будешь наказан за свою дерзость.

Словом, в детстве я представляла ощущение неземного блаженства, которое дарует мне бог, когда я стану взрослой. Но, как всегда и бывает, с годами желание взрослеть утихает, и неожиданно на меня накатила тревога и разрывающая сердце печаль.

Я знала, что-то уйдет безвозвратно. Конечно, физически я обретала вечную молодость, однако символически я становилась взрослой и понимала, что после обретения дара меня будут воспринимать всерьез.

А мне не слишком этого хотелось. Я думала о том, что всю жизнь можно прожить незаметным ребенком, маленькой девочкой с книжкой. Мне не хотелось переходить невидимую границу, отделявшую меня до сих пор от настоящей, взрослой жизни.

Ночами я не могла уснуть, представляя, что моя жизнь изменится. Я не любила перемены, я хотела, чтобы все оставалось простым и ясным.

И в то же время, конечно, меня одолевало любопытство. Я знала, что вручение дара — самое сильное и удивительное переживание для принцепса. Откровение нашего народа, никому другому не доступное. Наш бог в своем бесконечном восхищении человеческой расой не только уподобился нам, но и позволил своим людям, хоть на секунду в жизни, уподобиться ему.

Я знала, из произведений искусства и монографий по психологии, из фильмов и комиксов, из душевных разговоров и интервью в журналах, насколько потрясающе ярко переживают принцепсы свое короткое уподобление богу.

Желание испытать это ощущение, самое невероятное из всех, заставляло меня на короткое время забывать о страхе.

Мне снилось, как я подхожу к статуе, как припадаю губами к чаше, как ощущаю себя всемогущим и вечным существом. Иногда это были кошмары, от которых я просыпалась в зверином ужасе, осознавая собственную чудовищность, власть темных желаний надо мной. Другие сны дарили мне блаженство и спокойствие, божественная милость, осенившая меня, давала мне понимание бесконечности мироздания и его высшего смысла.

Я не знала, что испытаю на самом деле. Несмотря на гордость, с которой принцепсы рассказывали об этой секунде, в которую ощущали себя богами, опыт этот был невербализируем. По большому-то счету, рассказать можно было лишь об огромном, прежде неиспытанном чувстве.

Однако, для него не было слов в человеческом языке, его нельзя было осмыслить в

наших бытийных категориях. За тысячелетия никто так и не смог описать внятно, что именно люди ощущают, погружаясь в бытие бога. Поэтому дар слез и был величайшей загадкой для каждого принцепса, еще не получившего его.

Что до других народов, они в свойственной им грубоватой манере демонстрировали непонимание сути этого таинства. У преторианцев, к примеру, бытовала поговорка "если с молоком матери принцепс впитывает гордыню, со слезами своего бога он находит ей оправдание".

Твой народ, наверняка, тоже уверен, что наша мания величия развивается на фоне секунды инобытия, и с тех пор мы уже не можем удовлетвориться ролью простых смертных.

Это, конечно, не вся правда. Но — ее часть.

У нас принято приходить к дару в одиночестве. В нашем с сестрой случае — вдвоем, ведь мы, строго говоря, в глазах бога составляем единое целое. Он един в двух аспектах, и мы, рожденные вместе, едины.

Я не знаю почему мы не устраиваем традиционно пышных празднеств по случаю дарования вечной юности. Считается, что даже праздновать день рождения, в который ты получил дар, не слишком прилично. Пренебрежение ко внутреннему опыту, который ты обрел и должен осознать, демонстрирует поверхностность и недалекость принцепса, недостойного столь чудесного дара.

А ты чувствовал себя богом, мой милый? Ты чувствовал, как превосходишь Вселенную?

Ты познал величайшую тайну моего народа, я же не могу проникнуть в спутанное твое сознание. О, милый мой, воистину вы лучше защитили естество своего народа, чем мы.

Мы с сестрой должны были получить дар на рассвете, и ночь перед этим решили провести с Грацинианом. Сестра, наверное, хотела разделить с ним предвкушение. Я же была рада, потому что никто не умел так отвлечь и развеселить, как Грациниан.

Вечером из вежливости с нами посидел и Домициан, но к одиннадцати ушел в свои покои, а мы остались в гостиной. Грациниан принес нам парфянские сладости, которые, скорее, выглядели напитками.

Это были сиропы: из фруктов и ягод, из карамели, даже из роз. Вязкие, разноцветные, они смешивались в определенных пропорциях и употреблялись медленно, по-гурмански вдумчиво. Нужно было ощутить каждый вкус, почувствовать все специи, которыми был щедро снабжен каждый сироп. Они, густые и вязкие, запивались чистой, холодной водой. Было странно — от вкусов, столь не похожих на западные сладости, пряных, горьковатых, терпких, от манеры употребления — чувственной, на грани с эротикой, от формы — традиционные ложки скорее напоминали веретено, на которое нанизывались тонкие нити сиропа.

Мы лежали на диванчиках, по старой традиции, в Империи фактически мертвой. Беседа клеилась, как и всегда, когда Грациниан был рядом. За ним было интересно следить, он быстро переводил разговор с темы на тему, и участвовать в нем было азартно, я всякий раз проверяла, сумею ли угадать его ход мыслей и успеть за ним.

И вот обсудив Британию и культуру ведьм, о которой мы трое знали настолько мало, насколько это возможно, но с невежеством молодости не уставали рассуждать о ней, мы приготовились к очередному резкому повороту. Грациниан спросил:

— Разве не удивительно, что ваш бог позволяет вам столько? Вы для него любимые дети, и он порядком вас избаловал.

Сестра засмеялась. Она слизнула сироп, ее язык скользнул между выемками веретена с

показательной ловкостью, адресованной Грациниану.

— Результат на лицо, правда?

— Как в хорошем, так и в плохом смысле. Инфантильные, но амбициозные!

Грациниан отличался этой удивительной манерой — бестактностью, которая не злила. У него было предельное любопытство к нам, да и вообще ко всем людям вокруг, поэтому его вопросы, его суждения, иногда слишком смелые, казались приятными. Словно кто-то пишет о тебе книгу или стихи.

От любого другого человека я восприняла бы это, как грубость, однако же Грациниан говорил с особой интонацией, нежной, заинтересованной. Словно люди вокруг него были цветами или драгоценностями, чем-то безупречным и заслуживавшим пристального внимания.

И хотя это не делало его добрым, Грациниан был приятным и ему хотелось доверять.

— А ваша богиня? — спросила я. — Она вас любит?

Мы мало что знали о парфянах, несмотря на то, что были близки с одним из них. Наверное, Грациниан был для меня единственным на свете другом, и я знала все о его характере, увлечениях, жизни и привычках. Его народ, напротив, оставался слепым пятном.

— Она строгая Мать, — сказал Грациниан почтительно. — Мы скорее дети, которые так желают заслужить ее любовь, что постоянно творят глупости.

Я подумала, что сейчас самое время спросить что-нибудь о парфянах, но на ум пришел лишь самый банальный вопрос.

— Что она дала вам, сотворив заново вашу природу?

В Парфии было множество народов, как и в Империи, но мне хотелось знать о том, к которому принадлежит мой друг. Грациниан погрозил мне пальцем. Ноготь на нем был длиннее, чем полагалось. Грациниан формально соблюдал имперские представления о том, как должны выглядеть мужчины, однако в мелочах демонстрировал собственные предпочтения. Ногти у него были длинные, глаза он тонко, не по-восточному, но подводил, а еще иногда золотил скулы, это было непривычно, однако ему ужасно шло.

— Октавия, ты бьешь прямо в сердце! За слова, которые я готов произнести только из любви к тебе, на Родине мне отрежут голову, а тело мое освежают.

Он задумчиво добавил, словно решив дать мне утешительный приз:

— У нас принято уродовать мертвецов.

— Что? Зачем?

Он подмигнул мне:

— Потому что тогда они не возвращаются.

Я не понимала, шутит он или нет, сестра же смотрела на него с полуулыбкой, лишенной любопытства. И я поняла, все она знает. Мне стало обидно, что сестра не рассказала мне.

Я не столько хотела узнать парфянский секрет, сколько злилась, что между сестрой и Грацинианом было нечто личное, запретное знание, соединявшее ее с ним.

Парфяне, в отличие от жителей Империи, ревностно оберегали свои дары. Кое-что было известно об их культуре, многое — об их политике, но практически ничего — об их богах. Это были скрытые боги, парфяне прятали их от чужих глаз.

В Империи же было принято выставлять своих богов напоказ, гордиться тем, кто ты есть и говорить открыто о своих сильных сторонах. На Востоке царствовала другая культура, теологи называли ее "культурой сокрытия". Я, впрочем, считала, что секреты парфян имеют скорее политическое, чем религиозное значение.

Скрывать не только слабость, но силу — мудрое политическое решение. Оставаться темной лошадкой может быть очень полезно. Хотя, конечно, любая стратегия пересекает однажды свой горизонт, за которым уже не приносит пользы.

— Ты даже нам не расскажешь? — спросила сестра. Голос у нее был веселый, она с радостной жестокостью напоминала Грациниану о том, что тайну свою он раскрыл, и теперь сестра ее хозяйка.

Я еще отчетливее поняла, что она любит его, иначе я бы давно знала обо всем, сколь бы опасной для Грациниана ни была эта правда.

Грациниан подмигнул ей, затем коснулся пальцами своих губ и потянулся к сестре, ухватив ее за ногу.

— Придется тебе придумать, как жить без этой информации, Санктина.

— Или как ее добыть!

Они засмеялись, невидимая струна, натянутая между ними, зазвенела. Я не любила смотреть, как они флиртуют. В обоих появлялась хищность мне чуждая, и оба переставали обращать внимание на все вокруг, словно захваченные азартом охоты.

— Что ж, — сказала я. — Завтра нам рано вставать, а я вовсе не так вынослива, как Санктина. Хорошей ночи!

Я поспешила встать, когда я проходила мимо Грациниана, он схватил меня за запястье и поцеловал. Я не любила эту его привычку, в ней был элемент насилия, мне всегда казалось, что он укусит меня.

Даже когда я вышла из гостиной, меня еще долго сопровождал запах пряностей и сахара.

Я знала, что к тому моменту, когда я дойду до своей комнаты, сестра уже будет полураздетая сидеть у Грациниана на коленях. Я не думала, что когда-нибудь буду в силах познать подобную страсть. И не думала, что она мне нужна. Наоборот, столь низменные чувства вызывали у меня отвращение.

Прежде я не знала, мой милый, как это, желать кого-то так сильно, что даже ненависть становится чувственной.

И я не знала, что такое, когда желают тебя. Все эти игры для меня были хищническими порывами поглотить другого человека. Я находила в желании нечто тревожное, практически как в фантазиях о насилии.

Любовь — насилие, мой милый, в гораздо более изощренном и тонком смысле, чем то, что было между нами. Ты, конечно, не согласишься со мной, не поймешь.

Я ушла к себе в комнату, долго стояла под душем, долго расчесывалась, не понимая, чего жду. Нужно было поспать, я хотела во всех красках, без онемения недосыпа, ощутить торжественность завтрашнего дня. И в то же время он так тревожил меня, что я знала — пока не взойдет солнце, я глаз не смогу сомкнуть.

Я посмотрела в окно. Яркие звезды возвещали о власти, которую все еще имеет ночь. Я смотрела на непривычно яркое для Города небо, не осознавая всей его красоты. Тогда я, конечно, не знала, что предназначена этим звездам, тебе и нашему сыну. Я смотрела в небо, думая, когда же наступит рассвет. Нетерпение было радостным и печальным одновременно.

Я легла в кровать, закрыла глаза и попыталась уснуть, но ничего не получалось. Кружились беспокойные мысли, пульсировали сомнения, и весь мой внутренний мир пришел в движение. Мне сложно было даже лежать, хотелось ходить, прыгать, куда-то бежать — двигаться вместе с собственным разумом.

Я услышала, как открылась дверь. Сестра вошла в комнату, скользнула ко мне под одеяло, теплая и пахнувшая кремами.

— Что случилось?

— Я просто знала, что ты не спишь, Воображала.

Она обняла меня, и я положила голову ей на плечо.

— Ты тоже не можешь заснуть? — спросила я.

— Не могу, — сказала сестра. — И не хочу. Я хочу побыть с тобой. Это же наш день рождения.

Некоторое время мы молчали, я смотрела в зеркало перед кроватью. Темнота, пронцаемая лишь далекими звездами, сделала нас похожими, уравнила нас. Она придала лицу сестры простоту, не свойственную ему, а нежность моих черт приблизила к красоте.

Сейчас, в эти минуты, удачная игра теней и света сделала нас похожими, как никогда прежде и никогда после. Я боялась двинуться, боялась дышать. Любое движение казалось мне камнем, который, упав в воду, разобьет наши отражения.

Но круги будут идти по воде, напоминая мне о том, что мы были похожи когда-то.

Сестра первой нарушила наш покой, и я закрыла глаза, чтобы не видеть, как мы снова становимся разными. Она поцеловала меня в макушку и сказала:

— Взрослеть не страшно, Воображала.

— Жадина, ты можешь себе представить, сколько вещей изменятся?

— А что здесь представлять? Все вещи изменятся.

Я вздохнула, а сестра только улыбнулась мне. Ее взгляд был необычайно нежным. Такой ее не видел никто, кроме меня. Я была уверена, что это Грациниану не забрать.

— Будут новые вещи, хорошие и плохие. Даже мы сами будем меняться.

— Ты говоришь страшные вещи, — сказала я. — Я боюсь перемен, я не хочу становиться кем-то другим.

— Ты меня не дослушала, Воображала, и уже расстроилась.

Я улыбнулась, и она погладила меня по голове, будто была старше меня, не на минуты, а на годы.

— Одну вещь не в силах изменить ничто и никогда. Я буду любить тебя, Воображала. И ты будешь любить меня. А вместе мы справимся с чем угодно.

И тогда я расплакалась, от счастья, а не от горя. Оттого, какой доброй и нежной могла быть сестра. Оттого как хорошо и безопасно было знать, что у меня есть кто-то столь близкий и столь любимый.

Мы лежали, обнявшись, и я уже не боялась, я мечтала о том, какой будет наша жизнь. Мы были вместе, и все перестало быть страшным.

— Я так люблю тебя, — сказала я. — Если бы у меня не было тебя...

Я помолчала, не в силах подобрать сравнения. А потом сказала просто:

— Меня бы не было.

Милый мой, в этом не оказалось правды, я есть, а ее больше нет. Но тогда я чувствовала со всей ясностью, что мы — одно целое.

— Ты ревнуешь, Воображала?

— Что?

— К Грациниану.

Я покачала головой, но понимала, что она знает правду. Сестра сказала:

— Я люблю его. Но это не любовь, которую я отберу у тебя. Ты — моя сестра, ты и есть



я. Кусочек меня, который оказался в другом человеке. А я — кусочек тебя, который оказался в другом человеке. Все остальные люди могут значить сколь угодно много, но в них нет меня.

И я почувствовала, как хорошо мне, как сладко, как исчезают все-все проблемы, тело и душа вдруг стали легкими, и я поняла, из-за чего я грустила, из-за чего маялась.

Я боялась, что сестра больше не любит меня, и какое же облегчение было услышать, что это неправда. Я крепче обняла ее, зашептала:

— Я так боялась. Я только сейчас поняла, как я боялась, что мы больше не такие, как в детстве.

— Мы и не такие. Но нас с тобой друг у друга никто не отнимет.

Хотя ты справился, дорогой.

Ночной ветерок, проникающий в приоткрытое окно пах сладостью последних цветов, оставляющих землю. Мир готовился к осени и наполнялся самыми сладкими своими ароматами, словно одевался в прощальное платье, красивейшее из всех.

Я ощутила прохладу точно так же, как и слова сестры — с облегчением. Мы с сестрой стали петь друг другу колыбельную, как в детстве. Мы пели песню о прекрасной девушке, которая мечтала птицей и улететь в небо высокое и чистое, подальше ото всех народов земли. Однажды утром, исполнилось ее желание, и она стала белой горлицей, а в небе птицы учили ее милосердию и любви.

Милый мой, какая же это добрая песня. Мы пели ее в тяжелые времена. Мы много пели ее, когда началась война.

Первой заснула я. Сестра еще шептала слова песни, а я, хоть и думала, что пою, уже сопела у нее на плече.

Проснулась я раньше, чем зазвонил будильник. Небо только тронуло розовым и голубым. Я разбудила сестру, а она, отмахнувшись, стукнула меня по носу, мы засмеялись, сонно и взволнованно.

Пора. Ощущение одиночества в огромном доме было оглушительным. Родители спали, спала даже прислуга, расписание для них сегодня сдвинули. Это было время лишь для нас. Безусловное одиночество рассвета ощущалось как никогда ясно.

Я первой пошла в душ, а сестра курила, лежа в постели. Она давным-давно начинала утро с сигареты, словно в кино. Когда я вышла, в комнате пахло табаком и было холодно — сестра раскрыла окно. Она ушла к себе, переодеваться и прихорашиваться. Я выглянула в окно, посмотрев на сад столь пышный, что сомнений в его смертности не возникало. Желтизна еще не тронула его и листья были отчаянно зелены. Но в воздухе уже пахло прохладой, которая его погубит.

А летом наш сад возвратится вновь.

И в воздухе пахло так же обещанием этого возвращения.

Мы с сестрой встретились на лестнице, когда солнце, наверняка, уже начало подниматься. Приближался самый ответственный миг в наших жизнях, и я осознала, какие же они короткие. Нам было двадцать пять, и это была четверть века, но вся она была прожита удивительно быстро.

Хорошо, что у нас будет много-много времени вместе, подумала я. Мы взялись за руки, как маленькие девочки, которыми сегодня должны были перестать быть.

— Ты волнуешься, Жадина?

— Ты волнуешься, Воображала, — засмеялась она. Ее смех раздался словно бы в пустом

доме. Мы вышли в сад, наполнявшийся светом. Мир спал, и мы были единственными людьми на всей земле. Мы словно впервые шли к нашему богу. Ни единый человек перед нами не проходил этого таинства, и над нами поднималась не просто заря, но заря времен.

Мы шли молча, и я подумала, что одной мне было бы жутко. Повинуясь неожиданному порыву, я скинула туфли и пошла босой. Сестра засмеялась надо мной, а потом сделала то же самое. Роса омыла мне ноги, и я почувствовала, как мягка трава.

Когда мы вошли в храм, солнце уже поднялось на небо, раннее утро изливало свой мягкий свет на оставленный всеми мир. Оставленный для нас.

Мы смотрели на статую нашего бога, на золотые волосы, прекрасные черты и на сердце нашего дедушки в его боящейся пустоты груди. Каждая из нас думала о своем.

Милый бог, думала я, прими меня, сохрани меня, не покинь меня. Ты добр и милосерден, и я знаю, ты простишь меня за то, как я пришла к тебе. Я не понимаю, как сделать свои мысли чище. Да и нужно ли? Ты видишь меня такой, какая я есть. Посмотри на меня, я дочь своих родителей, в меня влился поток освященной тобой крови. Реши, достойна ли я. Но, умоляю, сочти достойной мою сестру.

Мы одновременно сделали шаг к статуе, каждая закончила свое обращение к богу. Все было просто и буднично. И в то же время невероятно торжественно. Свет, падающий на мрамор статуи делал лик нашего бога еще прекраснее, а легкий ветерок, казалось, сейчас потревожит его волосы.

Прозрачные слезы бежали вниз, стекали в чашу. Никто и никогда не охранял ее — бог плакал в каждом принцепском доме, даже самом скромном, а преторианцы никогда бы не решились на святотатство из страха перед собственным жестоким богом.

Мы с сестрой опустились на колени и вместе припали к чаше, вкушая, в первый раз в жизни, милосердные слезы нашего бога.

У них не было вкуса, даже того, что присущ воде. И я поняла, они исходят из иного мира, мира, где нет понятия о том, что нечто может иметь вкус.

А в следующую секунду я осталась одна в огромной Вселенной, непостижимо могущественная и такая одинокая. Печаль и ярость одолевали меня, но я умела и желала только разрушать, я была слепа к красоте, голодна и мне оставалось только желать.

Я видела планету, одну из множества, и она была для меня не больше, чем крохотный, потерявшийся в этой темноте шарик. Стоило мне прихлопнуть ее, и ничто не колыхнулось бы внутри. Мироздание было безразлично к существам, которыми была наполнена Земля.

Какой же она была крохотной, моя Земля. Каким незначительным оказалось все, что я знала и во что я верила.

Насколько не имела смысла жизнь во Вселенной. И как быстро я могла бы уничтожить ее, если бы только желала этого.

Пока я желала лишь смотреть. Они были рыбки в моем аквариуме, и хотя я могла бы наполнить его кровью, мне не хотелось этого, пока.

Земля была отделена от меня тоненькой пленкой, и иногда я давила на нее, чтобы посмотреть, как она прогнется. О, я была велика, и я была страшна. Но я не знала этих слов. Я вообще не знала слов.

А потом все закончилось, погрузилось в темноту и исчезло. Я не смогу описать точно, что я испытала. Все слова и сейчас кажутся мне отражающими суть лишь приблизительно, пустыми внутри, полыми.

Незначительными.

А когда я только очнулась, незначительной, полой и хрустально-хрупкой казалась мне сама человеческая цивилизация. И хотя я ощущала движение жизни под кожей, я ощущала себя невероятно бодрой и яростно живой, к этой звериной радости примешивалась и горечь.

Насколько же все, что было важно для меня, оставалось крошечным по сравнению с тем, что управляло Вселенной, миром за пределами моей жизни. Какой смешной была я со своими надеждами и страхами перед лицом сил реальных и значимых.

Я была игрушкой, куколкой в домике, и я надеялась, что ему не надоест играть.

Я посмотрела на сестру, она блаженно улыбалась.

— Как он милосерден и благ, — сказала сестра. — Как любит нас.

И я поняла, что, идущая по Пути Зверя, она ощутила себя той частью бога, которой поклоняюсь я. А я, стоявшая на Пути Человека, чувствовала себя тем, чему поклоняется она.

Равновесие оказалось вещью очень жестокой.

Мы одевались, и мне было ужасно неловко. Я старалась сделать вид, что ничего не произошло, сделать вид, что думаю только о том, в какую чудовищную историю попала из-за собственной глупости.

Но в моей голове не укладывалось, как со мной могло случиться нечто опасное. Я не могла осознать, что происходит.

Традиционно в нашей семье главная опасность исходила от родственников, нечего было бояться чужих людей. Для сестры смерть и вовсе была выбором. Теперь, когда я осталась одна, я была убеждена, что мне вовсе не следует бояться кого бы то ни было на свете.

Каждый знал, что уничтожив династию, уничтожает Империю. Если только Северин и Эмилия не мегаломаньяки, они не должны сделать мне ничего дурного.

Но они обещали. Сущее расходилось с должным самым драматическим образом, оттого в моей голове не помещалось ни единой мысли по этому поводу. Я даже не могла испугаться.

Сколько времени прошло, и как здесь ничего не изменилось, думала я.

Те же книжки и шторки, шкапулки, кровати с цветами на изголовьях и море, которое так хорошо видно из окна. Только в углах поселились паучки, в остальном же все осталось прежним, и мои вещи хранились под слоем пыли, как под самой надежной защитой.

Децимин явно не был слишком аккуратен.

Децимин заманил меня сюда. Мне стало грустно. А еще грустнее оттого, насколько прежним здесь было все, и насколько изменилась я. В последний раз я была здесь ребенком, а теперь во мне самой жил ребенок.

В последний раз я была здесь с сестрой, теперь моей сестры не было нигде.

Все переменилось везде, в любой точке мира, кроме этой крохотной комнатки на краю ревущего моря. От этой долговечности моих воспоминаний, намного более стабильной, нежели жизнь, было больно. Лишь одно стало совсем иным. Комната сейчас пахла Аэцием, запахом его тела и тем, другим, что я себе вообразила, больничной его сладостью.

Я натянула белье и чулки, затем платье. Не оборачиваясь к нему, я сказала:

— Как ты додумался, что можно поступить подобным образом?

Он ответил:

— Я знал, что близость со мной причинит тебе боль. И я боялся навредить тебе и ребенку.

— Я думала, что боль должна быть только физической. Когда моя сестра была одержима этим, я всегда делала ей больно.

Я замолчала, сказав нечто лишнее, слишком родное. Мы с Аэцием сидели спинами друг к другу, бесконечно отчуждены и так же бесконечно соединены.

— Ты тоже не хотела ей навредить. В другом смысле. В конечном же итоге физическая и ментальная боль являются одним и тем же чувством. Иначе мы не додумались бы сравнить их в нашем языке. И вы — в вашем. И так почти по всему миру.

Он тоже не спешил, мы словно замерли во времени, ничего не опасались, кроме того, что крылось в наших сердцах.

Я покраснела, мне стало неприятно и еще более неловко.

— Так все дело лишь в том, что ты боялся за ребенка? Ты не хотел бы...

Я повернулась к нему, а он все еще сидел спиной ко мне. На нем была старая, неброская рубашка. Он напоминал мне обнищавшего, но еще не потерявшего достоинство и тонкий ум в кабаках профессора. Я поднялась и прошла к окну, в большей степени для того, чтобы посмотреть на Аэция. Его лицо казалось утонченным, а глазам мягкая темнота придавала остроту живого ума, резкость, которой так не хватало его взгляду. Как странно, подумала я, он лгал мне все это время, не идеология привела его к власти, не желание. Фантазия о том, что он один знает тайну мира и один может всех спасти. Аэций вел собственную войну, войну с реальностью. Какой нелепый, абсолютно сумасшедший человек, неудержимо жалкий в своем геройстве. И как мне хотелось, чтобы он испытал какие-то чувства, потому что в противном случае я ощутила бы себя вещью снова.

— Я хотел, — сказал он. — Ты принадлежишь к совершенному незнакомому мне миру. Ты другая. Любопытство и влечение тоже сходны в своей основе.

Я тихо засмеялась. Аэций казался очень сосредоточенным. Ему хотелось ответить мне, словно я задавала вопрос научный, словно просила что-то посчитать, и он с глубоким и спокойным вниманием смотрел на собственные чувства, распределял их, классифицировал. Это показалось мне очень трогательным.

Он вдруг поднял на меня взгляд, светлый и смешливый, мальчишеский.

— Ты совершенно ничего не боишься? — спросил он. — Ты такая отважная?

— Я глупая, — ответила я. — Даже думать об этом не могу. К сожалению, императорская кровь не панацея от житейского идиотизма.

— Да, — сказал он. — Например, я тоже совершенно не боюсь. Но моя кровь располагает к идиотизму разной степени тяжести.

Мы засмеялись, тихо-тихо, так что сами друг друга едва слышали. И это был первый раз, когда мы смеялись вместе, над одним и тем же. Над тем, как абсурдно было обсуждать наши глупые, ничего не значащие отношения, когда совсем рядом были опасные люди, чьи цели были загадочны, а мотивы неизвестны.

Он встал, сказал:

— Я бы посоветовал нам с тобой выбираться отсюда, если бы был кем-то адекватнее самого себя.

— А что делать с ними? — спросила я.

— Ты сказала так, словно это твои нашкодившие домашние животные.

Он не ответил на вопрос, а я не спросила снова. В конце концов, все было довольно ясным. Аэций подошел к балконной двери и прежде, чем он коснулся ручки, я спросила:

— Как ты мог причинить мне столько боли и оказаться таким хорошим человеком?

Он посмотрел на меня очень серьезно, кажется, я никогда не видела его настолько сосредоточенным, еще больше, чем обычно.

— Потому, что я не хороший человек. Я обычный человек из плоти и крови. Я делал чудовищные вещи и делал чудесные. Вы, принцепсы, выдумали, что все можно поделить лишь на две части.

Он замолчал, затем мотнул головой — нелепо, растерянно.

— Но я жалею о том, что причинил тебе.

Он склонился ко мне и коснулся губами моей щеки. Я нахмурилась, но не успела ничего сказать. Он открыл дверь на балкон, но внутрь не хлынул сочный морской воздух. Меня это взволновало на каком-то физическом, довербальном уровне. Нечто в законах мира

нарушилось, исказилось, и теперь, казалось, все вокруг неправильное и тревожащее. Ветер колыхал сад, но я не почувствовала его. Мы тихо вышли на балкон, и все, что было за ним показалось мне плоской картинкой, декорацией в школьном театре. Все было лишено глубины.

Я взяла Аэция за руку, теплую и сильную, но даже чувство безопасности рядом с ним померкло от ощущения неправильности всего вокруг.

— Я первый, — прошептал он. — Затем я помогу тебе слезть.

А я подумала, если уж Северину и Эмилии удалось заманить меня сюда, неужели они даже не предполагали, что я могу просто сбежать, почему не оставили никого сторожить меня? Неужели похитители из них еще более глупые, чем из меня — похищенная?

Аэций схватился за поручень, готовясь перелезть, а потом отошел. Вид у него был по-детски озадаченный.

— Я не понимаю.

— Что случилось?

Аэций вытянул руку, коснулся воздуха над поручнем, потом оперся на него, словно на твердую поверхность. Я испугалась, что он сейчас упадет, но этого не случилось.

— Вот почему, — сказал Аэций. — Они так мало озабочены твоей сохранностью здесь. Войти можно, выйти нельзя. Думаю, так было с тех пор, как они выпустили Децимина. Они начали что-то.

— Я никогда прежде не слышала, чтобы принцепсы могли как-то ограничивать пространство. У нас не такого дара.

— Значит, это не они, а тот, кого они приведут сюда, — сказал Аэций. Я протянула руку. Мир кончался за пределами балкона, сразу же. Граница не была похожа на стекло или камень. Ощущения были совершенно отличные от всего, к чему я прикасалась прежде.

Граница не была ни твердой, ни жидкой, не состояла ни из материи, ни из воздуха. Она существовала, однако описать ощущения от нее было практически невозможно. Наверное, если представить себе поверхность, испещренную иглами, можно было бы воспроизвести это странное ощущение проникновения. Однако, эти иглы не причиняли боли. Я касалась чего-то невероятно огромного, и хотя позади него я видела мир, он казался совершенно незначительным. Какое странное тактильное ощущение, думала я, и какой силой оно обладает. Я не могла протолкнуть руку дальше. Мне казалось, что-то проникало в нее, и это было так отвратительно самому моему существу, что я сделала шаг назад и принялась вытирать совершенно чистую ладонь о платье.

Мерзость была нестерпима. То, что ограничивало мир этим домом было не просто противоестественно, а противодейственно мне. Ребенок внутри заволновался, и я теснее прижалась к Аэцию.

— Да, — сказал он. — Довольно неприятно.

Дело было не только в невыразимой мерзости, которую мы оба испытали, но и в давлении. Граница была неприступна. Аэций попробовал снова, но ни одно его движение, ни резкое, ни осторожное, не достигло своей цели.

Мира за пределами, строго говоря, не было.

Я прислушалась, благо, тишина была поглощающей — море и ветер были отчуждены от нас. Песнопений больше не было слышно.

— Аэций, они идут! — зашептала я. — Что нам делать?

— Сделай вид, что меня здесь не было. Что ты слабая, едва соображающая и

напуганная.

Он легко перелез на парапет, последнюю границу дома, и двигался так неаккуратно, что у меня сердце перехватывало всякий раз, когда я видела его движения.

— Аэций, осторожно.

Он подмигнул мне, скользнул ногой в пустоту так, что должен был немедленно свалиться.

— Я не могу упасть.

Он продвигался, тесно прижавшись к стене дома не потому, что боялся упасть — это было невозможно. Граница едва давала ему сделать вдох, и он испытывал отвращение, то самое чувство, до сих пор заставлявшее меня компульсивно вытирать руку о платье.

Я и он, безумец, были покорны одному и тому же ощущению тошнотворной чуждости.

— Я рядом, — сказал он. — Помни об этом и ни о чем не беспокойся.

Я не стала тратить время на ответ, потому что услышала шаги. Я выскользнула за дверь, упала перед ней на колени, словно только что открыла ее. Времени настроиться на мою новую роль у меня не было.

Испуганная и отчаявшаяся, оглушенная. Что ж, не так далеко от моего состояния по умолчанию в последние месяцы. Я схватилась за ручку двери так, словно она была единственной моей опорой, и позволила телу расслабиться.

Моя сестра была отличной актрисой, а мы, в конце концов, провели вместе ее жизнь, и я должна была хоть чему-то у нее научиться.

Я испытала почти болезненную радость, прилив вдохновения. Я оказалась в ситуации, в которой должна была оказаться она. А где-то на краю сознания упрямо билась крохотная, нежная мысль о том, что Аэций рядом, и я в безопасности. Еще глубже, так далеко, что я сама едва чувствовала его, был страх.

Не за себя, а за малыша. Я сама была в абсолютной безопасности, худшее, что могло случиться со мной, означало бы воссоединение с сестрой. Но я была ответственна и за ребенка, за маленькое существо, которое не могло себя защитить.

Поэтому мне нужно было играть свою роль хорошо и уметь ждать. Я закрыла глаза. Дверь за моей спиной распахнулась, и в этот момент моя рука соскользнула вниз.

— Моя императрица, — сказал Северин. — Зачем же вам так напрягаться? Неужели вы думаете, что вам угрожает опасность?

Я молчала, будучи абсолютно уверенной в том, что не смогу не впустить в свой голос долю презрения.

Нет, дурачок, подумала я. Опасность мне не угрожает. Опасность угрожает тебе.

Весь мой суеверный страх перед сумасшествием Аэция вдруг стал моей уверенностью и надеждой.

Эмилия и Северин подняли меня, я прикрыла глаза, и их лица, скрытые масками, были затуманены для меня.

— Не трогайте меня, — прошептала я.

— Кто же, кроме нас, поможет вам идти? — спросил Северин.

— Умоляю тебя, Северин, — сказала Эмилия. — Постарайся не быть столь мерзким хотя бы при высоких гостях.

— Дело в том, — вкрадчиво сказала она. — Что никто не знает о вашем присутствии здесь. Вы ведь не хотели себя выдать, правда? Если только ваш муж поймет, кого вы прятали здесь, что он сделает?

Увидишь, подумала я, о, ты увидишь. Но в ответ ей лишь покачала головой, я прекрасно помнила, что все движения сестры в таком состоянии были невпопад. Да и само ощущение рассогласования с реальностью и с собственным телом еще горело во мне.

— Прошу прощения, что оставили вас. Мы были так заняты приготовлением к самому главному событию века. И, воистину, иронично, что оно произойдет в вашем семейном гнездышке.

— Ты совершаешь типичную ошибку всех кинозлодеев, Северин, уймись.

Эмилия, впрочем, тоже получала удовольствие, я это видела. Конечно, кому еще из принцепсов удавалось увидеть императрицу в столь униженном состоянии. И пусть я не была даже в сотне величайших представителей нашего рода, а правила меньше полугода, за мной стояли тысячелетия безусловной власти.

Какое это, наверное, было сладкое удовольствие вести меня, словно пьяную и говорить мне вещи столь тайно издевательские, чтобы эта дерзость лишь будоражила, но не была окончательно утолена оскорблением или грубостью.

— Куда мы идем? — спросила я. Пришлось максимально предоставить им право управлять моим телом, я едва переставляла ноги, но Эмилия и Северин крепко удерживали меня.

— Узнавать последнюю правду, — сказал Северин.

Пафосный идиот, подумала я. Я подавила свое любопытство, потому что в состоянии, в котором я была еще час назад, мне явно не хотелось бы ничего знать.

Мне хотелось только быть, существовать, присутствовать.

— Вам, наверное, сейчас совершенно нелюбопытно, — сказал Северин. — Хотя мы все равно введем вас в курс дела. В противном же случае все будет обыденно, скучно и совершенно не интересно. Плачьте о судьбе вашей династии, моя милая!

Эмилия сказала:

— Пожалуйста, Северин.

Лестница, по которой они вели меня, ожидаемо быстро кончилась. Я услышала, как разговаривают остальные люди Зверя.

— Потому что, — сказал Северин. — Мы установим над Империей иную власть.

Он вдруг засмеялся, будто породил игру слов, достойную стать афоризмом.

— Иную власть, — повторил он. — Жаль, что вы сейчас совершенно не понимаете иронии, Октавия!

Эмилия сказала:

— Совершенно не жаль, это недостаточно хорошая шутка, чтобы приходить в себя ради нее, поверь.

— Ты разрушаешь мою самооценку.

Меня веселило общение Эмилии и Северина. Эти чудовищные люди, беспринципные и бессовестные злодеи, собиравшиеся, как минимум, убить меня, вели себя как наскучившие друг другу муж и жена. Как это было забавно, но я сдержала не только смех, но и улыбку.

А потом Северин ударил меня по щеке. Я открыла глаза, закусил губу, словно пыталась справиться с забытием.

— Твое время прошло, милая, — сказал он. — Но я не откажу себе в удовольствии поговорить с тобой. Жаль, что твоя сестра мертва. С ней я бы позабавился, но ты, что поделаешь, совершенно не мой тип женщины, да и беременные меня никогда не возбуждали.

Эмилия сказала:



— Прошу прощения, Октавия. Северина вряд ли можно назвать приятным собеседником, и уж точно он не достоин и слова вам сказать. Мы делаем это не ради того, чтобы получить власть или унижить вас. Мне это не принесет удовольствия. Ваша семья сделала для Империи все. Все возможное. Настало время делать невозможные вещи. Вы идете Путем Человека, и вы не замазываете себя убийством императора и жестокостью в подавлении восстаний. Вы, к сожалению, очень плохой политик. Мы изучили вас прежде, чем принять решение.

Я снова оказалась в гостиной, под ногами, теперь я это понимала, хрустели осколки чашек, маминых фигурок, скользили обрывки ткани. Я зажмурилась, думая, что сейчас обязательно проснусь.

Я понимала, что именно они хотят сделать, и в то же время не верила в это. Звучало так, словно они говорят, что перекрасят небо в иной цвет. Нарушат сами законы мироздания.

Впрочем, я вспомнила тошнотворную преграду между мной и миром. Сегодня границы действительно были нарушены.

Но страшно не стало, не стало, не стало. Хотя бы из гордости бояться было нельзя.

В темноте я слабо различала остальных. Они казались мне тенями, не людьми. Я не видела их лиц, но слышала голоса. Они расчищали пространство, отодвигали мебель. Северин и Эмилия держали меня крепко, но я не собиралась вырываться. Не сейчас. Вряд ли я могла бы, в моем состоянии, сбежать, тем более от двоих. Аэций сказал мне ждать, и я готова была ждать.

Да убегать, по сути, было и некуда.

Вспыхнул огонь, он разогнал тьму, хотя и не полностью. Я увидела факел, а на нем — промасленные обрывки маминого платья, я узнала их по исчезавшему в пламени кружеву. Даже огонь существовал здесь по совсем иным правилам, чем в реальности. Он дрожал трусливо и тускло, вился низко, словно что-то не давало ему разгореться. Я увидела Кошку, она рассматривала что-то с факелом в центре гостиной, в расчищенном от изуродованной мебели и осколков пространстве. Наконец, Кошка нашла то, что искала — пробитую в полу неровную дыру. Она втиснула туда факел, и от него распустился крохотный бутон света. Пространство в центре было огорожено некоторой геометрической фигурой нарисованной мелом и обведенной кровью, так что получилась мерзкая, розово-красная субстанция. К простым фигурам эта не относилась никоим образом — сложный многоугольник, неровный и скошенный каким-то странным образом, словно это было извивающееся живое существо, замершее в самый неожиданный момент.

Мне стало неприятно, но я заставила себя не отводить взгляд. Остальные люди Зверя мелькали во тьме, наверное, чертили еще что-то, я слышала, как скрипит мел, и как плещется где-то жидкость. Кровь.

Кровь, о мой бог.

Впрочем, сейчас я была к моему богу ближе, чем когда-либо.

Один за одним вспыхнули в руках Кабана, Волчицы и Зайки новые факелы. Факелы установили в таких же дырах, в нескольких, словно бы случайных местах. Странно, я не ощутила тепла от огня. Он был источником слабого, безликого света. Страшно мне было не от людей. Люди Зверя были похожи на школьников, решивших поиграть с силами, которых не понимают и никогда не будут в силах понять.

Страшно мне было от того, что даже эта нелепая игра могла разрушить базовые законы, по которым функционировал мир. Такие простые вещи — свет, движение, звук. Все было

непривычно, искажено и деформировано. Я чувствовала себя словно рыба, выброшенная на берег. Я оказалась вне всего, что знала прежде.

И я понимала, что всякий, кто находится в этом здании, ощущает то же самое. И сумасшедший Аэций, и каждый из людей Зверя, столь самоуверенных, сколь и перепуганных, ощущает, как не они, но сам мир приводит сюда нечто, что никто не в силах видеть.

Противное самому существованию.

Северин и Эмилия усадили меня на стул в центре фигуры, недалеко от факела, и я без труда узнала один из тех, что стояли в столовой. Резную розу на спинке я почувствовала спиной. Это был стул моей сестры.

Пока Северин удерживал меня за плечи, Эмилия связывала руки мне за спиной. Где Аэций? Неужели он просто хочет посмотреть, что будет дальше?

Признаться честно, хотела и я. Отвращение, которое я испытывала, мешалось с магической притягательностью этого извлеченного из мира пространства. Темнота и пустота, деформировавшие все вокруг едва заметным, но ужасавшим меня образом, пугали меня, однако я желала знать, что придет за ними.

Каждый бы на моем месте желал. Это влечение было родственно тому, которое заставляет людей думать, стоя на огромной высоте, что будет, если сделать только шаг вниз. Многие говорят, что хотят испытать божественное, птичье ощущение свободного полета.

На самом деле, конечно, никого не интересует полет. Дело никогда не в полете.

Я уже понимала, они хотят уничтожить мою династию, а вместе с ней и меня. Они хотят обратиться к нашему богу, наверняка, испросить власти.

Глупые, глупые люди. Завет с человеческой частью нашего бога нерушим, он держит свое слово. И они решили воззвать к его иному лику.

Не имеющему ничего общего с миром, темному, живущему глубоко за пределами всего, к чему мы можем обращаться вслух. Они не понимали главного, в собственном боге не знали центральной, смыслообразующей части (в нем ведь, с точки зрения того, что движет нашей Вселенной и не было ничего, кроме смысла). Наш бог был своенравен, наш бог был способен на все.

И призывая его в наш мир, они могли закончить его существование. Я не знала вещей, которые стоили всеобщей, абсолютной смерти.

Может быть, знали они.

Эмилия села передо мной, привязывая мои ноги к стулу. Я не боялась быть связанной. Чем были веревки по сравнению с ощущением рвущейся нити между мной и мирозданием?

Не было никаких сил, способных удержать бога, заставить его делать то, что хочет человек. Представления о духах и богах древности, на которых можно было повлиять, не работали в реальности. Мы могли лишь смиренно просить и ждать нашей участи.

— Прошу прощения, моя императрица, — сказала Эмилия. — Мне очень жаль, что все вышло именно так. Вы, без сомнения, не созданы для политики. Но я стану вами.

— Что? — спросила я, едва не позабыв о том, какое состояние должна играть.

— Я испрошу бога передать мне не только ваше династическое право, но и ваш облик. Я убью вашего мужа, милая императрица. Я сделаю то, на что не решилась ваша сестра, и чего никогда не сделаете вы. Не ради власти, моя дорогая, власть мне скучна. Но ваша сестра трусила, а я все исправлю. Я сделаю эту страну великой. Никто так и не узнает, почему третья дочь в семье, милая и совершенно не созданная для власти, обнаружила в себе силу

для того, чтобы привести в порядок страну. Мне так жаль, моя императрица. Без сомнения, проливать вашу святую кровь кощунственно. Я уважаю выбор нашего бога, но не могу поступить иначе. Потому что это нужно моей стране.

Эмилия коснулась рукой моей щеки, посмотрела на меня снизу вверх. Я поняла, она говорит правду. Она и вправду не желает власти. Она делала это ради Империи. И я понимала ее, как никогда не надеялась понять идущих Путем Зверя. Я, наконец, увидела, что скрыто у них внутри. То же самое, что я держала снаружи.

Долг. Их свет внутри — мой свет снаружи. Их тьма снаружи — моя тьма внутри. Как непросто устроены люди, подумала я. И, строго говоря, мне хотелось уступить ей. Пусть бы она забрала мое тело. Я бы отправилась в Непознаваемое, к сестре, в царство нашего бога, распрощавшись со всем, чего я никогда не была достойна.

Я поняла, что и ехала сюда, еще ничего не зная, с тайным расчетом на то, что здесь что-то не так. Когда Децимин сказал, что не может вернуться сам из-за проклятья ведьмы, я что-то почувствовала, подумала, не лжет ли он мне.

Из милосердия, но не только, я отправилась сюда. Все это время я тайно желала исчезнуть. И как близко была эта возможность, воистину, стоит бояться своих желаний.

Но я ничего не боялась. Я смотрела на Эмилию замороженно, словно мышь на змею. Я видела в ее глазах свою смерть, благородную смерть. Как хорошо уступить другому, более достойному. Как хорошо не думать о последствиях.

Северин отодвинул Эмилию, заглянул мне в глаза, заискивающе улыбнулся.

— Что до твоего ублюдка от сумасшедшего, так с беременной женщиной могут приключиться очень разные неприятности.

Он положил руку мне на живот. В этот момент с меня слетело все отчаянное безразличие, исчезло желание бросить все, ушла покорность судьбе, какой бы она не была. Горе утопило все: ответственность, гордость рода, саму страну. Но мой нерожденный ребенок заставил меня вспомнить о том, что я ответственна за еще одну жизнь, самую главную. Я подалась к Северину вместе со стулом, вцепилась зубами в его горло, сжала челюсти и почувствовала, как обжигает горячая кровь.

Я не ожидала от себя подобной силы и такой яркой злости тоже. Когда-то я кусала горло Аэция, надеясь перегрызть его. Сейчас я была к этому намного ближе. Во рту я чувствовала скользкую плоть и соленую кожу, горячая кровь все пребывала, и когда Северин схватил меня за волосы, я не почувствовала боли. Я услышала, как засмеялась Эмилия.

Время исказилось вместе с пространством. Я понятия не имела, сколько минут провела вцепившись в горло Северина. Наверное, меньше одной. Когда он ударил меня по лицу, в голове зазвенело с надрывом, болезненно. Я сплюнула его плоть и кровь, бывшие мне отвратительными и в то же время желанными. Северин отскочил, он прижимал руку к шее, между пальцами сочилась кровь.

— Ради нашего бога, приложи что-нибудь, — сказала Эмилия.

— Безмозглая дрянь, — прошипел Северин, и отчего-то, может от тумана в голове, я не поняла, ко мне он обращается или к Эмили. Северин достал из кармана нож, подошел ко мне, одной рукой взял меня за подбородок, другой неловко срезал кусок моего платья. Получилось у него неаккуратно, он оставил на моем бедре длинные царапины, но я не позволила себе издать ни звука. Внутри занервничал ребенок, я закрыла глаза и глубоко вдохнула.

Прости, мышонок, подумала я, у меня получается быть твоей злой на весь мир мамой, а

не осторожной.

— Потерпите, — сказал Северин. — Ах как жаль, что я не могу вырезать из вас ребенка, раз вы так им дорожите. Нет, вы должны быть живы, милая, когда все начнется. И в презентабельном виде. Но я тоже хочу причинить вам боль за то, что сделали мне вы.

Он тесно прижал кусок ткани к шее, зашипел.

— Как досадно! Ну как же досадно! Знаете, что еще досадно? Вы, наверняка, не знали, что вовсе не господин Флавий отравил ваших матушку с батюшкой. Конечно, у него были мотивы. Безупречные мотивы. И у него нашли яд, убивший их. Но вовсе не он отправил на тот свет ваших родителей. Мы занимались всем, что было связано с полицией. Купили тех, кого нужно было, подстроили все, что было необходимо, чтобы господин Флавий попался в ловушку. Но яд подсыпала ваша ненаглядная сестра. И о, она сделала это не дрогнувшей рукой.

Я засмеялась.

— Ах, вы нелепый злодей, господин Северин, — сказала я. — Неужели не думали, что я знаю куда больше вашего?

Впервые я говорила с такой уверенностью, никогда еще я не ощущала себя настолько непобедимой. Как глупо это было в окружении людей, желавших призвать моего бога на землю.

Но о, как тщетно он пытался унижить меня или оскорбить. Как тщетно пытался причинить мне боль. Физическая боль лишь злила меня, больше не пугала. Что до его признания — я знала куда больше.

И я жила с этим каждый день. Я знала, чья рука творила яд, и чья его подсыпала. Знала об этом преступлении вещи куда более интимные, чем подкуп полиции и преторианской гвардии.

Не в первый раз убивают императора и императрицу, и как наследники живут с этим — вовсе не секрет. Не секрет и то, как они умудряются обойти закон.

Я никогда не причиняла никому зла, но я была недостаточно внимательна. И недостаточно смела. И я жила с этим, жила. И, может быть, я предпочла бы узнать об этом только сейчас, прожив в благостном неведении все эти годы.

Боль была бы чудовищна, но каким бы подарком был тогда каждый день до этого.

— Господин Северин, — сказала я. — Вы разозлились? Я думаю, если вам так льстит разграбить мою гостиную или ударить меня, уничтожить мою династию или страну, вы с радостью походите отмеченным мной, это будет освежать ваши воспоминания об этой долгой ночи.

Я улыбнулась ему зубами, наверное, розовыми от его крови.

В этот момент я слышала музыку. Песня была знакомой до боли. Мы с сестрой слушали ее вечерами, и сестра расчесывала свои прекрасные волосы, а я смотрела на чудесное море. В песне пелось о том, что завтра никогда не наступит.

Завтра никогда не наступит, завтра никогда не придет.

И когда мы все отправимся в удивительное место,

Наступит вечное, неповторимое сегодня.

Чудесная песня, мрачному значению которой я прежде не придавала значения. Я с точностью представляла, как крутится сейчас в патефоне старенькая, покрытая крохотными царапинками пластинка. Оранжевый зрачок в середине вертится так быстро, что все надписи, покрывающие его, сливаются в водоворот из темных полосок.

Нет ни названия песни, ни ее исполнителя — все стерлось из моей памяти, слишком быстро вертелась пластинка. Остался лишь звук.

Сердце в груди забилося чаще. Разве думала я когда-нибудь, что буду так ждать варвара, захватившего мою страну, чтобы он спас Империю от принцепсов, готовых сжечь ее в огне своей гордости? Какой прекрасный абсурд, и какая прекрасная песня.

И я начала петь.

Северин выругался, Эмилия кивнула Кабану и Зайке.

— Посмотрите, что там.

Я увидела в руках у обоих пистолеты и поняла, что волнуюсь за Аэция. Это было странное чувство, на которое я разозлилась.

— Заткнись! — рявкнул Северин. Эмилия оставалась абсолютно спокойной. Словно ничто не могло пойти не так. Эмилия села в кресло, отодвинутое ближе к окну, взяла недопитый бокал вина.

— Не нервничай, — сказала она Северину, а затем обратилась ко мне. — В конце концов, вы весьма хороши в пении, моя Императрица.

Музыка и мое пение заглушали звуки шагов, затем Северин зажал мне рот, и осталась только музыка. Тогда я и услышала выстрелы. Они вплетались в музыку удивительно гармонично, дополняя ее, а не искажая. Северин тут же отпустил меня и схватил пистолет. Я увидела, что мой укус на его шее все еще блестит красным в ненадежном и слабом свете, позволявшем мне видеть.

Выстрелы прогремели и стихли, оставив пустоту в моем сердце. Аэций не мог умереть, думала я. Он сильный, он безумный, и он должен отлично стрелять. Хотя в темноте это, конечно, был, скорее, вопрос везения.

Что-то тяжелое с шумом спустило по лестнице. Тело, это было тело. Только пару секунд Северин смотрел в сторону лестницы, совершенно инстинктивно, вероятно, даже не думая о том, что враг придет с той стороны. Так все мы реагируем на резкие звуки. Этих секунд мне хватило, я резко подалась в его сторону, крепко привязанная к стулу, что сейчас было мне на руку. Конструкция оказалась громоздкая и тяжелая, и я сумела резким движением повалить его на пол.

Падая, я увидела, как Кошка и Волчица почти одновременно выстрелили вверх, туда, где был открыт коридор второго этажа, огороженный лишь поручнями. В темноте Аэция было едва-едва видно, а вот он стрелял по подсвеченным мишеням. Я знала, что тьма на его стороне. Однако сначала мне показалось, что они попали. Фигура на втором этаже расслабленно и безвольно зашаталась, словно кукла. Уже не человек, но вещь, подумала я. Поздно, исключительно поздно для всего.

Снова раздались выстрелы, два подряд, и я не увидела, но услышала, как пролилась кровь. Я знала, что звук этот запомню навсегда. Звук, с которым плоть человека рвется, а тело с комичным хлюпаньем выпускает кровь. Волчица схватилась за горло, но ее время, как и кровь, рвалось сквозь пальцы. Она упала. Кошка прижимала раненную руку к себе, словно баюкая ее. Пистолет упал, и Эмилия, каким-то ленивым, кошачьим движением наклонилась к нему и подобрала.

Кошка хныкала, Волчица же больше не издавала ни звука.

Но тело над нами ведь явно было мертво. Северин оттолкнул меня, выбираясь, и я оперлась руками о пол, чтобы не навредить себе, упав, умудрилась даже аккуратно приземлиться.

Тело снова пошатнулось, потом я услышала голос Аэция. И если в темноте его было едва видно, то слышала я очень хорошо:

— Я несколько грубо обошелся с вашими товарищами. Этому и вовсе вырезал глаз. Не знаю, зачем. Знаете, очень тяжело остановиться, начав.

Голова безвольно кивала, словно игрушка в руках у чревоушателя. Только тогда я, наконец, поняла, что он использует тело Кабана, чтобы прикрываться от пуль. Это был голос Аэция, тихий, задумчивый, но сейчас он казался по-настоящему страшным.

Тело отправилось в полет, рухнуло ровно на границе между светом и съедавшей его темнотой. Я увидела в голове Кабана кухонный нож, которым прислуга частенько разделывала мясо, и мы с сестрой часто приходили смотреть на это жестокое таинство из детского любопытства. На покрытой фарфором ручке, которую прежде сжимала рука старенькой поварихи, блестели черные в слабом свете капли крови.

Лезвие, бог мой, впивалось ему, наверное, прямо в мозг, и это с какой силой нужно было воткнуть его, чтобы проломить череп. Оно проходило до половины, казалось, еще чуть-чуть, и оно пропорет щеку. Но этого так и не случилось. Меня затошнило, и в то же время я не испытала столько отвращения, сколько стоило бы. И даже не испытала только отвращение.

Я увидела на месте одного его глаза черный провал. Второй был открыт и залит кровью. Маска кабана и лезвие, торчавшее из головы сочетались в высшей степени иронично. Отсутствие глаза же было страшным, пустотным.

Эмилия и Северин тут же прицелились, хотя Аэция все еще было плохо видно. И все же теперь попасть по нему было реальнее.

— О, нет, — сказал Аэций. — Перед смертью я убью ее. Мы с ней умрем вместе, словно любовники из второсортного романа, которые до ужаса боятся повзрослеть и не сойтись характерами. Но вы ведь этого не хотите? И я, наверное, не хочу.

— Ритуал уже не закончить, — сказала Эмилия. — Если ты, животное, выстрелишь в нее, наш бог разъярится, не получив приношения.

— Если я, животное, выстрелю, все закончится для всех. Не самый плохой конец. История — это всего лишь история. Какая, в сущности, разница?

Он действительно направлял пистолет на меня. Я задрожала. Я верила, что он может убить меня.

— Чего ты хочешь? — спросила Эмилия. Северин тихо выругался, и я явно услышала после ругательства имя "Децимин". — Мы не можем закончить ритуал.

— Да, я понимаю. Он уже здесь, разве не так?

Аэций вскинул голову, словно принюхивался. Свет выхватил его, но так ненадежно, что я не могла увидеть выражение его лица.

— Я хочу, чтобы вы продолжили ритуал. Приведите его. Иначе мы не выберемся отсюда, а ваш бог может разъяриться от долгого ожидания. Я не люблю злых богов. Это мне точно не нравится.

— Продолжили? — спросила Эмилия, а Северин засмеялся.

— Что, Аэций?

— Прости, Октавия, но раз уж ритуал никак нельзя закончить, остается лишь надеяться на милосердие твоего бога.

— Ты с ума сошел?!

Аэций помолчал, затем сказал:

— Да. Конечно. В общепринятом смысле я не был в своем уме с самого начала.

— О, эти забавные зверьки. Незачем было убивать, если ты хотел только посмотреть, — засмеялся Северин.

— Я люблю убивать, — сказал Аэций. Тон у него был подчеркнута вежливый, растерянно-тихий, с его словами совершенно не вязался, будто его озвучивали, а не он говорил. И актер был просто совершенно бездарный.

— Вот он, ваш великий Аэций, которому вы сдались, Октавия? — спросил Северин. Я молчала.

— Вперед, — сказал Аэций. — Ты же должен убить кого-то, да? Это открывает врата. Или вы вместе. Нет, наверное, женщина. Женщина должна убить. Я просто подумал, это было бы лучшим выходом. То есть, входом.

Как нам было хорошо в этот чудовищный день. Знал бы ты, милый мой, как я виню себя за радость, которую испытывала тогда. Если бы я знала свое будущее наперед, я скорбела бы о наступлении этого дня, истязала бы себя и рыдала в ожидании рассвета.

Но неведение все-таки благо, мой дорогой и, возможно, лучшее из всех.

Мы смеялись до слез у Грациниана дома. Он жил в просторной двухэтажной квартире, в которую я всякий раз заходила, словно в музей. Я была далека от восточной культуры и эстетики, однако любопытна. Забавно, милый, я с жадностью подходила к исследованию квартиры Грациниана, словно выхваченной из Парфии и перенесенной сюда в абсолютной сохранности, однако мне дела не было до культур более близких и менее изученных. Люди бездны воспринимались мной, как носители культуры низкого пошиба, практически исчерпывающей себя на создании собственной письменности. Глупое мнение, отвратительное мнение, за которое мне, несмотря на то, что я не изжила все свои предрассудки, несколько стыдно.

Варварская карнавальная культура увлекательна, у ведьм сложная система моральных ценностей, далеко оставляющая позади даже нашу, воры же скрывают свои произведения искусства, хотя они прекрасны. Но были времена, когда я не задумывалась обо всем этом, проходя мимо.

Парфяне же, хотя на геополитическом уровне наши страны враждовали, воспринимались принципсами и преторианцами, как равные соперники, создатели цивилизации не низшей по отношению к нам, но альтернативной. Кроме того, ловко поддерживали загадочную атмосферу вокруг своей страны. Что ни говори, а умелой подаче материала нам стоит поучиться у Востока.

В квартире Грациниана не было уютно — слишком уж она отличалась от всего, к чему мы привыкли. Фактически, там не было мебели. Ни кресел, ни диванов, ни кроватей. По полу были щедро разбросаны подушки, столь мягкие, что в них, казалось, можно было утонуть. Их было много, все они были одинаково алые, с нежными кисточками по углам, которые я очень любила теребить. Ходить было не слишком удобно, ноги утопали, а при достаточном невезении можно было поскользнуться на подушке и отправиться в неприятный полет с приятной посадкой.

Грациниан, впрочем, никогда не падал, но я не знала сколько в этом культурной надстройки, а сколько его природной, просто удивительной ловкости.

Стола в нашем понимании этого слова тоже не было. Вместо него был деревянный инвалид без ножек, низкий и, вероятно, для местного интерьера очень удобный.

Однажды я спросила у Грациниана, почему они не используют мебели, и Грациниан ответил, что принято сидеть низко, чтобы быть ближе к Матери Земле. Спать, есть и пить, разговаривать, сидя на полу, было странно, неудобно и дико, но оттого еще более интересно. Я в восторгом наблюдала за Грацинианом, который вел себя так естественно в этом чуждом нам с сестрой пространстве.

Золота было много: блестящий орнамент оплетал окно, словно рамка картину, так что всякий пейзаж казался запечатленным, драгоценные фигурки зверей и птиц болтались на люстре, словно игрушки, которые вешают над колыбелью младенца, но самой интересной



деталью были цепи, висевшие на крюках, глубоко ушедших в стены. Они были достаточно крепкими, чтобы выдержать человеческий вес и снабжены удобными рукоятками, покрытыми тонкой резьбой, так что представляли собой нечто среднее между украшением и спортивным снарядом.

Сестра спросила у Грациниана, зачем они, и тот ответил, что старым, больным и пьяным намного удобнее подниматься с их помощью.

Грациниан не держал дома никаких изображений — ни фотографий, ни картин. Зато у него был громоздкий, похожий на арфу музыкальный инструмент. Однажды он играл нам, и я удивилась, как его пальцы, умевшие извлекать столь пронзительные крики из сестры, способны были создавать и нечто столь нежное.

Кухня, наверное, была единственной комнатой с привычной мне мебелью и оборудованием. Может, потому что кухарка, готовившая Грациниану, не хотела глубоко погружаться в обычаи и культуру своего хозяина.

У Грациниана было по-особенному, никогда прежде я, дочь императора, не была в доме, где мне были столь рады и так щедро и нежно ухаживали за мной. У Грациниана всегда находились для нас время, изумительные угощения и чудесный разговор, всегда согласованный с нашим настроением, открытый и искренний.

Иногда мы могли смеяться всю ночь напролет, иногда позволяли себе поплакать, а иногда обсуждали проблемы столько серьезные и глубокие, что расходились на рассвете в глубокой задумчивости.

Странное дело, я изнывала от ревности, когда Грациниана не было рядом, но как только я видела его, все проходило, я чувствовала симпатию, и тепло, исходящее от него, растапливало лед моей ревности.

В тот день было как-то особенно хорошо, и я радовалась нашему единению, как никогда ощущала дружбу, связывавшую нас в нечто единое, живое, целое. Был чудесный вечер, и у каждого из нас было веселое, задорное настроение. Так что было решено провести заседание Клуба Странников Строгих Нравов. КССН, как мы его для удобства называли, был придуман нами после возвращения из Британии, где мы провели достаточно времени с дистиллятом цвета нашей страны, чтобы проникнуться их страхами, надеждами и чаяниями. Мы быстро впечатлились собственной выдумкой, КССН приобрел в наших глазах культовый статус. Мы общались цитатами и выдумывали все новых и новых персонажей, юмористическое очарование которых было в их потрясающей типичности.

Но любимых у нас, конечно, было трое.

Господин Валентиниан, владелец фабрик, особняка на Капри и высоких моральных устоев, господин Аврелий, знатный принцепс не первой свежести, который хоть и выглядит как подросток, даст фору всем вокруг по части старческой злости на весь мир и, наконец, госпожа Корделия, богатая вдова одержимая желанием выгодно выскочить замуж, но в силу своей неспособности нарушить несовместимый с жизнью ригоризм правил приличия, не способная ни с кем познакомиться поближе.

Обычно все происходило так: мы брали газету, находили светскую хронику и обсуждали, каким образом и насколько фатально пали нравы за последнюю неделю. Я предупреждаю, мой милый, вряд ли это все покажется тебе смешным. Когда ты пришел, все люди, которых мы высмеивали в своих играх, тряслись от страха, позабыв о своем снобизме. Но видел бы ты их в лучшие годы! Образцы благопристойного злословия — жанра, который, к моему великому сожалению, нынче уходит в прошлое.

На Грациниане было расшитое жемчугом платье, однажды подаренное сестре заботившейся о ее внешнем виде тетушкой и строго следовавшее моде и приличиям пятидесятилетней давности. В его растрепанных волосах торчал черепаховый гребень подаренный той же тетушкой на тот же праздник, но уже мне. Грациниан смотрелся комично, нелепо и очаровательно вместе с тем. Однажды я видела, как он снимает это платье, само по себе безнадежно дурацкое, и остается в белье сестры. Я подсматривала за ним, и мне до сих пор за это стыдно, дорогой. Но тогда вместо комического эффекта, который свойственен трагедии, я увидела совсем иное. Грациниан был прекрасен и порочен в шелке ее белья. Казалось, белье сестры, впитавшее дух ее кожи, он носит, словно религиозный атрибут, символ своего единения с ней.

С тех пор я старалась за ним не подсматривать — слишком взволновало меня увиденное, слишком нарушило мои представления о том, что правильно.

Мы с сестрой сидели в мужских костюмах, на мне были очки, делавшие мир расплывчатым, и я часто стягивала их на нос, чтобы одарить кого-нибудь из собеседников скептическим взглядом, позволявшим мне увидеть их в подробностях.

Сестра сжимала в руке трость, которую господин Аврелий, по ее признанию, в давние времена использовал, чтобы побивать молодежь. Времена были такие давние, что в школах еще не были отменены физические наказания. Те же доисторические глубины, в которых господин Аврелий сам был молод, еще не были отмечены в отечественной историографии.

Мужской костюм мне не нравился, он был совершенно неудобен, изобиловал пуговицами, застегивать которые надоедало, а в рудименте тоги, идущем через плечо пиджака, я умудрялась пугаться.

И все же было невероятно забавно смотреть на себя в зеркало на потолке. Еще одна странность квартиры Грациниана — зеркальный потолок по его мнению заменял зеркала нормальные, висящие и стоящие прямо перед тобой.

Я прокашлялась, затем, стараясь придать своему голосу мужественности, сказала:

— Господа, объявляю заседание клуба открытым. Добро пожаловать! Сегодня на повестке дня у нас...

Я полистала газету, но буквы расплывались, на носу очки держать было неудобно, а стянув их полностью, я выходила из роли.

— Прошу прощения, господа, — сказала я. — Сегодня что-то не то с моими глазами. Если мне будет позволено заметить, я виню в этом молодежь. Нынешние редакторы совсем не заботятся о зрении своих читателей. Предыдущий редактор "Императорского еженедельника" самолично читал его мне вслух. Дорогая Корделия, не могли бы вы помочь мне?

— О, — промурлыкал Грациниан. — Разумеется, господин Валентиниан. Давайте я почитаю для вас.

Он цокнул языком, с досадой покачал головой.

— Какой ужас!

— Что там, госпожа Корделия?

— Сын господина Андроника, достопочтенного иберийского аристократа и сенатора, снова участвует в этих чудовищных забавах.

— Прошу простить, если я не так понял, но не свальным ли грехом он занимается? — уточнила сестра.

— О, нет, хуже, много хуже господин Аврелий. Он выиграл автогонки.

Я схватилась за сердце, сестра возвела взгляд к зеркальному потолку, не скрывая наслаждения, с которым смотрела на себя даже в столь комичном амплуа.

— В мое время, — сказала она. — Машины нужны были людям не для того, чтобы бездумно гонять по трассе, а для того, чтобы мои чудесные лошади могли проводить дни так же, как и я, в праздности и лени.

— Я думала, — сказал Грациниан. — Вы были прославленным военным.

— Я тоже так думал, — сказала сестра. — Однако, на прошлой неделе внук посвятил меня в детали моей жизни. Оказалось, я жил на ренту, а прославленным военным был мой брат. О, благословенные дни, когда лентяи и генералы обладали одинаковым достоинством!

Мы оглушительно засмеялись. О, дорогой, какой же мы несли бред и сколько удовольствия получали от этого, какими остроумными казались себе, не имея на то никаких причин.

— Продолжайте, прошу вас, — сказала я. — Сын Андроника, наверное, участвовал в автогонках, чтобы кредиторы не забрали его поместье? Не могу найти еще хоть одну причину сесть за руль. Почему он просто не нанял водителя, если так хотел поучаствовать в гонках?

В это время зазвонил телефон, Грациниан поднялся.

— Приношу свои извинения, господа, мне нужно ответить на звонок. Надеюсь, вы не заскучаете без меня.

— Не заскучаем, госпожа Корделия, — сказала сестра. — Мы ведь учились в закрытой школе для мальчиков.

Мы снова засмеялись, а Грациниан пошел к телефону, висевшему в коридоре.

— Да?

Он некоторое время молчал, затем сказал:

— Нет, это Шакир-Джэвед. Я отпустил прислугу.

Свет был яркий, а золото добавляло ему резкости, поэтому я хорошо видела Грациниана, стоявшего в коридоре. Он задумчиво перевесил гребень за ухо, дожидаясь ответа, а затем, почти сразу, побледнел.

— Санктина! — крикнул он. — Октавия! Это вас!

— Что случилось? — спросила Санктина.

Грациниан закрыл ладонью микрофон на трубке.

— Какой-то господин Ливерий.

Мы с сестрой переглянулись. Господин Ливерий был начальником безопасности до отца Кассия, дорогой. Полагаю, именно отца Кассия подкупили Эмилия и Северин, потому что просто так столь высокие места не занимают. Ах, как все в жизни связано, и как грустно.

В глазах сестры мелькнуло понимание. Сначала я подумала, что это из-за того, что сестра всегда соображала быстрее меня. Сердце дедушки исчезло из храма, и мы боялись, однако, человеку свойственно забывать об ужасах грядущего. Я думала, сестра вспомнила быстрее. Думала, что она связала звонок господина Ливерия с пропавшим из храма сердцем, предвещавшим беду, вот и все. Только несколько дней спустя я поняла истинное значение того взгляда.

Сестра метнулась к телефону. Она пожалела меня, она взяла трубку, выдавила из себя:

— Да? Это Санктина.

Она прижала руку ко рту, слушая что-то, а я все не верила, что случилось нечто ужасное. Я видела и не верила. Мне казалось, ничто не может испортить такой прекрасный день. Я,

моя сестра и мой друг, мы были так счастливы. Я думала, чудовищные вещи случаются лишь в чудовищные дни.

К примеру, как наша встреча, милый. Впрочем, тогда все дни были чудовищными.

Сестра говорила что-то, а я только смотрела. Мне было так страшно, мой родной, и в то же время я не осознавала, что все бывает именно так. Я тоже все поняла, и в то же время не поняла ничего.

Сестра положила трубку.

— Отец и мать в больнице. Нужно ехать.

Как странно было скидывать с себя карнавальную одежду, дурацкий мужской костюм, зная, что в это время родители умирают.

Мой дорогой, ты ведь уже понял, что я хорошо помню свою жизнь, коллекционирую, словно бусинки, картинки и ощущения, заполняю, как девичий альбом моего детства, каждую страницу и с благоговением вспоминаю. Память, мой дорогой, особая ценность принципсов. Мы свято верим в то, что нужно помнить, чтобы понимать. И моя хрустальная, рафинированная жизнь для меня словно книга, в которой есть бесконечное количество сносков. И я бережно отношусь к ним.

Однако тот день, и еще несколько последующих я едва помню. Милый мой, все словно в тумане. Я пришла в себя, когда сердце папы оказалось в пустой груди моего бога.

Я не могу сказать, что безумно любила родителей, или что они любили меня, но они были дороги мне. Не близки, но дороги, ты понимаешь, о чем я говорю? Я не хотела терять их, и тем более не хотела терять так страшно. Все дети готовы к тому, что родители уходят, но в свое время. Старость для нас, словно смерть по своей воле.

Родители были отравлены.

К тому времени, как мы приехали, папа уже умер, к маме нас не пустили, о ее смерти объявили еще через два часа. Я не спрашивала, как все произошло. Никогда не спрашивала и не хочу знать.

Все случилось не сразу из-за неправильно рассчитанной дозы яда. Родители даже успели рассказать кое-что о господине Флавии. Все слишком гладко складывалось, слишком удачно разгадывалась загадка.

Но тогда я не думала об этом. Позже я узнала, что яд был рассчитан идеально и сработал именно так, как нужно было убийце.

А тогда, помню, что удивилась тому, что моих родителей, императора и императрицу, величайших людей страны, привезли в тот же морг, что и другие тела. Я словно думала, что им полагается отдельное место, потому что они не такие как другие люди.

Я плакала, но не осознавала, почему. Даже боль не приходила.

Сестра взяла на себя все обязанности по организации похорон. Это было даже правильно. Убийца хоронит своих убитых. Есть такая поговорка, дорогой, помнишь ее?

Я целыми днями бестолково ходила по дворцу, словно призрак. Я спрашивала сестру, помочь ли ей, но она только качала головой.

Мне стало легче только, когда завершился этот чудовищный переход — из существующих родители стали существовавшими, в гробницах надежно скрылись тела. Я смотрела, как сестра погружала сердце в дыру в груди бога. Нити впивались в него, и мне казалось, что по ним идет в статую кровь.

Я плакала, ведь это была часть моего папы.

Позже, когда ты погрузил туда же сердце моей сестры, я ощущала злость и ненависть, за

которые отчасти благодарна тебе. Они не дали мне почувствовать боль прощания.

Домициан взял на себя общение со страной, выступал со сдержанными, полными достоинства речами. Помню, тогда из существа столь малозначимого, что даже помнить о нем было не обязательно, он стал для меня человеком хорошим и ответственным.

Еще несколько дней оставалось до официального вступления сестры на престол, однако же это была лишь формальность. Она уже стала императрицей, и это преобразило ее. Сестра испытывала недопустимую радость от выполнения своих новых обязанностей, но я старалась этого не замечать. Она встречалась с Сенатом, писала речи, просматривала папины документы. Я знала, что так и нужно. Но, дорогой мой, это все равно казалось мне кошунством.

И я не могла выкинуть из головы ее взгляд, когда Грациниан сказал, кто звонит. Нет-нет, глупости, все ведь было очевидно, думала я. Но нечто во мне, что еще называют интуицией, протестовало.

Никогда больше, до самой ее смерти, я не чувствовала себя одиноко, как тогда. Я думала вещи ужасные и чудовищные о моем самом дорогом человеке безо всяких на то причин. Вернее, у меня были причины — домыслы, капли в океане.

Но в капле мой дорогой, в конце концов, содержится то же, что и в океане. Я очень хорошо помнила о талантах Грациниана в изготовлении ядов. И о той фразе, брошенной сестрой невзначай. О том, что она хочет кое-что попросить у него.

И все же, когда я пыталась уложить все в голове, звучало, словно бред сумасшедшей. Сестра не видела родителей две недели перед роковым днем, она подчеркнуто не интересовалась ничем, кроме удовольствий и никогда не говорила даже мне, что хочет поскорее стать императрицей. А ее нынешнюю активность легко можно было принять за ответственность.

Если бы не случайность, я так и не узнала бы правды, со временем забыла бы свои подозрения, и так, наверное, для всех было бы лучше.

Одной из ночей, красоту которых я на некоторое время перестала ощущать, я шла в храм, чтобы поговорить с моим богом. Только с ним я могла теперь говорить открыто, сестру я избегала, сама не понимая, что делаю это.

Я шла в храм, чтобы попросить прощения у родителей за все, что я делала не так. Я знала, что бог передаст им мои слова, утешит их в минуту смертной тоски.

Смертной. Тоски. Я утерла слезы и услышала голос сестры. Он был тихим, слова не разобрать, но я поняла, что она тоже плачет.

Как можно тише я подошла ближе, будто маленькая девочка скрываясь за деревьями. Теперь я могла различить слова, пусть и не слишком надежно — до меня долетали лишь обрывки фраз, сестра говорила больше, чем я слышала.

— Я не думала, что буду обращаться к тебе. Но Зверь мне не поможет. Не поймет меня. Ты... я не знаю, как с тобой говорят. Но я чувствовала тебя, тогда, принимая дар.

Сестра говорила что-то еще, но я не могла распознать ее речь. Кроме того, она горько плакала, и в слезах тонули отдельные слова. Я понимала, что сестра обращается к моему богу, к его человеческому аспекту, которому поклонялась я.

— Я причинила ей боль. Я не могу раскаяться, не могу возненавидеть себя и его за то, что мы сделали. Не могу думать о них. Но я причинила боль ей. Если она никогда не оправится?

Дальше снова последовал провал, я услышала лишь слово "наказание".

Но даже если бы она ничего не сказала, я непременно поняла бы все. Она плакала, а ведь сестра делала это так редко, с тех пор как мы стали взрослыми — почти никогда. Лишь раз я видела ее такой, во время первого приступа.

Сейчас она плакала от боли, которая никогда бы не сломала ее, не заставила бы лить слезы, если бы только не принадлежала мне. Сложно объяснить, мой милый, как легко я все поняла. Может эти случайные фразы лишь дополнили мои подозрения, и картинка сложилась. Но я думаю по-другому.

Мой дорогой, вот в чем дело: она хотела, чтобы я услышала. Моя сестра внимательна и осторожна. Она знала, что я приду. Она хотела, чтобы я пришла. Она ждала меня.

Чтобы признаться.

В детстве мы договорились не таить друг от друга злость, и через столько лет, в тот день, я не нарушила своего обещания.

— Выходи, — крикнула я. — Выходи оттуда!

Сестра поднялась. Плечи ее были опущены, в ней не было ничего царственного именно теперь, когда она стала императрицей. Она шла ко мне, словно на казнь. У нее были красные глаза, но губы не дрожали.

— Ты и Грациниан, — сказала я. — Мы смеялись вместе, мы дружили! Да даже в тот день мы были рядом, а ты уже знала, как все случится! Вы оба! Вы все знали, и вы могли смеяться! Все вы знали, и вы могли жить с этим, быть прежними!

В этот момент сестра приложила пальцы к моим губам, покачала головой. Глаза у нее были отчаянные.

И тогда я ударила ее. Я впервые в жизни ударила кого-то. Мою сестру. Человека, которого любила как никого на свете. В темноте ее губа будто бы кровоточила черным.

Черная, мерзкая кровь, подумала я. Наша кровь. А потом мы кинулись друг на друга. Императрица и ее сестра катались по траве, вцепившись друг другу в волосы, словно девочки-подростки из неблагополучной семьи.

Казалось, она злилась на меня не меньше, чем я на нее.

Мы дрались долго и ожесточенно, оставив друг другу множество царапин и синяков.

На долгое, долгое время эти царапины и синяки остались нашими последними подарками друг другу. Изможденные злостью мы лежали рядом и смотрели, как исчезает с рассветом луна.

Как я злилась на нее, в какой была ярости.

Но я не ненавидела ее, милый. Я ничего и никому не сказала. Не смогла, не захотела, не решилась — все вместе.

Я не была хорошей дочерью — я оставила убийцу моих родителей безнаказанной.

И не была хорошей сестрой — я позволила моей Жадине стать убийцей.

Все пропало.

Аэций сказал:

— Я так понимаю, вы не слишком-то ей дорожите. Стоило ожидать.

Послышался щелчок затвора. Я едва видела пистолет в его руке. Неужели вот она — моя смерть? Нелепая металлическая штука в руках сумасшедшего.

Мне стало так обидно, что я доверилась Аэцию. Ни на секунду нельзя было забывать, что передо мной опасное, безумное животное.

— Дело в том, что нужно снова поместить ее в центр фигуры, — сказал Северин. Казалось, что ситуация раздражает, пугает и забавляет его одновременно.

— Да, конечно. Порядок есть порядок. Только резких движений делать не нужно. Хорошо? Понятно? Да, по-моему, это хорошо и понятно.

Северин со всей осторожностью, на которую был способен поставил стул, к которому я была привязана и передвинул его в центр. Ствол пистолета двигался за мной, словно глаз хищника.

Лучше бы он так и не пришел, подумала я. Эмилия убила бы его в моем обличье, он это заслужил.

Впрочем, он здесь все равно умрет. Их трое, он один.

В этот момент раздался выстрел. Меня в равной степени пронзили страх и надежда. Страх оттого, что я испугалась — выстрелили в меня, просто я еще не почувствовала боли. Надежда — выстрелили в Аэция и, по крайней мере, я буду отомщена. И все же, несмотря на страх и ненависть к нему, я пыталась найти в нем хоть что-то настоящее. Ему было плевать на меня, даже на страну, но он ведь искренне хотел защитить своего ребенка.

В темноте я совершенно не видела его лица, рука с пистолетом же была неумолимой.

Что-то рухнуло на пол позади, я обернулась. Кошка, еще секунду назад баюкавшая свою руку, лежала на полу. Красная ягода пулевого ранения была чуть выше ее живота. Кошка дышала, и я увидела, что ее губы, словно сиропом, измазаны кровью. Кабан не вызывал у меня такого омерзения, он уже был мертв к тому моменту, как Аэций скинул его вниз.

Кошка же умирала у меня на глазах. Я вспомнила, как она принесла мне фруктов, и тем самым отчего-то меня успокоила.

— Ты ошибся, — сказала Эмилия задумчиво рассматривая пистолет. — Ей не нужно умереть. Ей нужно умирать. Мы использовали ее кровь в обряде. И пока она пребывает между бытием и небытием, он найдет путь сквозь нее по нашим знакам.

— Прощу прощения, — сказал Аэций. — Дело в том, что я понятия не имел, как все должно проходить. Я просто предположил. Да-да. Хорошо. И я все еще готов застрелить Октавию, если вы обманываете меня.

— Совершенно нет, — сказал Северин. — Хотя признай, зверек, если бы это был наш план, он оказался бы достаточно хитроумным, чтобы тебя провести.

— Да. Наверное. Хороший план.

— Что ж, — сказал Северин. — Прощайте, императрица. Жаль, жаль, жаль!

Северин поцеловал меня в щеку, в этот момент Аэций сказал:

— Отойди, пожалуйста.

— Или что? — спросил Северин. — Застрелишь ее?

— Да. С такого ракурса я могу застрелить вас обоих. Соблазн достаточно велик. Даже не уверен, что смогу управлять своей рукой.

— Думаешь, я боюсь сумасшедших?

— Все боятся сумасшедших, — сказал Аэций. И, словно подтверждая его слова, Северин отпрянул от меня, перешагнув границу, нарисованную мелом и размытую кровью.

Музыка все играла, одна и та же песня опять и опять. На другой стороне пластинки скрывалась вторая песенка, намного более оптимистичная. Она называлась "Но я всегда буду любить тебя", и больше я никогда не послушаю ее. От этого мне было так грустно, словно я упускала самое главное в жизни. Всего-то перевернуть пластинку и, мне казалось, я умру счастливой.

Да-да, вот так. Завтра никогда не наступит, но я всегда буду любить тебя. Всегда.

Руки и ноги затекли, но я практически не обращала внимания на боль. Все заканчивалось, и мне незачем было думать о таких глупостях в последний день моего существования.

На фоне музыки хриплое дыхание Кошки было неожиданно отчетливым, и чем дальше, тем громче и аритмичнее оно казалось мне. А потом то ли игла соскользнула, то ли пластинка поцарапалась, и музыка начала искажаться, раздался пронзительный, неблагозвучный визг, голос, поющий песню изменился, словно звук по-иному проходил по воздуху. Слов теперь было не разобрать, и хотя я все еще понимала, что некогда это была музыка и даже моя любимая песня, теперь в ней не было ничего приятного. Атональная, искаженная скрежетом и визгом, она неслась по окружающему пространству, словно обезумевшая птица, которая мечется по комнате, врезаясь в стены, пока не упадет замертво.

Слова уже были неразличимы, мелодия деформировалась, ее сминали иные законы, и ничто, анти-мир, врывается в мою гостиную. Дыхание Кошки становилось все громче, словно этот звук был маяком для кого-то. Воздух с хрипом рвался из ее легких и со свистом проникал внутрь. С каждой секундой эти отвратительные звуки становились все оглушительнее. Мне захотелось зажать уши, и я задергалась, пытаюсь освободить руки. Я понимала, что у меня не получится, но это было неважно, настолько отвратительно мне было ее дыхание. Когда я увидела, как свет наполняет контур странного многоугольника, в центре которого я находилась, я подумала, что сошла с ума от нарастающей силы хрипов умирающей Кошки. И хотя, казалось бы, ничто не должно было удивлять меня, ведь я оказалась в шаге от своего бога, я не могла поверить, что сантиметр за сантиметром, словно электричество идет по проводу, золотым занимается контур фигуры вокруг меня. Забавно, но все это смотрелось даже почти празднично, словно зажигалась гирлянда.

Так ярко, подумала я. Еще я подумала: прости, мышонок.

Темно больше не было, впрочем, светло тоже. Наверное, можно было сказать, что наступили сумерки, но и это было бы не совсем правдой. Все было холодным и серым, словно мы оказались по ту сторону экрана черно-белого телевизора. Цвет имело лишь это странное, путешествовавшее по крови на полу, электричество. Казалось, оно пульсировало. Изредка картинка меркла, и все мы оставались в полнейшей, совершенно невероятной темноте. Словно слепли.

Может быть, подумала я, человеческий глаз просто не в силах воспринять сигнала, который проходит сквозь наши глаза в эти моменты.

Я видела Аэция всего секунду, в сером свете черно-белого фильма, воспроизводимого в высокой контрастности. Он стоял, направив пистолет на меня. На его рубашке я увидела



брызги крови, целую россыпь казавшихся черными пятен. Взгляд у него был блуждающий, как и всегда, и очень спокойный. Он улыбнулся мне уголком губ, по-настоящему нежно, и я поняла, что он не застрелил бы меня. Затем все кануло в черноту, а когда коридор над гостиной вынырнул из этой тьмы, Аэция там уже не было.

Я обернулась, чтобы увидеть Эмилию и Северина, но и их не оказалось рядом.

Была умирающая Кошка, дрожавшая, судорожно сжимавшая руки. Я только надеялась, что она готова была умереть. По крайней мере, тогда все было бы не так страшно для меня.

Для нее же, наверное, ничего не менялось. Я была уверена, что умирая так долго, обязательно разочаруешься в своем решении. Искреннее самопожертвование возможно лишь при возможности очень быстрой смерти. Человек, прощающийся с миром и с самим собой дольше минуты непременно передумает.

Ведь как это страшно — умирать.

Я снова посмотрела вперед, в конце концов, если я могла хотя бы крутить головой, нужно было пользоваться этим и видеть как можно больше. И я увидела себя.

Мне было, наверное, около пяти, у меня были две косички и два потока горьких, детских слез. Я смотрела на себя саму, словно на чужую девочку, которую запечатлели на черно-белой пленке давних времен.

Все мои воспоминания были цветные. Я не могла понять, как можно смотреть на обескровленную себя. Словно труп, подумала я. Я стояла в гостиной, маленькая девочка в нарядном платье с оборками, еще не знающая, что с ней будет, не испытывавшая ничего горше потери любимой игрушки. Все было целым, мамины фигурки стояли на камине, и сама мама была цела — сидела на диване, вышивала и изредка поглядывала в раскрытую книгу на столе. Мама творила чудесные геральдические лилии, белые с голубым, я вспомнила. Только вот теперь цвета у них не было, как и у маминых пальцев.

Я не ощущала запахов, не слышала идущих снаружи звуков — вечного шума моря, пения птиц в саду, которые должны были проникать сквозь раскрытое окно. И все же эта гостиная, нетронутая, чистая, еще не опороженная разрушением и полная жизни, не была видением, галлюцинацией или воспоминанием.

Словно кто-то переключил канал, и вот я была здесь же, но много лет назад. Все было реальным. Настоящим. Прошое не прошло. Оно предстало прямо передо мной. Я подошла к маме, спросила:

— Мама, а как мне достать что-то под полом? — спросила я.

— Во-первых, дорогая, прежде чем обращаться ко мне, осведомись, не занята ли я. А во-вторых, что, собственно, значит под полом, Октавия? И, скорее, следует сказать «из-под» пола.

— Ну, — сказала я. — Это значил под полом. Внизу.

Маленькая я переступила через хрипящую, умирающую Кошку. Прошое и будущее были слиты странным, удивительно синхронным образом. Я попыталась вспомнить, через что я переступила тогда в реальности. Наверняка, там валялся какой-нибудь клубок ниток.

Мои руки отогнули ковер, а палец уткнулся в доску.

— Здесь, — сказала маленькая я. Мама засмеялась.

— Там ничего нет, глупышка.

— Но Жадина сказала, что она спрятала для меня сокровище внизу. Она дразнит меня, что я не могу найти подарок!

Мой палец с нежностью прошелся по доске. Я предвкушала что-то чудесное.

— Прекратите называть себя этими кошачьими кличками, хорошо? — сказала мама.

Она снова вернулась к вышиванию.

— Мама, но там мой подарок, — сказала я.

— Октавия, позови Санктину. Я хочу знать, как она умудрилась положить туда что-то.

Тогда, помню, я почувствовала себя предательницей. Не нужно было говорить маме. Она запретила мне бывать в гостиной, а сестра дразнила меня, что я не могу забрать свой подарок.

А потом все забылось, и мой подарок так и остался лежать здесь. Может быть, он и сейчас меня дожидается, подумала я.

Все снова погрузилось в темноту, вынырнув из которой я увидела Эмилию и Северина. Они стояли на коленях, тесно прижавшись лбами к полу. Эмилия упиралась руками ровно в то место, где и поныне был, наверное, мой подарок.

— О, царь всех желаний, владыка внешнего и внутреннего, повелитель всего существующего и того, что жаждет существовать, пришедший из инобытия, яви нам свой лик.

Они бормотали, словно одержимые, казалось, они сейчас замертво упадут от страха. Но было в этом и свое удовольствие — кто еще может привести в мир бога? Кто может увидеть его?

— О, царь всех желаний, — повторяли они, и их голоса тоже искажались, уносились вперед, поднимались вверх и тонули вниз. Больше не было законов, больше ничего не осталось за окном.

Огонь в факелах замер, языки пламени в беспорядке разметались вокруг и больше не двигались, словно сфотографированные. Огонь был лишен цвета, тепла и движения, окончательно перестав быть тем, что означал в нашем мире. Все стало чем-то другим.

Я опять нырнула в темноту, казавшуюся мне забытьем глубокого сна, когда никаких чувств нет и ощущения исчезают.

Когда вокруг снова появился мир, я увидела себя саму, ровно такую же, как сейчас, сколько бы времени ни прошло, а вот дом был иным. Разрушение было необратимым, огонь уничтожил внутренности дома, однако скелет остался. Гостиная, сожранная пламенем изнутри, почерневшая, жуткая, казалось никогда не принадлежала моей семье, настолько она была грязной и покинутой. Такой же была и я.

Я рыдала, не утирая отчаянные, горькие слезы. Покрытая копотью и пылью, я лежала на полу, тесно прижав ухо к полу. Мои руки словно жили сами по себе, я выдирала почерневшие остатки досок, ломая ногти. Пальцы были черные от угля и липкие от крови.

— Мой мальчик! Сынок! Милый мой, я знаю, что ты жив! Я чувствую тебя, милый, я слышу тебя. Пожалуйста, говори со мной! Я найду тебя. Если понадобится, я на краю земли окажусь, чтобы найти тебя. Я знаю, что ты жив! Я не сошла с ума! Скажи мне, где ты, скажи, и я тебя найду!

Я замерла, тишина обнажила хрипы Кошки, но будущая я не слышала ничего. Будущая я завывала, как раненое животное, снова принялась выдирать обгорелые доски, потом запрокинула голову, уставилась в потолок и, будто что-то важное случилось внутри, снова прижалась ухом к распотрошенному полу.

— Я слышу тебя, — зашептала я, и крупные слезы, единственное, что, кажется, осталось во мне чистым, оставили светлые полосы на испачканных углем щеках. — Я слышу тебя, мое сокровище! Ты должен беречь себя, а мама придет, мама найдет способ, любой способ.

Все погрузилось в темноту, но плач мой был таким громким, что слышался мне снова и снова. Он был единственным звуком на свете, способным заглушить дыхание умирающей Кошки.

Когда я открыла глаза, золото, наконец, окутало всю сложную фигуру со множеством углов. Линии, не складывавшиеся ни во что гармоничное или хотя бы привычное, зажглись и нечто заработало.

Все случилось, и никого не было рядом. Ни Аэция, ни Эмилии с Северином. Золот заслонило от меня всех.

А потом погасло. Неужели все закончилось так быстро, подумала я? Все стихло, даже хрипы Кошки казались теперь привычно тихими, такими же, какие я сто раз слышала в больницах во время своих благотворительных поездок.

Сердце бешено колотилось внутри, и я даже не могла положить руку на живот, чтобы успокоить малыша. Это о нем я скорбела так сильно? Неужели его гибель свела меня с ума? Часть меня, однако, уже сейчас была убеждена в правдивости моих сумасшедших слов. Может, оттого, что сейчас между мной и ребенком (сыном, моим сыном) связь была такой сильной, что я могла представить, как почувствовала бы его даже по другую сторону земли. Говорят, мать может почувствовать, живо ли ее дитя.

В то же время эта чудовищная сцена, сцена моего сумасшествия, горького и отчаянного, внушила мне надежду. Я и мой малыш, мы переживем эту долгую ночь.

Я улыбнулась, почувствовав, как схлынуло напряжение. Все будет хорошо, подумала я, все закончится, мышонок. Ты уже заговоришь, когда случится нечто плохое.

Если оно случится. Я этого не допущу.

Я закрыла глаза, глубоко вдохнула и, когда снова взглянула вокруг, увидела Эмилию и Северина. Они замерли в своей покорной, раболепной позе. Такие разные и такие схожие в своем страхе.

Но ничего не происходило, инобытие уступало место бытию. Глаз бури, подумала я, так это называют. Сейчас все начнется.

Первым пришло ощущение, которое еще нечем было подтвердить. Я почувствовала себя маленькой девочкой, испуганной чем-то большим и темным, со всех ног бежавшей к дому, крепко закрывшей дверь и со слезами облегчения на глазах, с ощущением победы, вломившейся в комнату к родителям, которым полагалось утешить меня и защитить.

И не нашедшей их.

Все было в порядке, и в то же время не было главного. Маленькая девочка прибежала не туда. Или, может, первым к ней домой добрался монстр. Может быть, ее родителей больше не было или они никогда не были ее родителями.

Меня накрыло особое ощущение детского отчаяния, когда ты обманут в самом главном, в стремлении быть защищенным и любимым, и весь мир теряет смысл, становится страшно от того, что нет ничего надежного.

Я подумала, что, может быть, именно так чувствует себя Аэций каждую минуту, полагая, что видит мир таким, какой он есть на самом деле — ужасно изменчивым, непостоянным и пылающим.

Мне казалось, что все меняется, намного сильнее, чем искажалось прежде и намного глубже, чем я могла воспринять. Внутренности мира вокруг меня словно выворачивались наизнанку, и его обманчивое внешнее спокойствие означало лишь близость ужасных перемен.

Мне стало очень и очень страшно, как прежде не бывало никогда. Я подумала, что до этой минуты даже не понимала значение слова «страх», принимала за него что-то другое. А это чувство было таким чистым, таким мучительным и отчаянным, что я перестала ощущать свое тело.

А затем он пришел.

Это не было существо ни в одном из смыслов, которые сотворило человечество.

Оно было всем и пришло, как все. В нем не было ничего хоть отдаленно напоминающего черты земных тварей. Почему мы называли его Зверем, подумала я. У него не было ничего общего со зверями.

Ничего общего ни с чем, даже попытка представить нечто подобное могла свести с ума.

Оно было не просто большим — безразмерным. И хотя передо мной была ограниченная его часть, я знала, что это лишь незначительный кусок его тела, не больше ногтя на моем пальце.

У него было множество пастей, по крайней мере, я думала о них так. Мне казалось, что там зубы, но они могли быть и конечностями, гибкие и острые, непрерывно извивавшиеся, они открывали и закрывали каждую пасть словно механизм.

Живое и неживое одновременно. Нечто зародившееся в месте, где ничего по-настоящему живого быть не может. У него отсутствовали глаза, они не были ему нужны. У него были только голодные, жаждущие рты, перемещавшиеся по телу скользкому и состоявшему то ли из густой слизи, то ли из некоего подобия размякшей мышечной ткани.

Похожие на корешки, а, может, на сосудистую сетку отростки крепили его к полу и к потолку одновременно. Оно не могло стоять само, наверное, потому что не знало твердых поверхностей.

Оно поразило меня ощущением абсолютной беспомощности, убогости, эволюционного ужаса, и в то же время силой могущественной и непреодолимой. Отвращение мешалось во мне с восхищением. Оно жадно открывало и закрывало свои рты, и я почувствовала — оно пришло сюда из таких далеких мест, о которых опасно даже думать. Сосудистая сетка распространялась по потолку и полу все дальше, словно дом становился частью этого.

Как я была поражена, как отчаянно испугалась, и в то же время насколько родным было оно мне. Взглянув на него, я узнала все. Желание, одолевавшее меня, когда я хотела узнать о том, как другие люди испытывают боль и встречают смерть. Желание, склонившее меня перед Аэцием, плотская страсть. Желание умереть. Голод, заставлявший умолять о еде, жажда, от которой сводило внутренности, и язык казался чужим, удушающим куском мяса. В нем скрывались не только вожеления дикие и первобытные, но и утонченная распущенность, жажда драгоценностей, гурманское любопытство, заставляющее изводить десятки живых существ ради одного блюда, желание утех все более изощренных и извращенных, покуда они не примут форму убийства или смерти — финального искушения.

Я не понимала, как это бесформенное, жаждущее создание, выглядевшее совершенно неразумным, могло вызывать у меня в голове столь затейливые ассоциации — от мяса омара с нежным сливочным маслом до человеческих внутренностей, от прекраснейших впечатлений, доступных человеческому глазу до собственной агонии, от великой славы до великого падения. Все существовало в моей голове одновременно, и мой разум готов был лопнуть, как мыльный пузырь, от легчайшего прикосновения.

И все же я понимала — это неправильно. Не желать, но исполнять любое свое желание. Непрерывное, ничем не контролируемое исполнение желаний ведет к саморазрушению. И

оно разрушалось, я видела это в его теле, признаки не то болезни, не то разлома. Однажды оно приняло вид человека не только из восхищения, но и из животного желания выжить.

— Мой царь, — сказал Северин, не поднимая головы. Он даже не решался посмотреть на своего бога. Но ему было что сказать.

А что могла сказать ему я? Разве что "не будь, не будь, не существуй, пожалуйста". Но если бы не существовало его — не было бы и меня.

— Мы выбрали тебя нашим защитником на этой земле, — говорила Эмилия, и она шептала, но голос ее разносился далеко, больше не подвластный никаким законам.

Как разрушитель и уродлив абсолют, думала я. И все же не могла не смотреть.

— Так защити же народ свой, склонившийся пред тобой.

Я подумала, что оно ведь может и не понимать, что его народ не только Эмилия и Северин. Мой бог, мой человеческий бог, знает и понимает все. Это существо не было разумным, не было даже живым, как мы здесь, на земле, это понимали.

— Прими эту жертву. В иной ипостаси ты заключил с ней завет.

Я и моя семья были едины, не стоило упоминания, как давно это произошло и сколько поколений сменилось. Я символизировала свою семью.

— Возьми ее в качестве искупления грехов проигравших. Пожелай ее и употреби. Мы же смиренно просим иного.

Эмилия подняла голову, чтобы посмотреть на него, зажмурилась, как если бы увидела слишком яркое солнце, и снова прижалась лбом к полу.

Я почувствовала чье-то прикосновение к рукам, и на секунду я испугалась, что это мерзкие сосуды моего бога касаются меня. Но, к счастью, я быстро отследила жизнь и тепло.

Аэций развязывал мне руки.

— Не волнуйся, — прошептал он. — Хорошо?

— Не волнуйся?! Ты вообще что-нибудь видишь?

— Я вижу все, — сказал Аэций. Голос его, однако, был на редкость спокойным.

Эмилия и Северин не шевелились. Я понимала, они заметили Аэция. Но они, как и я боялись двинуться. Перед нами был наш невообразимый бог.

— Мы, питомцы твои, отдаем тебе лучшую из нас, избранную крови твоей, за желание, которое ты исполнишь.

— Беги, — зашептала я. — Беги и прячься. Все кончено, милый.

Но я хорошо понимала, это не жуткий монстр из кошмара, от которого вполне можно спастись. Бог всемогущ, всеведущ и всемогущ. Все было кончено. Я знала. Но теплые пальцы Аэция, его аккуратные прикосновения, словно бы он никуда не спешил, просто разгадывал интересную головоломку с узлом, давали мне надежду.

Никогда не думала, что надежда может отбирать. Надежда забирала у меня возможность приготовиться к смерти. Или же к участи ужаснее, чем смерть.

Я видела, как сосуды бога распространяются все дальше, они проникали в стены, не ломая их, не встречая препятствий, входили в дерево, словно в масло, проникали в каждую вещь, даже в осколки каждой вещи. Оно исследовало. Наш безглазый, всемогущий бог проникал всюду. Я видела, как пульсируют стены, в которые вплетались его корни, видела, как оживает каждая вещь, становясь то ли его частью, то ли его пищей.

— Выслушай нас, о великий, — сказала Эмилия. — Мы предлагаем тебе искушение.

Аэций освободил мои руки, и я вцепилась в него. Как я ненавидела его, как боялась, но сейчас он был единственной моей опорой, единственным человеком, удерживающим меня

от ужаса инобытия.

— Ничего не случится, — сказал он. Но это ложь думала я, ложь, ложь, ложь. Даже то, что я видела будущую себя, обезумевшую от материнской любви и горя, больше не убеждало меня. Я знала, как покорялись моему богу само время, сама судьба.

Все здесь билось, будто огромное сердце. Я видела, что даже мельчайшие кусочки фарфора впустили в себя его. Затем оно добралось до трупов. Я понимала, мой бог скучал. Оно вошло в труп Кабана, и я увидела, как его шрамы наливаются, пульсируют, словно это тело ожило. Затем оно подняло его, ударило об пол, словно ребенок надоевшую игрушку.

Скучно. Ему было скучно. Рты открывались и закрывались, зубы проникали в плоть. Он был принц боли, наш бог, он ранил себя, и ему нравилось это. В пустоте единственный способ быть — чувствовать. Ничто не заставляет чувствовать так, как боль.

Аэций развязывал второй узел, чтобы освободить мои ноги, а я, извернувшись, вцепилась в его плечи, казалось, сейчас мои пальцы проникнут в него, как сосуды бога. Дикий страх сковал меня. Я думала, что если Аэций отойдет хоть на шаг, я умру.

— Мы просим тебя, чтобы воцарилась иная династия, — говорила Эмилия. — Иная династия — моя. Я отдаю тебе последнюю императрицу, твое вечное развлечение. Я испрашиваю лишь дар царить над смертной землей Империи, иного мне не надо.

Как абсурдно, подумала я, все царства этой земли были подачками, мелким подарком, не сравнимым с вечностью. Как мало мы значили. Эмилия и Северин говорили, что они лишь питомцы, и это было правдой. Мы все были лишь питомцами, а земля — нашим аквариумом, который лишь казался огромным.

И если мы надоедим, если наскучим — как легко будет разбить его на куски. Мы любили, умирали, рождались, убивали, творили, мечтали, разрушали и создавали лишь пока были занимательными. Я слишком хорошо вспоминала ощущение, поглотившее меня в момент принятия дара.

Каким маленьким снова оказалось все, что я сделала в жизни. Аэций развязал меня, я вскочила, постаравшись не задеть ни один из сосудов, но теперь это было невозможно. Здесь все было богом.

Аэций обнял меня, прижал к себе, и его живое, человеческое тепло на секунду отогнало от меня ужас. Мы стояли, тесно обнявшись, и я благодарила бога за каждую секунду, в которую он не интересовался мной. Однако, стоило мне сделать только шаг назад, как сосуды потянулись ко мне, медленно, слепо. Я замерла, и Аэций сильнее обнял меня.

— Не двигайся.

— Что? Это твой план?

— Да. Просто жди. Сейчас они отдадут тебя ему. Жди.

— Нам нужно...

Я начала говорить, но не закончила. Что нам, собственно, было нужно? Из дома нельзя было выбраться. Сам дом становился им.

Аэций прошептал мне:

— Доверься, хорошо? Просто будь со мной. Доверяй мне.

В сущности, кому мне еще было довериться?

Я увидела, как сосуды бога входят в древесину стула, она стала гибкой, тут и там появлялись и исчезали бугры, словно внутри копошились насекомые. Я представила, что нечто подобное может быть и с моим телом. Я положила руку себе на живот, Аэций накрыл ее сверху.

— Верь мне, — повторил он.

— Я тебе верю, — прошептала я. — То есть, на самом деле нет, но я буду стараться.

Никогда и ни с кем прежде я не была так близка, кроме сестры. Аэций поцеловал меня в макушку, и мне захотелось засмеяться. Как абсурдно, мы напоминали пару, смотревшую на прекрасный закат.

— Разве ты не боишься?

— Каждую секунду своей жизни. Ты просто не видела меня не испуганным.

И тогда я все-таки засмеялась. Никто не обратил внимания. Мой бог был глухим и слепым, он лишь поглощал все на своем пути. Эмилия и Северин были слишком заняты умоляя бога выслушать их. Зря. Я почувствовала себя сторонним наблюдателем, зрителем на спектакле, заранее зная конец пьесы. Чуть скучновато, но все же увлекательно.

Я знала, бог не слышит их, и они ждут, когда он доберется до них. Они ждут, взывая к нему так, словно он говорит, как и они.

Но темному аспекту бога неведом человеческий язык.

В конце концов, оно обратило на них внимание. Я знала, что мы — следующие, и я надеялась, что Северин и Эмилия не смогут донести до него свою мысль.

Как странно, я прежде не видела бога в его величии и ужасе, но я бог составлял суть моей жизни, и я столько знала о нем.

Но я не могла представить ни его облика, ни страха, который он мог вызвать.

Сосуды вошли в Эмилию и Северина, они оба задержались, хотя этого соединения наверняка страстно желали. Я видела, как бог входит в их головы, сквозь ноздри, уши и глаза проникает в святая святых, в колыбель сознания. Нечто входило в них, нечто уходило из них. Я не знала, обратим ли вообще этот процесс. Все поплыло перед глазами, и Аэций поддержал меня одной рукой, а другой закрыл мне глаза. Но в теплой темноте, которой он одарил меня, я слышала, как реагирует человеческое тело на вторжение, как путешествует под кожей, в мышцах, в органах, внутри, пульсирующая сосудистая сетка.

Сейчас он поймет их, подумала я, сейчас он поймет, что предлагают они, и за что именно. Не нужно было слов, не нужно было языка. Проникновение и поглощение.

— Не оставляй меня, — сказала я. — Пока все не закончится.

— О, — сказал Аэций. — Я как раз собирался уйти. Начинаю чувствовать себя совершенно чужим на этом празднике.

Звучало так, словно он серьезен, впрочем так было со всеми глупостями, которые он говорил. Я разозлилась, и это на секунду вернуло мне силы.

Я поняла, что они ползут ко мне, я ощутила это — не просто кожей, всеми внутренностями своими, каждой клеточкой своей, я ощутила его намерение. Он принял меня, он захотел меня, и вместе со мной уходила моя эпоха. Я схватила Аэция за запястье, заставила отвести руку от моих глаз.

Эмилия улыбалась мне, а может улыбалась не она. В ней и Северине все еще был бог, и их улыбки казались неестественными, словно они никогда прежде не улыбались и лишь примерно знали, как это. Мой бог улыбался мне через них. Он был доволен.

Инобытие, подумала я. Они скормят меня ему. Не просто убьют — я уйду живой, я потеряю все. Я потеряю ребенка.

Я почти запрыгнула на руки Аэцию, словно какое-то маленькое животное, забыла о желании уйти достойно.

— Нет, — сказал он, аккуратно поставив меня на пол, пульсирующий, словно живой. —

Иди к нему. Предложи себя.

— Что?!

— Я придерживаюсь выбранной линии. Ты могла бы больше не удивляться.

Восходить на эшафот, как на трон, подумала я. В конце концов, я должна была быть смелой за всех тех, кто уходит вместе со мной. Я сделала шаг навстречу струившимся сосудам. Интересно, подумала я, испытаю ли я боль перед тем, как бог проникнет в меня.

Сосуды поднимались ко мне, словно змеи, танцующие под звуки флейты. Они танцевали у моей кожи, и я знала, он растягивает удовольствие, желает ощутить меня. Я имела ценность, ведь я была причастна к тому, кого он выбрал когда-то. В конце концов, все бесчисленные поколения были ничем для этого существа.

Я не была уверена, что оно понимало концепцию размножения и могло отличить меня от того человека. Оно лишь чувствовало. Я протянула руку, и Аэций крепко сжал ее.

— Предатель, — прошипела я.

— Я думал, мы друг друга ненавидим.

На ироничный ответ не хватило бы ни разума, ни времени. Оно коснулось меня, ощущение непередаваемой мерзости захлестнуло меня с головой, оно было похоже на то, что я испытывала, когда хотела преодолеть границу дома, но много, много ярче.

Тогда я поняла, те иглы были его зубами. Оно, еще невидимое, не полностью пришедшее, уже охватило дом своей пастью. Теперь же меня облизывали языки, по крайней мере нечто, что можно было так назвать.

Ненасытная пасть. Лишь на секунду оно соприкоснулось со мной, не вошло, не проникло под кожу, но эта секунда показалось мне вечностью. Затем сосуды, поднимавшиеся от моих ног к самой макушке, готовые поглотить меня, напряглись, став мучительно, механически твердыми, и отшатнулись.

А потом мой бог издал визг, такой, что, казалось, способен был заставить лопнуть все мои кости, как стекло. Звук этот отбросил нас с Аэцием к стене. Падение оказалось мягче и безопаснее, чем я предполагала. Аэций успел подхватить меня, и я врезалась в него, а стена оказалась мягкой из-за оплетающих ее сосудов.

Звук смел все, опрокинул факелы, ударившиеся о стену рядом с нами, но огонь на них будто являлся их частью, он ничего не охватывал, не шевелился, не угасал.

Мой бог был невыразимо зол, разочарован, его ярость была велика. Я понимала, что он чувствует благодаря связи между нами, между моим богом и моим народом, мной, однако его чувства словно конвертировались внутри меня, и лишь будучи переведенными на язык человеческого разума, воспринимались.

Сосуды, пребывавшие в Эмилии и Северине пришли в движение. Я увидела, как их лица приобретают выражение страдания, боли. Что ж, хороший конец для тех, кто любил боль. Хороший конец для тех, кто служил этому существу.

Мы с Аэцием крепко взяли за руки. Ярость бога разрывала Северина и Эмилию изнутри. Все было так просто — никаких оправданий, никакого права на ошибку, и так быстро — сосуды раскрыли их, словно они были лягушки на уроке биологии. Я увидела кости, внутренности, а затем все это было разрушено, переломано, перемешано и искажено. Я уткнулась в плечо Аэция, чтобы больше не видеть. Но я слышала — слышала как все хрустело и хлюпало. Я представляла, что это просто материалы, влажные и твердые, хрустящие и мягкие, странные, странные материалы.

Любопытство взяло верх над отвращением, и я посмотрела. Не осталось ни Северина,



ни Эмили. Были две диковинные вещи, созданные из них. Кости и внутренности составляли теперь странные украшения, похожие на тотемы древности, но слишком причудливые и для них. Казалось, все это никогда не имело человеческой формы. Остов из костей затейливо оплетенный плотью, ничего антропоморфного, ничего эстетичного. Если уж что оно и напоминало, так это две странных, массивных погремушки. Сосуды потянули их к себе, прижали к телу бога. И я подумала, это ведь правда игрушки. Игрушки для капризного ребенка, ведь бог абсолютной власти — ребенок, исполняющий все свои желания.

Сосуды охватили тела Волчицы и Кабана, труп Зайки, ударяясь об углы, тоже скользил к пасти бога.

— Мы следующие! — пропищала я. Аэций покачал головой, но я видела, что он еще бледнее обычного. Он поставил все и теперь не был уверен, что выиграл.

— Закрой глаза, — сказал он. Дыхание Кошки становилось тише. Она больше не дрожала. Все заканчивалось, возможно, и для нас тоже.

И я закрыла глаза. Мы крепко прижимались друг к другу, нас колотило от страха, словно детей. Теперь и Аэций казался мне человеком, и я поняла, как боялся он все это время.

Но сосуды уползали, я чувствовала, как дом снова меняется. Стало тепло, это запылал огонь. Все уходило, все оборачивалось вспять.

Я боялась открыть глаза, боялась разрушить иллюзию. Боялась, что сосуды не уходят, а готовятся обхватить меня, готовятся утащить меня за собой.

А потом я услышала шаги, они казались вполне человеческими. Тогда я открыла глаза, у меня достало смелости и любопытства.

Он был прекрасен, хотя и оказался много младше, чем я представляла. Золотоволосый юноша, почти подросток, чудесной красоты, но не отстраненной и практически неземной, как Децимин. Он не был произведением искусства, он был человеком.

На нем был белый костюм, в который мама нарядила бы сына на праздник, но в груди была дыра. Там, в тех же сосудах, что еще недавно опутывали дом, болталось, как игрушка, сердце моей сестры.

Я узнала его, я никогда не забывала его.

У моего бога были не зрячие глаза. Я не думала, что он слеп и в этом воплощении.

Он подошел к нам, протянул мне руку и, схватившись за нее, я почувствовала тепло.

— Скоро все закончится, Октавия, — сказал он. Голос у него был нежный, а человеческий язык давался ему легко.

— Ты не хочешь убить меня?

— Нет, Октавия. Ты не сделала ничего, за что я желал бы твоей смерти. Ты живешь честно и стараешься творить добро, а это самое главное.

— Ты не забрал меня...

Он перебил меня, но его легкая нетерпеливость была лишь призраком того чудовищного нрава, который был присущ иному его лику.

— Нет. Я не забрал тебя по иной причине. Но это сейчас неважно.

Позади нас пылал, пожирая шторы, огонь. Но мы не двигались, не могли позволить себе этого. Темный бог не слышал нас и не понимал, но его светлая часть говорила с нами на человеческом языке, и страх быть не той, сказать что-то не так, сковал меня.

Бог смотрел куда-то поверх моей головы. Движения у него были чуть растерянные, словно он до сих пор не привык к человеческому телу.

— Ты не плохая, Октавия. Ты — слабая. Это другое. Но ты на многое способна ради любви, и оттого я ценю тебя. Любить — величайший дар.

— Спасибо тебе.

От него шли тепло и свет, по сравнению с которыми огонь казался ничем. Он с нежностью улыбнулся мне, а его незрячий взгляд, будто случайно, скользнул по моему лицу.

— Теперь я хочу говорить с иным.

Аэций встал. Бог не видел его, не мог даже сосредоточиться на нем. Между нами была связь, а между ними не существовало ничего.

— Ты — сказал он. — Совершил святотатство.

— Я знаю. Я думал, вы убьете меня.

Забавно было слышать, как к богу обращаются на "вы". С собственным богом у каждого слишком личные отношения, а как общаться с чужим, наверное, никто и не знает.

— Нет, — сказал он. — Я даже не заметил тебя — тогда. Сейчас я не вижу тебя. Не чувствую, где ты. Но я знаю, что ты боишься. Не бойся.

Нежная улыбка лишь на секунду осветила лицо бога. Разгоравшееся позади нас пламя придало ему жестокий вид.

— Пожалуйста, — сказала я неожиданно для себя самой. — Не убивай его!

— Я не убью тебя. Не сегодня. Не через год. Ты увидишь, как растут твои дети. Ты успеешь изменить мир. Я даже оставлю тебе дар.

— Ваше милосердие...

— Нет, — бог поднял руку, и Аэций замолчал. — Ты молод и самоуверен, поэтому ты считаешь, что это милосердие. Время. Всему нужны правильные времена. Строй свой дом, создай семью, веди свой народ и делай, что подсказывает тебе сердце. Я владею тем, что грядет, и в правильное время единственное мое действие, не будучи самым жестоким, лишит тебя всего. И трагедия будет много страшнее, чем тебе покажется на первый взгляд, потому что будет разрушен твой замок, и ты распрощаешься со всем, что полюбишь.

Я поняла, что плачу, потому что моя страна, мой ребенок, моя жизнь были неразрывно связаны с Аэцием.

— Пожалуйста, — сказала я. Незрячий подросток с прекрасным лицом говорил спокойно, оттого его слова казались еще страшнее.

— Теперь ты — живи с этим.

— А я? Как же я?

— И ты живи с этим. Так я испытываю тебя, будь сильной и не бойся любить.

Со мной он говорил ласково, словно этот юноша был отцом, о котором я мечтала всегда. Он коснулся пальцами своих чудесных губ, а затем приложил их к моим. Я ощутила тепло и спокойствие, словно он забрал боль. Он забрал и пустоту, угнездившуюся во мне. Я почувствовала себя такой чистой. Мне захотелось плакать от счастья, что это никогда не повторится, я больше не испытаю ужаса инобытия.

В этот момент я поняла, что больше не слышу дыхания Кошки. Мой бог растворился, словно призрак, словно и не было его никогда на свете, а все лишь приснилось мне.

И тогда я поняла, как ревет огонь. Аэций смотрел в пустоту, где только что был мой бог.

— Аэций! — крикнула я. — Аэций! Огонь!

Огонь пожирал все, и мы должны были бежать. Им были охвачены остатки мебели, стена, и путь к двери уже усеивали его редкие, пока что, всполохи.

— Мы должны выбраться!

Он не реагировал на меня, и я подумала, может, оставить его? Может, так будет легче. Я ведь мечтала убить его, а сейчас не нужно даже ничего делать. Эта мысль была соблазнительной, но не больше, чем любая другая в том же роде и о любом другом человеке на свете. Так я поняла, что я не оставлю его. Что не хочу этого.

Я схватила Аэция за руку, потащила. Сначала он не поддавался, он был сильнее и крупнее меня, и я испугалась, что мы не успеем. Я волокла его за собой, сперва он едва шел, но чем сильнее я тащила его, тем более податливым он становился. Мы продвигались медленнее, чем стоило бы.

— Ты что еще и впадаешь в кататонический ступор, да?

Но он шел, он все-таки шел, а я держала его крепко и ни за что бы не отпустила.

— Давай же, Аэций! Пожалуйста! Ты нужен Империи, нужен мне! Мне нужно, чтобы ты шел быстрее!

Горло раздирало от дыма, но я говорила с ним, потому что тогда он двигался быстрее.

А потом прямо передо мной рухнула поглощенная огнем балка с потолка. То есть, вероятнее всего, она рухнула бы на меня, но Аэций вовремя потянул меня назад, к себе. Прежде, чем я успела испугаться, он подхватил меня на руки. Я прижалась к нему, уткнувшись носом в его плечо.

Мы перескочили балку, и я знала, что сейчас бояться нечего, до двери оставалось всего ничего. Я почувствовала радость, испугавшую меня своей ненадежностью. Аэций вынес меня из дома, и свежий воздух показался мне слаще меда.

Мой дом горел, думала я. Аэций нес меня вперед, к морю, по той дороге, по которой мы с сестрой когда-то ходили купаться.

Мой дом горел, но мы были спасены, и малыш, мой сын, напомнил о своем существовании, с ним тоже все было в порядке. Тогда я поцеловала Аэция. Прежде я не понимала, зачем целуют мужчин, и вообще есть ли смысл целовать их вне постели. Теперь я хотела целовать его, долго и сладко, потому что я была жива.

В этом не было ничего романтического, скорее я была голодна до ощущения своего существования.

Мы целовались долго, и он был не менее жаден, чем я. Мы целовались не как любовники, а будто были много ближе, чем даже муж и жена. Все слова не подходили для того, что ощущала я.

Хотя, безусловно, это не была любовь. Я не знала, полюблю ли его когда-то. Знала, что не прощу.

Но как я его целовала. Как он меня целовал. И как это было чудесно.

Наконец, он опустил меня на землю, и я обернулась. Горел мой дом, мой прекрасный дом. Разрушено было то, что я так сильно любила. Но я смотрела без страха, без боли. Никогда не думала, что смогу остаться такой спокойной.

— Ты знал, что он не тронет меня, — сказала я.

— Да. Я же говорил тебе не волноваться.

— Почему? Откуда ты это знал?

— Ребенок, — сказал он. — У тебя будет ребенок.

— Да. Спасибо. Я располагала этой информацией.

— И он будет моего народа. Ты помнишь?

— Сложно было забыть эту новость, она сопровождалась представлением.

— Два плюс два всегда четыре. Слушай: у него свой бог, и он защищает его. Я так и

говорил. Теми же словами. Паритет. Ребенок не сделал ничего, что согрешило бы против твоего бога. И ничего, что согрешило бы против моего. Иными словами, твой бог не мог убить его, забрать или обречь на смерть. Потому что он не принадлежит ему. Твой бог не мог пойти против моего бога. Свои люди. Чужие люди.

— А ты?

— Твой бог имел право убить меня, без сомнения. Я нарушил его законы, совершил богохульство и должен быть наказан. И буду наказан.

Я вздрогнула, мне стало неприятно от воспоминаний о словах моего бога.

— В случае, если твой бог захотел бы съесть меня заживо, это было бы честно. Мой бог не стал бы защищать меня.

И тогда я поняла: он говорил мне не волноваться, он был со мной все это время, но он знал, что я не умру. Он был со мной, зная, что может умереть он.

Я обняла его, и он положил руку мне на голову.

— Я думаю, оно поняло, что в тебе есть чужое. Разозлилось на Северина и Эмилию. Не тебя не могло тронуть. Я был удивлен, что оно не тронуло меня. Но теперь все понимаю. Да, да. Все стало ясно.

— Откуда ты знал, что так будет?

— Мы — это наш бог.

Фраза была туманной, неясной, и я решила не уточнять, я слишком устала, чтобы понимать.

Мы снова смотрели на пылающий дом. Пламя было голодно, как мой бог, оно пожирало все.

— Почему ты пришел один? — спросила я.

— А какая была бы разница? Разве что, больше людей погибло бы.

Он нахмурился, потом сказал:

— Да. Я был уверен, что справлюсь один. Реальность принадлежит мне. Во всем, что не касается войны и политики, лучше всего действовать одному. Лучше меньше тех, кто знает. И видит.

Он, по крайней мере мне так я подумала сейчас, видел больше, чем я. И бред, которым мне казались его слова наверняка имел предельное значение у него внутри.

— Теперь, когда я знаю о том, как ты безумен, ты можешь рассказать мне и о своем прошлом.

Он засмеялся, потом сказал:

— Я уже говорил тебе, что прошлого нет. По дороге домой я расскажу тебе еще несколько вариантов, и ты выберешь любой. Прошрое лишь условно связано с настоящим, и я перестал отличать его от фантазий довольно давно. Поэтому теперь я записываю вещи. Я ничего не знаю о Бертольде.

А я смотрела на свой прекрасный, на свой умирающий дом. Огонь поглощал, огонь выхолощивал.

— Не плачь, — сказал он.

— Я не плачу.

Он утер мои слезы и показал мне влажные пальцы. Я и не замечала. Я посмотрела на него и увидела, что он шепчет что-то. В этот момент он казался еще более безумным.

А потом пошел дождь. Дождь был сильный, прекрасный, способный усмирить огонь.

— Нравится? — спросил Аэций, словно он сам вызвал его.

— Что? Это сделал ты?

Я слышала, что варвары могут исполнять свои желания, но никогда не понимала это так буквально.

— Я же говорил, я контролирую реальность. Ты совсем меня не слушаешь.

— Это совпадение. Это не может быть правдой.

Затем я, повинувшись этому странному, новому чувству, поцеловала его в губы.

— Мыждемся, пока огонь стихнет, — сказал он. — Нужно закопать эту бедную девушку. То, что осталось. Человеческим костям не полагается валяться, как мусору.

Он говорил совершенно искренне, и это никак не вязалось с тем, что он только что убил троих человек.

А я не могла больше смотреть на свой горящий дом. Дождь становился сильнее. Я сказала:

— У нас еще есть время.

Я потянула его за руку, и мы развернулись к беспокойному морю.

— Мы пойдем смотреть на море, — сказала я. — Я так безумно любила его в детстве. Я хочу показать его тебе.

Как и у всех на свете историй, у этой, мой дорогой, есть конец. Все, что было после рассказывать бессмысленно, ты слишком хорошо это знаешь. И я, которая была после, тебе знакома. Все заканчивается, мой дорогой, все превращается в пыль и пепел, как моя страна под твоим сапогом.

Я расскажу тебе последнюю историю, она самая короткая и самая важная. Мой главный урок и самое сложное испытание. Слушай мой милый, слушай хорошо, потому что, я думаю, опыт прощения необходим каждому. И тебе самому нужно многое мне простить, и я должна простить тебе главное.

Мы с сестрой не были близки, не общались, не говорили по душам не недели, не месяцы — годы. Она, в конце концов, сделала непоправимое, совершила злодеяние, которое я не могла простить. Мне было до ужаса жалко родителей, хотя иногда и казалось, что я испытываю радость освобождения.

Я испытывала столь сложные и болезненные чувства, что отчасти винила сестру в них, в том, что мне пришлось ощущать.

Она наслаждалась властью, я видела, что ей нравится править, что она на своем месте. И знала, что пропустила главный момент, момент, в который она решила, что все это стоит смерти.

Я наблюдала издали и была одинока, как никогда прежде.

И в то же время тогда я еще не знала, что значит настоящее одиночество. Сестра была жива, и мы любили друг друга. Я физически ощущала ее присутствие, от того, что она была здорова и счастлива мне было спокойнее, и я знала, что она так же думает обо мне. Мы все равно были друг у друга, мы не расставались, хоть и практически не разговаривали.

Я ловила и отдавала крохи тепла в необходимых фразах, а когда я проходила мимо ее комнаты, я останавливалась на секунду, чтобы почувствовать — она там.

И я знала, что останавливается она.

Мой милый, я не могу рассказывать об этом без слез, ведь если бы я знала, что нам отпущено так мало, то я забыла бы все, даже то, что считала великим злодеянием. Я забыла бы все, и любила бы ее, утешала бы ее, радовалась бы с ней. Как жаль, что на этой смертной земле мы никогда не знаем главного — когда потеряем друг друга. Я в своей праведной злости думала, что у нас есть вечность, которой кажется жизнь в ее первой половине.

Я должна была помириться с ней раньше. Утрата не была бы хоть каплю менее горькой, но я знала бы, что все отпущенное нам, мы прожили.

Сейчас я часто думаю, что те годы я словно вырезала, вычеркнула из жизни. Моя любовь никогда не проходила, не угасла ни на секунду, даже когда я поняла, что именно совершила сестра.

Я любила ее, буквально, всю свою жизнь, и люблю ее сейчас.

Но я взяла и выбросила все, чем дорожила, целые годы нашей жизни. Теперь, когда ее нет у меня, я не понимаю, почему поступала так. Меня одолевала детская уверенность в том, что сестра должна что-то понять. Теперь я уже и не помню, что именно. Вероятно, она только страдала, как и я без нее. Сестра была другим человеком, ей чужды были муки совести, и она никогда не жалела о принятых решениях.

Я жила как во сне до того дня, когда уехал Грациниан.

Умер его отец, и я посчитала это чем-то вроде кары, не смогла испытать ни капли сочувствия. Мне казалось, он заслужил этого и еще больше. Я была безжалостной в своих мыслях, но, как и все, выразила ему соболезнования.

Он уезжал срочно, чтобы похоронить отца по своим традициям. И он не собирался возвращаться.

Грациниан сказал, что пришло время ему устраивать собственную жизнь, что со смертью отца мужчина перестает быть мальчиком. А его собственная жизнь, к сожалению, должна была принадлежать Парфии, все было определено.

Я чувствовала, что он грустит и радовалась этому. Он не хотел уезжать, он любил сестру. Я понимала, что его принуждают к отъезду неведомые мне законы. И я радовалась, как же я радовалась. Дорогой мой, я возненавидела его за то, что он не просто отобрал у меня сестру, он помог ей совершить преступление, которое разделило нас.

Каждый день я молилась своему богу, чтобы он забрал его, а когда все случилось, я даже считала себя виноватой в смерти его отца. Однако, в этих мыслях было не только страдание, но и злорадство.

Я поехала в аэропорт попрощаться с ним, чтобы убедиться — он действительно уезжает. Нас пропустили с ним в зал ожидания, и я даже видела его самолет, пока спокойный и недвижимый, он был словно спящий зверь. Скоро он зарычит, скоро проснется, а потом унесет Грациниана прочь.

Сестра и Грациниан стояли рядом, я — на пару шагов позади. Я не считала, что когда Грациниан уедет, между мной и сестрой что-то изменится. Ах, как много времени я дала нам, жаль, что у нас его не было.

Грациниан сделал шаг ко мне, он хотел обнять меня, но я ненавидела его руки, создавшие яд для моих родителей.

— Счастливого пути, — сказала я, прекрасно понимая, что эта безупречно вежливая фраза звучит отвратительно в данном контексте.

— О, думаю с этим все получится, — сказал Грациниан. — Отец впервые летит не первым классом, так что у меня будет около пяти часов спокойствия от его брюзжания.

Странное дело, Грациниан словно не испытывал скорби, не понимал, в достаточной степени, как необратима смерть. Как будто после того, как он вернется в Парфию, и отец будет с ним — живой и невредимый. Наверное, это был какой-то защитный механизм. Грациниан казался мне ребенком, еще не узнавшим смерть.

— Спасибо, Октавия, — сказал он. — Думаю, мы с тобой были хорошими друзьями.

— Безусловно, — сказала я. Мы ведь и вправду были друзьями. Это время прошло, но я не отрицала, что он был мне дорог. Я понимала, что сестра рассказала Грациниану о моем открытии. Некоторое время мне казалось, будто он смотрит на меня с особым видом интереса — голодным и безжалостным, словно перебирает варианты того, как можно заставить меня замолчать в случае чего.

Я не боялась его. Тогда мне казалось, что я ничего на свете не боюсь, потому что я права. И все же мне было неприятно его безжалостное внимание. Затем, может, он убедился, что я буду молчать, а может с ним поговорила сестра и, казалось, он стал относиться ко мне с той же заботой и приязнью, как и прежде.

Я не понимала, как в одном человеке может уместиться эта готовность уничтожить чью-то жизнь и искренняя симпатия к потенциальной жертве.

Грациниан протянул руку и коснулся моей щеки, словно я была маленькой девочкой на большом празднике. Он подмигнул мне и сказал, что, может быть, еще вернется сюда. И тогда непременно нас повидает.

— Мы будем надеяться на это, — сказала я. Я стала так похожа на одну из тех девушек, над которыми мы втроем так часто смеялись. Лицемерная, злобная тварь. И мне это нравилось, потому что это отделяло меня от дружбы с Грацинианом.

Я верила ему, я привязалась к нему, а он предал меня самым страшным образом, и я даже не могла ему отомстить. Разумеется, я находила утешение в мелочной злобе.

Грациниан подмигнул мне, и я отвела взгляд. Сестра встала между мной и им, она протянула ему руку, и он коснулся губами костяшек ее пальцев в привычном вежливом жесте, значившим в их случае много больше.

— О, было безусловным удовольствием знать такую женщину, как ты, — сказал он. Даже то, что Грациниан обращался к ней на "ты" уже было одиозно. Все знали, я была уверена. От Домициана до горничных, все были уверены в том, что сестра и Грациниан — любовники. Но все же, как и всегда, очевидное приходилось скрывать ради соблюдения правил. Императрица могла иметь сколь угодно много любовников, однако не стоило выставлять это напоказ. А то, что Грациниан был из парфян придавало всему между ними особенную неловкость.

— Я чудесно провела время, — сказала сестра. Голос ее ничего не выражал, словно она обращалась к любому другому, достаточно знатному и приятному ей человеку. Ничего личного, ничего болезненного.

Сестра выразила вежливую надежду на то, что они еще встретятся, Грациниан ответил, что постарается, даже очень постарается, сделать для этого все. Несколько секунд они смотрели друг на друга. Я видела взгляд Грациниана, понимала, какую невыразимую боль он испытывает. Сестру можно было любить только так, с мясом выдирая ее из себя, чтобы не умереть, когда ее не будет рядом.

Я не видела взгляда сестры, лишь понимала, как она напряжена. А потом, совершенно неожиданно для меня, в укор всему, что я знала о ней и ее выдержке, сестра подалась к нему и поцеловала его в губы. На глазах у влиятельнейших людей Империи и Парфии, которые ждали своего самолета.

Она целовала его с разрушительной страстью, и ей было все равно, что подумают все вокруг. Я не могла понять, что могло заставить ее сделать это у всех на глазах.

Потом, много позже, я поняла, что она чувствовала тогда. Я целовала тебя, когда мы выбрались, и никого не было рядом. Но я не смогла бы остановиться даже, если бы мы были перед всей страной. А ведь я не любила тебя, но как я боялась тогда, что тебя больше не будет, и что не будет меня. Я целовала тебя, варвара, и как яростно ты был мне нужен в тот момент. Если сестра испытывала чувства еще более сильные, от любви, то я не понимаю не то, почему она поцеловала Грациниана, а то, как она сдерживалась до этого.

Но тогда, милый мой, я подумала, что она лишь пытается показать, что ей позволено все.

Грациниан засмеялся, потом приподнял ее, покружил, словно они были беззаботная парочка, до которой никому на свете не было дела. Когда он снова коснулся ее губ, поцелуй отдавал жестокой жадностью, столь свойственной ему. И на секунду я подумала, что он и его великолепная восточная жестокость опасны для сестры. Что сейчас он достанет нож и перережет ей горло, а потом вгонит его себе в сердце, потому что лишь это расставание



достойно их обоих. Я даже сделала шаг к ним, но они вовремя отстранились друг от друга. Механический голос объявил о начале посадки.

Сестра обернулась, лицо ее ничего не выражало, словно она ни с кем не прощалась.

— Пойдем, — сказала она. — Здесь нам больше нечего делать.

Она прошла мимо меня, не обращая внимания ни на кого. Я смотрела на Грациниана, он раскинул руки, и люди, привыкшие вежливо не замечать, обходили его, как вода обходит камень. Грациниан смотрел в усеянный лампочками потолок и казался мне абсолютно счастливым. Он крикнул ей вслед:

— Я никогда не оставлю тебя! Я на самом деле тебя не оставлю! Никогда-никогда!

Я поспешила за сестрой.

В машине мы долгое время молчали. Первой решилась заговорить я. Я нажала на кнопку, поднимающую стекло между нами и водителем.

— Санктина, что ты себе позволила?

В те годы я называла ее только по имени. И она называла по имени меня. Это было подчеркнуто вежливое оскорбление, отказ понимать, кто мы друг для друга.

— Что ты имеешь в виду?

— Ты не можешь так нагло демонстрировать презрение к своему мужу. Ты не можешь сообщать всем вокруг, что ты без ума от врага. Ты не можешь...

— Не могу, не могу, не могу, — она качала головой, словно отсчитывала время. — Я могу все. И они ничего не скажут мне.

— Снова пойдут слухи.

— О, эта новость давным-давно всем приелась. А если и так — пора бы уже освежить светскую хронику.

Мы обе были словно изо льда, даже поругаться не могли.

— Ты ведешь себя безответственно.

— О, конечно. Но императрица не ты, Октавия, и ты не будешь указывать мне, как я должна себя вести. А сейчас, прости, у меня есть действительно важные дела. Ты ведь думаешь, что нет ничего важнее приличий? Я тебе напомню, что сейчас в Бедламе проблемы много серьезнее.

Я нажала на кнопку, положила руку на отъезжающее стекло, словно хотела побыстрее вдавить его вниз.

— Остановите машину, — сказала я. — Мне нужно пройтись.

Водитель тут же притормозил, столь мягко, что нас даже не качнуло вперед. Я вышла из машины прежде, чем он открыл мне дверь.

Я понимала, что поступила глупо. Не стоило отчитывать ее, сестре ведь было тяжело. Наверняка, она ощущала себя очень одинокой, наверняка, ей было больно.

Да нет — я знала это, знала абсолютно точно.

И все же не могла вернуться домой. Я ходила по городу бессмысленно и безо всякого желания, даже не смотря по сторонам. Я обедала и ужинала в дешевых термополиумах, где в тот день маленькие телевизоры вместо спортивных матчей показывали новости. Все были озабочены восстанием в Тревероруме, твоим восстанием. Это был последний день, когда никто не знал твоего имени.

Последний день, когда ты был Бертхольдом из Бедлама.

Бездумно самоуверенные речи о том, что Треверорум можно взять за два часа лились со всех экранов, из динамиков каждого радио. Я не то чтобы верила им — я не задумывалась.

Меня занимали лишь мысли о сестре.

Я злилась на нее и твердо решила, что уеду. Пусть разбирается со своей болью, ведь я разбиралась со своей без нее. Глупости: любовь, мужчины, все это неважно. Сестра совершила достаточно зла, чтобы узнать о разлуке.

Неженка вовсе не я, а она.

Я вернулась домой поздно ночью. Сводки из Треверорума тогда становились все более тревожными, а к утру силы Империи там были окончательно разбиты. Я весь день гуляла, пытаясь справиться с собой. Сестра же обсуждала безопасность Империи с генералитетом.

Я поднялась к себе, думая, что сестры еще нет дома. Из-за моей двери не доносилось ни звука, но когда я открыла ее, то увидела, что сестра лежит на моей кровати, свернувшись калачиком. Она казалась такой удивительно незащитной, словно бы маленькой.

Сестра не плакала, она редко выражала боль слезами, я уже говорила тебе. Почти никогда. Вот и сейчас она лежала и смотрела в ночное небо, на котором не было видно звезд.

Она пришла ко мне, она искала моей помощи. Нежность и стыд захлестнули меня с головой. Я села на кровать рядом с ней, и некоторое время мы обе не двигались, а отчуждение казалось непреодолимым. Прошло, наверное, минут пять, в которые я слышала только ее дыхание. В целом мире, казалось, не осталось больше ни единого звука. Были только мы, как до рождения.

А потом я обняла ее, и она уткнулась носом мне в плечо, показалась мне совсем девочкой, словно теперь я была старшей сестрой.

— Все будет хорошо, милая. Я с тобой.

Я гладила ее по волосам, укачивала, обнимала. Она словно окаменела.

— Я всегда буду с тобой, милая. Вместе навсегда, помнишь? До самого конца!

Я говорила:

— Я люблю тебя, я так сильно тебя люблю, милая моя.

Сестра будто начала оттаивать. В конце концов, она уже не сидела, вцепившись в меня, рефлекторно, словно напуганное животное. Она обнимала меня, вздрагивала, словно плакала, только слез не было.

Мне казалось, словно на своих плечах она несет всю тяжесть мира. Я не знала, отчего ей так больно. Может быть, она осталась без Грациниана, а может правление оказалось ей не по силам, может не этого она желала.

Сестра не говорила, и я не заставляла ее. Ей нужно было лишь тепло. Она была моей маленькой, незащитной девочкой, которой требовалась забота. Я бесчисленное количество раз говорила ей, словно повторяя заклинание, как люблю ее. Все было неважно, даже родители словно были давным-давно, в другом мире. Я так хотела, чтобы ей полегчало.

Она пролежала у меня на руках всю ночь, а заснула под самое утро. Ко мне сон так и не пришел. Я смотрела на то, как занимался рассвет, и слушала, как мерно дышала сестра. Я боялась пошевелиться, боялась нарушить ее покой. Часа через три мне стало казаться, что рука у меня давно отвалилась, и я испытываю лишь фантомные боли. Мне стало так смешно. Я погладила сестру по голове, и она податливо отодвинулась, перевернулась на другой бок.

Мне захотелось сделать ей нечто приятное, и я пошла на кухню готовить завтрак. Отослав прислугу, чтобы они не видели, как неуклюже я управляюсь с едой, я долго решала, что именно приготовить. В конце концов, остановила свой выбор на вафлях.

Сестра всегда любила их в детстве.

Я знала, проснувшись она расскажет мне все, я знала, что постараюсь помочь ей всем, чем смогу. Но тогда, как и сейчас, я могла очень немного. Однажды, еще в детстве, сестра сказала мне, что иногда достаточно только любить.

Вафли получились кривые, но пышные, и я с сочувствием подумала о том, кому придется чистить вафельницу. Я украсила их взбитыми сливками и карамельным сиропом, нарезала фруктов. Блюдо вышло вкусное, уродливое и одуряюще пахнущее. Я заварила нам с сестрой кофе, поставила тарелку с уродцами на ее любимый серебряный поднос и понесла его в комнату.

Сестра сидела на краю кровати, волосы закрывали ее лицо.

— Жадина, — сказала я. — Все эти вафли твои.

Я мягко приземлила поднос на кровати, и сестра повернулась ко мне. Она улыбнулась уголком губ.

— Воображала, — сказала она. — Я тебя люблю.

— Стоит один раз сделать вафли, и...

Но она взяла меня за руку, и я замолчала. Затем сестра взяла нож и вилку, поставила тарелку к себе на колени и осторожно, кусочек за кусочком, принялась есть вафли, словно это был самый лучший деликатес. Я отошла к окну. День был погожий, чудесный день. Я подумала, что сегодня погулять было бы очень даже здорово. Вместе.

Я пила кофе и смотрела, как сестра режет вафли. И чувствовала, что снова способна испытывать счастье. А потом она сказала:

— Мы не взяли Бедлам.

Выражение ее лица было отстраненным, словно она не понимала слов, которые произносила.

Еще она сказала:

— Будет война.

А я еще не понимала, что она разлучит нас и решила, что мы обязательно справимся.

Марциану исполнилось две недели и два дня, когда я решила, что мы вполне можем позволить себе небольшую прогулку в саду. Осень выдалась на удивление жаркая, словно август замер в своем ласковом, старческом тепле. Это была самая нежная осень в моей жизни. Желтизна еще не тронула листья, природа словно надеялась, что холода никогда не наступят, и это было чудесное и отчаянное время, время когда все вокруг охвачено страхом грядущих перемен, которые опаздывают и оттого еще больше тревожат мир.

Я велела накрыть стол в саду, как в старые добрые времена, когда я, сестра, мама и папа, и даже Домициан все еще были вместе. Марциан никогда не увидит своих родственников, у него не будет бабушки и дедушки, не будет любящих тети и дяди. Мне хотелось представить, что у моего сына большая, счастливая семья. Все, что нам оставалось — чаепитие с мертвыми людьми.

Я говорила ему:

— Мой мальчик, твои бабушка и дедушка, дядя и тетя умерли, но мне хочется думать, что они здесь, что они могут посмотреть на тебя. Ты никогда не увидишь их, мой милый, потому что мы не окажемся в одном месте после смерти, и это мое великое горе. Но это не значит, что ты не достоин их памяти, ты — их продолжение. Я люблю тебя.

Мне хотелось рассказать ему сказку о том, кем были его родственники, какой смелой и чудесной была его тетя, как красива и обаятельна была бабушка, и каким строгим и честным был дедушка. Мне хотелось, чтобы он знал — в нем продолжают чудесные люди, которых я любила.

Он был потрясающим маленьким существом. Сыном, о котором я мечтала, будучи еще маленькой девочкой. Среди принцепсов не было принято самостоятельно заботиться о грудных детях (и я понимала, почему, от недосыпа у меня болели глаза, но усталость не позволяла мне уснуть в редкие моменты, когда это представлялось возможным). Детей отдавали няням, забывая об их существовании примерно до двух лет. Папа говорил, что мы с сестрой долго не доверяли маме, отказываясь поверить, что она как-то с нами связана.

Мальши, без сомнения, требовали огромного труда и бесконечного терпения, а так же сил, которых в себе и не подозреваешь до их появления. Соблазн сделать так, как поступало большинство матерей нашего народа до меня, был, и все же я не могла расстаться с Марцианом, я никого к нему не подпускала, и мне казалось, что я готова не спать годами, лишь бы только он был рядом со мной.

Мне казалось смешным, что я боялась не полюбить его по-настоящему. Он был копией отца, в нем, казалось, не было ни единой моей черточки, но любовь работала вовсе не так, как я представляла. Он просто был, и этого оказалось достаточно.

Иногда мне хотелось плакать оттого, как чудесно это маленькое, человеческое существо, столь хрупкое и столь близкое мне.

Он крепко спал, и мне так нравилось на него смотреть. Я хотела запомнить его навсегда и, мой бог, как я боялась лишиться его однажды. Мне снились короткие и страшные сны, в которых его у меня отнимали, или я подходила к колыбельке и обнаруживала, что он мертв. Я просыпалась в слезах, и благодарил своего бога и бога моего сына, что он со мной. Образ меня, потерявшей его, навсегда отпечатался в моем сознании.

Голос Аэция испугал меня, как и практически все резкие звуки в последнее время. Я была словно животное, все время на взводе, готовая защищать свое единственное сокровище. Я прижала Марциана к себе, он безмятежно спал, не переживая о глупостях, которые так тревожили меня.

— Он прекрасен, — сказал Аэций. — Спасибо тебе.

Я не ожидала увидеть его. Аэций уезжал в Британию, край ведьм, он хотел передать им их исконную землю, и народы Империи чествовали его щедрость, кто искренне, а кто сквозь зубы. Я думала, Аэций должен вернуться позже, но, может быть, я вовсе потеряла счет времени — сутки распадаются, когда неделями почти не спишь.

— Я могу сесть? — спросил он, и прежде, чем я ответила, отодвинул стул рядом со мной.

— Нет, — сказала я. — Это место сестры.

Мне казалось, еще секунда, и я буду шипеть, словно разозленная мышь. Аэций казался беззащитным и растерянным, словно я, подарив ему сына, имела над ним какую-то странную власть. Аэций замер, и я смотрела на него. Мы нехорошо расстались, и я не была уверена в том, что смогу разговаривать с ним.

Я удивилась, когда он пришел ко мне через пару часов после того, как я дала жизнь Марциану. У нас не было принято, чтобы мужчины знали о женских тайнах. Но стыдно мне не стало, я слишком устала, чтобы испытывать еще хоть что-то плохое, даже боль больше не волновала меня. Хотя память о самых ее невыносимых проявлениях все еще жила в теле.

Я думала, что после рождения сына никогда не смогу начать никакую войну, даже самую праведную — я хорошо узнала цену жизни.

Марциан уснул на моей груди, надежно укрытый, теплый комочек, который так легко мог замерзнуть. Он был такой крохотный, я боялась прикасаться к нему. Но это было настоящее, маленькое человеческое существо. Хрупкий и чудесный мальчик, он дышал, двигался, он жил.

Аэций поцеловал меня, и я ответила ему. Он даже не смотрел на ребенка, это показалось мне странным. Он показал мне клочок бумаги, на котором были соединены линиями три звезды.

— Что это? — спросила я.

— Это он, — ответил Аэций.

— Ты просто невероятно бездарен в рисовании.

Он снова поцеловал меня, погладил по голове. Я думала, это будет меня раздражать, но оказалось, что мне хотелось, чтобы меня приласкали.

— Это его звезды, — сказал Аэций. — Для нас они предопределяют, какими мы будем.

— Должно быть удобно, — сказала я. Отчего-то мне не захотелось спрашивать, что за звезды у моего мальчика. Он был моим сыном, и мне хотелось думать лишь о том, как счастлив он будет, я боялась плохих новостей.

Аэций поцеловал меня в макушку, принялся гладить по влажным волосам.

— Ты не хочешь посмотреть на него? — спросила я.

— Не сейчас. В свой первый день на земле он принадлежит только своему богу и своей матери. У нас не принято тревожить ребенка.

— У вас принято тревожить его мать, — сказала я, хотя на самом деле не была зла.

— Благодарить.

— Я думала, Дигна скажет тебе не беспокоить нас.

— Дигна сказала, чтобы я вызвал ей машину, и поехала домой. Видимо, она испытала нечто сентиментальное к собственным детям.

Когда я узнала, что у Дигны уже есть дети и будет третий малыш, я очень удивилась. Но больше всего, конечно, я удивилась, когда узнала, что Дигне всего двадцать два года. Она казалась мне мудрой и опасной женщиной, как минимум нашей с Аэцием ровесницей. Аэций сказал, что когда не видишь лица человека, воспринимаешь лишь его суть. Может и правильно было бы, сказал он, если бы мы все скрывали лица.

— Я рада, если сумела пробудить в ней нечто теплое.

Мы лежали рядом, Аэций целовал меня, а я дремала, ощущая его тепло и дыхание сына. Мне казалось, что я чувствую себя много лучше. Без сомнения, в варварском обычае быть вместе после всего, имелось нечто по-звериному мудрое.

Мы и были словно животные, и мне так нравилось его тепло.

А потом я услышала, как Аэций сказал:

— Я люблю тебя.

Сон с меня словно согнали, я ощутила горячую злость, словно кровь во рту.

— Ты не имеешь права так говорить.

— Почему? — в голосе у него скорее было любопытство, чем обида.

— Потому что ты не можешь меня любить. А я не могу любить тебя. Ты представляешь, как больно сделал мне? Ты использовал меня, ты унизил меня, и ты сделал это просто так. Потому что ты мог.

Все слова, которые я хотела сказать, вылетали сами собой. Я говорила тихо, почти ласково — мне не хотелось, чтобы волновался малыш.

— Все не может быть так просто. Я не твоя вещь. Ты не можешь меня любить. Не сейчас. И не так.

Я закрыла глаза, усталость снова навалилась на меня.

— Быть может, Аэций, однажды я полюблю тебя. Ты умный и великодушный, ты сильный и смелый. Я уважаю тебя. И, наверное, это станет любовью. Но я никогда тебя не прощу.

И тогда он ушел. Он не стал со мной ругаться, думаю, потому что не умел этого. И даже когда, уже у двери, он сказал:

— Я обошелся с тобой так же, как ты и все, кого ты любила, обходились со мной и всеми, кого любил я. Быть вещью действительно ужасно унижительно и очень больно, — в голосе его я не услышала ни обиды, ни злости. Казалось, он считал, что мы просто обсуждаем некоторую этическую проблему равноудаленную от нас обоих.

Он ушел, потом уехал, и я не видела его, и с ужасом думала, как говорить с ним после этих слов. Он был мне дорог, и я научилась его ценить. Но это было нечто совсем иное, чем прощение.

А сейчас он стоял передо мной, неожиданно хрупкий и безоружный.

— Я хочу назвать его Дарл.

Но у моего сына уже было имя. Оно было у него с самого начала, когда я представить себе не могла, кем будет его отец. Еще прежде, чем я встретила Аэция, еще прежде, чем я ощутила присутствие новой жизни внутри, еще прежде, чем я узнала, как чудесно, когда сын засыпает у моей груди, я всегда помнила, как его будут звать.

— Хочу, но не назову. У него должна быть другая жизнь. И здесь — его дом. Назови ты.

Он уступил мне легко, стоило только взглянуть на него. Я не понимала, что с ним не

так, он был особенный, иной, чем всегда.

— Его зовут Марциан. Его так всегда звали.

— Иногда мне кажется, что ты не менее безумна, чем любая из моего народа.

Он не выдержал моего взгляда, посмотрел на чашку сестры, наполненную остывшим чаем. И я поняла, что он стыдится. Он осознал что-то важное. Тогда мне тоже стало стыдно. В конце концов, он был прав, я обходилась с его народом, словно они были мой скот. Я не была злой хозяйкой, но я обладала ими.

— Можно взять его на руки? — спросил он.

Я встала, и мы оказались очень близко. Наверное, вид у меня был воинственный. Но я действительно хотела, чтобы он увидел сына. Я осторожно передала ему Марциана, и Аэций принял его так бережно, как только возможно.

— Он тебе нравится? — спросила я, поднявшись на цыпочки. Марциан зевнул, и я улыбнулась ему.

— Он не испугается?

— Он смелый, — сказала я. — Совершенно ничего не боится. Думаю, он станет чудесным императором.

— Я видел его звезды, — сказал Аэций. — Не станет.

Он немного помолчал, рассматривая Марциана, и я впервые увидела, какую нежность может выражать его всегда отстраненный взгляд.

— Он вряд ли сможет закончить школу, — сказал Аэций. Я слышала в его голосе страх, он боялся, что я перестану любить Марциана. Смешной, смешной Аэций. Я не испытала ужаса, который с неизбежностью должен был прийти, даже тени его не было.

— Это не так важно. Мы с тобой, — сказала я. — Сделаем все, чтобы он был счастливым человеком. Это самое главное. Посмотри на него — это маленький человек со своими желаниями, радостями, горестями. Мы должны дать ему столько любви и сил, сколько можем.

Аэций продолжал смотреть на Марциана, а я сказала:

— И посмотри на нас: без конца рефлексирующая неудавшаяся старая дева и шизофреник, совершивший военный переворот в государстве из-за своего психоза. Нам нужно пытаться быть хорошими родителями. Нужно учиться.

Я сел на стул, отпила чай и посмотрела на чашку сестры. Через некоторое время Аэций спросил меня:

— Чем ты сама хочешь заняться?

Сначала я не поняла его вопроса, в голове у меня на секунду опустело. А потом я вдруг широко улыбнулась ему.

— Ночи без сна делают меня продуктивной. Никогда прежде я не чувствовала столько вдохновения! Я хочу написать научную работу.

— О чем?

— Знаешь, сестра как-то показывала мне книгу о варварах. Она была написана именно так, чтобы вызвать у тебя мучительную ярость. Все, как ты любишь, словно варвары, это такой вид зверей, которые просто похожи на людей.

— И теперь ты хочешь дополнить наблюдения автора?

Я покачала головой.

— Нет, Аэций. Эта работа будет посвящена методологии. Я поняла кое-что очень важное. Не что стоит писать, но как стоит писать. Мы должны быть ответственны за наши

слова. Каждое слово, сказанное на публике, в фильме, книге, речи, даже в песне, разрывает или закрепляет определенные властные отношения. Мы должны думать о том, что и как говорим, и это шаг к тому, чтобы построить иное общество. Мы должны взять ответственность за то, что и как мы говорим. Должны понимать, что каждый из нас — политик, решающий судьбу народов.

Он смотрел на меня, и взгляд его казался мне чужим. Я не понимала, что он чувствует, но и остановиться не могла.

— Кроме того, я хочу, чтобы мы научились править. Я совершенно не способна к политике, но я могу помочь тебе установить связи с Сенатом, я знаю, как они живут, как они работают и что им нужно. Я знаю, что это за люди, и как они принимают решения. Я хочу научить тебя этому. Я знаю множество важных вещей о принципах. А ты научи меня тому, что знаешь о мире. Я не видела мира. Я жила в кукольном домике все это время. Теперь я хочу знать, императрица чего я на самом деле. Понимаешь, Аэций? Я хочу, чтобы мой сын жил в более справедливом мире. Чтобы он мог быть тем, кто он есть. Чтобы он мог не бояться за тех, кто отличается от него и тех, кто отличается от него. Я хочу, чтобы он был счастлив здесь. Ты ведь тоже этого хочешь?

Аэций кивнул, и я, наконец, поняла, что это за непривычный, странный взгляд. Он восхищался мной.

Я снова отпила чай, в горле пересохло, и я чувствовала, как колотится в груди сердце. И тогда, вдохновленная биением собственного сердца, я сказала вот что:

— И еще, Аэций, я знаю, что ты не можешь многое мне рассказать. Пока что. Но давай я расскажу тебе кое-что об Октавии и, может быть, ты поймешь что-то о Бертхольде.

Он сел на стул моей сестры, покачивая нашего ребенка, и я больше не злилась. Аэций смотрел на меня очень внимательно, он готов был слушать.

И я начала рассказывать:

— Я не знаю, где начало у этой истории. Наверное, оно далеко за пределами того, что я могу рассказать. Но я начну с того момента, как помню себя по-настоящему.

Больше книг на сайте - [Knigolub.net](http://Knigolub.net)